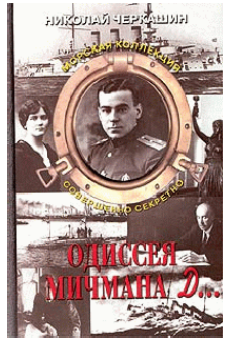
НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН
Морской клуб
Совершенно секретно
ОДИССЕЯ МИЧМАНА Д...

Николай Андреевич Черкашин
Одиссея мичмана Д...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153410
Одиссея мичмана Д…: Коллекция «Совершенно секретно»; Москва; 2003
ISBN 5-89048-121-5

Аннотация

Остросюжетный «архивный детектив» известного писателя-мариниста Николая Черкашина посвящен расследованию загадочной гибели в 1917 году линкора «Пересвет». На этом драматическом фоне раскрываются не менее драматичные судьбы офицеров старого русского флота после октябрьского переворота.

Содержание

«САМЫЙ ЦАРСТВЕННЫЙ ГОРОД В МИРЕ» 5
Часть первая 23
Вместо пролога 23
Глава первая 29
Глава вторая 44
Глава третья 60
Глава четвертая 65
Глава пятая 80
Глава шестая 97
Глава седьмая 112
Глава восьмая 122
Глава девятая 130
Глава десятая 135
Глава одиннадцатая 157
Глава двенадцатая 183
Глава тринадцатая 213
Глава четырнадцатая 226
Часть вторая 241
Глава первая 241
Глава вторая 251
Глава третья 263
Глава четвертая 270
Глава пятая 288

Глава шестая 302
Глава седьмая 310
Часть третья 322
Глава первая 322
Глава вторая 333
Глава третья 346
Глава четвертая 361
Глава пятая 365
Глава шестая 383
Глава седьмая 423
Глава восьмая 454
Глава девятая 473
Глава десятая 512
ДУША КОРАБЛЯ 533
ПРИЛОЖЕНИЕ 570

Николай Черкашин
Одиссея мичмана Д…

Посвящается внуку Артему

Это не корабль, а мироздание
Рушится на жестком полотне.
И незавершенное создание
«Берегись!» – напоминает мне.
«Картина Айвазовского»
Леонид Мартынов

«САМЫЙ ЦАРСТВЕННЫЙ ГОРОД В МИРЕ»
От автора

Многие страницы этого непридуманного романа возникли, соткались как бы сами собой – из петербургского воздуха. И потому, прежде чем начать нить главного рассказа, мне бы хотелось поклониться великому городу, судьбе которого я причастен хотя бы по рождению в нем моего деда Соколова Михаила Романовича в 1896 году.

Только в двух городах – в Севастополе и Питере – рождается в душе это торжественное чувство, столь давно и вер-

но подмеченное Толстым. Ступаешь из вагона на перрон и будто сам себя поздравляешь: «Я – в Севастополе!» или «Я – в Питере!»

Неужели снова в Питере?! В городе великих людей и великих мастеров, великих творений и великих тайн. Тайн величественных и кровавых, прекрасных и позорных, романтических и закулисных… Город-загадка, город-шифрограмма, город-сфинкс, город-лабиринт…

Вот сейчас блеснет золотой кортик Адмиралтейства, вот сейчас унесет тебя бурливое русло Невского, вот сейчас корабельной сталью взблеснет рябь незастывшей Невы, и вывернет из-за мыска колоннада труб старого крейсера, и грянут архитектурные гимны Зимнего, Петропавловки, Исаакия…

Санкт-Петербург – морская столица России, и это так же верно, как то, что Нева впадает в Балтийское море.

Город расчерчен, словно картушка корабельного компаса. Даже солнцу предписано здесь двигаться только по одной стороне Невского проспекта. Даже луна, даже звезды вершат здесь свое движение строго по линиям и перспективам.

Александрийский столп – гномон солнечных часов. Дворцовая площадь – циферблат. Врата Зимнего – полдень. И когда тень ангелоносного столпа касается их решетки, с Трубецкого бастиона Петропавловской крепости раздается пушечный выстрел. Весь город невольно глянет на часы – точно, полдень…

На небесной лазури за колесницей Аполлона на арке Генштаба – белесый след самолета. Как будто квадрига только что примчалась с неба.

Всякий колокольный звон здесь – это удары корабельных рынд. Всем шпицам, вскинутым над городом, словно парадные шпаги, придана огранка морских клинков – кортиков. Всякий бравый малый на улице – из племени мореходов.

Да и сам город похож на жилище старого капитана, вдоволь находившегося по морям и океанам, который взял и обставил стены своей тихой гавани заморскими диковинами – сфинксами, грифонами, якорями, львами, ростральными колоннами…

И если в 1918 году Петроград был лишен статуса столицы империи, то звания морской столицы России не отнимет у него ни одно правительство. Здесь – Адмиралтейство и Военно-Морская академия. Здесь – три кита, на которых держится вся память морской державы: Центральный военно-морской архив, Центральная военно-морская библиотека, центральный военно-морской музей… Здесь стоит на вечных якорях корабль № 1 ВМФ России – бронепалубный крейсер 1-го ранга «Аврора». Здесь наш главный Морской собор – Николо-Богоявленский на Крюковом канале. Здесь старинные корабельные верфи. Здесь Кронштадт. И конечно же, соль и цвет российского флота – моряки, от самых юных, нахимовцев, до седовласых морских волков. Из ныне здравствующих назову лишь тех, чьи морские деяния оста-

лись никем в мире не превзойденными. Это вице-адмирал Евгений Чернов и капитан 1-го ранга Юрий Зеленский, им принадлежит мировой рекорд глубины погружения для боевых подводных лодок: 4 августа 1984 года они увели свою К-278 под километровую морскую толщу.

Это капитан 1-го ранга Юрий Голубков, установивший на своей К-222 мировой рекорд подводной скорости – 44,7 узла. Это второй командир дизельной подводной лодки Б-82 капитан 1-го ранга Константин Киреев, проложивший в 1958 году подводную трассу из Арктики в Антарктиду. Это капитан 1-го ранга Рюрик Кетов, командир подводной лодки Б-4, поставившей в период Карибского кризиса рекорд неуловимости; его субмарина сумела ускользнуть от противолодочной армады США в Саргассовом море. Это капитан 1-го ранга Владимир Булыгин, спасший со своими людьми, военными химиками, Ладогу от радиоактивной катастрофы, а до того – Кольский полуостров… Все эти люди составили бы честь и гордость любой морской державе, их бы почетными гражданами назвать. Но мало кто знает о них на брегах Невы, поскольку бал в морской столице России правят вовсе не моряки.

А я наезжаю в Питер еще и для того, чтобы повидаться со своим командиром, капитаном 1-го ранга Евгением Невяровичем. Это одна из граней мужского счастья – потолковать в баньке о былых походах, где и как повезло нам уйти от бед.

Нити наших судеб прошли сквозь стальное ушко одной

иглы – подводной лодки Б-409. Здесь она родилась. Субмарина наша – урожденная петербурженка. Здесь и скромный памятник «рабочей лошадке» «холодной» войны – на Кондратьевском проспекте.

Без флота мы – Русь. С флотом – Россия.

Конечно, хорошо бы было основать Питер где-нибудь в Лиепае или в Паланге, где сразу открывается выход в Балтику. Среди дюн и сосняков, а не болот. Но… Будем благодарны Петру за то, что отвоевал для страны и это морское неудобье – мелководное, зажатое чужими берегами. Но именно здесь открылось для России свое «окно в Европу», скорее оконце, чем окно. Однако бывали времена, когда оно распахивалось широченными вратами от ботнических шхер до курляндских штрандов… Пусть Маркизова лужа, и чтобы выбраться по ней в открытое море, нужно рыть канал во дне морском, но за спиной Питера многоводное пресное море – Ладога. И она не раз спасала город в лихие времена, молитвами ли валаамских старцев, дорогой жизни по озерному льду…

Северная столица названа не столько в честь царя Петра, сколько в честь апостола Петра, хранителя ключей от рая. Петр – камень. Каменный остров, каменные дома, каменная крепость… Санкт-Петербург – это окаменевшая воля императора, отлитая в металл пушек, решеток, колоколов северостольного града.

Петр хотел строить город без окраин. Не вышло. Окраины

выросли самые неприглядные – «хрущобы». Ландшафты из тоскливых снов…

Питер – это три города в одном: сердцевина, охваченная Фонтанкой, безусловно, Санкт-Петербург, город между Фонтанкой и Обводным каналом – Петроград. Все, что далее, в стойбище жилых панельных башен – Ленинград.

Тем не менее, всю тяжесть градостроительного удара приняла на себя Москва, прикрыв Питер, словно дамба, от волн «социалистических реконструкций». Страшно представить, что «стекляшка» Дворца Съездов выросла бы посреди Дворцовой площади, как выросла она в кольце кремлевских стен. Страшно подумать, что Исаакиевский собор могла постичь участь храма Христа Спасителя, и что потом бы его пришлось восстанавливать из руин, как ныне взорванный в 1935 году «цусимский храм» Спаса на водах. А ведь и Невский мог бы стать подобием Новоарбатского проспекта, прозванного в свое время «вставной челюстью столицы».

И даже бронзовых колоссов Церетели Москва на себя приняла. Пережить шемякинского Петра-микроцефала в Петропавловской крепости все же легче, чем московское бронзовое многопудье.

Есть ли в России еще один такой город, который вызвал бы столько противоречивых оценок, мнений, толков, как Петербург? Сколько проклятий обрушивалось на детище Петра и сколько восторгов вызывала Северная Пальмира.

Поэт Адам Мицкевич, узнав, что за годы петровских ре-

форм население России сократилось в два раза, заявил: «Рим создан человеческой рукой. Венеция богами создана. Но каждый согласился бы со мной, что Петербург построил сатана». Ох, не каждый бы!… Пушкин, например, не согласился: «Люблю тебя, Петра творенье…»

Блок не согласился: «Самым царственным городом в мире остается, по-видимому, Петербург».

Дискутируют не только роль северной столицы в истории России, но и спорят об имени города до сих пор: Петербург или Ленинград? Для меня однозначно – Петербург. Если человек создал азбуку Морзе, то как можно называть его изобретение именем другого человека, который только этой азбукой пользовался? Петр Романов замыслил этот город, отвоевал для него землю, начертал план и построил, пусть на костях, но воздвиг его как крепость и столицу. Так почему же его творение должно носить имя другого человека? Это же элементарное нарушение авторских прав. Вот блокада навсегда войдет в историю с именем Ленина – ленинградская, и никакая иная. И еще – поколение замечательных людей, ленинградцев, которых, по общему мнению, всегда отличала в советские времена особая культура, вежливость, преданность своему городу. Теперь их впору заносить в «красную книгу»…

Нева – душа города. Рябь реки оживляет застывший гранит, наполняет душу свежестью…

Нева для Питера чуть-чуть широковата. Как костюм с чу-

жого плеча. Дома с противоположной набережной предстают глазу довольно мелкими, теряются детали. В жертву широте панорамы принесена радость узнавания. Нева, собственно, никакая и не река, у нее нет истоков. Это длинный извилистый пролив, соединяющий Ладогу с Балтикой.

Невский проспект: меж бронзовых статуй и нищих стариков – поток фланирующей публики. Плывут мимо окон, мимо статуй, мимо великих имен на стенах… Парад фасадов, канкан витрин, шпалеры атлантов и кариатид…

Сколько людей проходили по этим улицам, полагая, что это *их* улицы, *и х* дома, что все это сделано, построено, отлито и изваяно для них и только для них, и так будет вовеки веков. А разве и я так не считаю?

Фасады Невского родны и знакомы, как створки старинного бабушкиного буфета. Они как обложки любимых книг: тут «Евгений Онегин», там – «Белые ночи» вкупе с «Бедными людьми», вот закоулочек героя гоголевской «Шинели», а этот дом из лучшего военно-морского романа – из «Капитального ремонта»… А еще «Прекрасная Незнакомка», увиденная Блоком на вокзальчике в Озерках. А еще дом Набокова на Большой Морской… А еще эти стены пропитаны смертями. Что ни дом, то бывший блокадный морг…

Что ни фасад, то криптограмма. Надо уметь читать гербы и маскароны, вензеля…Иду по Невскому, вглядываясь в чугунные письмена решеток, в глаза атлантов и кариатид, в окна и балконы. В этом самом красивом и самом таинствен-

ном городе России зашифрованы следы миллионов людей – тех, кто возводил здешние купола и колоннады, кто прокладывал его каналы и строил мосты… Все, буквально все, кажется здесь до боли знакомым, все, абсолютно все, обещает внезапное озарение, открытие, воспоминание… Не город, а сплошное дежавю. Откуда это странное чувство? Может быть, потому, что здесь родился мой дед? Может, именно родовая, генная память так будоражит мои чувства?

Информационное поле старого Питера – лепнина, знаки, гербы, имена… Мы живем в нем, действуем вопреки неведомым нам обычаям, законам и традициям. Мы даже не задумываемся, чем обернется нам наше неведение. Тут как на минном поле, по которому бредут слепые. То и дело гремят неслышимые взрывы, калеча наши судьбы…

Если время – энерго-информационное поле, то никто никуда не делся. Никто никогда не умер. Мы все в этом поле. Все наши предки воскресли в нас со всеми своими страстями, терзаниями, песнями и плясками, пороками и добродетелями, даже с наследственными болезнями… И мы точно так же оживем в наших правнуках – даже если они отрекутся от нас и забудут – со всеми своими заботами и проблемами. Воскреснем в них, но в личном беспамятстве. Мы-то, увы, не осознаем себя в них, как осознаем в своей крови голоса своих дедов.

В Питер меня, москвича, впервые выманил Достоевский. Начитавшись его книг, я, студентом 3-го курса философско-

го факультета, приехал в Ленинград 1968 года, чтобы посмотреть «дом Раскольникова» у Кукушкина моста, вдохнуть воздух героев романа… В первый же день отправился не в Эрмитаж и Русский музей, а по следам, дворам, мостам Родиона Раскольникова. Ехал с расхожим предубеждением – Питер-де чужой нерусский город, холодный и бездушный… Все это было так и не так: но в этом «чужом и придуманном» городе жила русская душа, и какая душа! Даром, что закованная в чугунные решетки оград, загнанная во дворы-колодцы…

Потом был Леонид Соболев со своим «Капитальным ремонтом» – лучшим романом о военно-морском флоте. Так открылась морская душа города.

Если честно, не сразу лег на душу мне этот невероятный город. Долго привыкал к нему, наезжая на невские брега лишь по делам да службам. Однако прошел год, другой… И вот уже не могу жить без питерских мостов, каналов, ростральных колонн, белых ночей чухонской сирени, корюшки под «Балтику» №7, наконец, без старых добрых флотских друзей. Порой по двенадцать раз в году коротаю шестисоткилометровки между Москвой и Питером, ведя странное существование не на два даже дома – на два города.

В Питере своего жилья у меня нет, поэтому мало-помалу обжил за четверть века все районы. Ни один петербуржец не разглядывал свой город по утрам и вечерам из стольких окон и из таких мест, из каких довелось созерцать его мне:

Охта и Купчино, Веселый Поселок и Васильевский остров, Черная речка и Невский проспект, Сенная площадь и Комендантский аэродром, Кронштадт и Шушары… Я коротал ночи на ледоколе «Красин» и в келье Духовной академии, в роскошном номере знаменитой «Астории» и в студенческих общагах, в домах друзей и просто добрых людей. Я знаю этот город изнутри его дворцов и подвалов, музеев и храмов, казарм и коммуналок… И в который раз объяснюсь ему в любви москвича. И в который раз сажусь в ночной экспресс Москва-Санкт-Петербург… Лег, уснул, проснулся, встал – и вся дорога. Есть что-то мистическое в том, что из Москвы в Питер попадаешь через сонное царство. Две столицы разделенно-соединенные дорожным сном.

Итак, перемахнув канал им. Москвы, Волгу, Мсту, Волхов, и Обводной канал – ты снова в Питере. Вот и полночь уже, а верхушки труб на питерских крышах все еще сияют незакатным солнцем… и полная луна белой ночи. Белая ночь – особое чудо Питера.

Застыли отражения мостов в ночной Фонтанке. Застыли отражения колоннад в зеленой воде канала. Сияют в свете полной луны золотые крылья грифонов на Банковском мостике, и посвечивает им золотой крест на шеломе Казанского собора…

Белая ночь – мистическая фея Петербурга. Это под ее сиреневые чары творилось каменное чудо города, это ее должны были ловить в свои объятия распахнутые колоннады со-

боров и дворцов, это ее должны были кружить в высоких ротондах застывшие вальсы аркад.

Белая ночь. Бледная ночь. Это таинство слияния сумерек с незажженными окнами. Обезлюдевший, будто вымерший город. Вокруг Медного Всадника вьются майские жуки. Сто лет их не видел, и вот – пожалуйста…

А еще белая ночь хороша тем, что видны комары.

Часы на каланче отбили светлую полночь.

Медные звуки печально таяли.

Белая ночь. Черная речка… Место дуэли.

Пуля в живот, и кому? Пушкину! Боже…

Немцы били ракетами ФАУ по Питеру. Это почти то же самое. По такому городу и тяжелыми снарядами – по Эрмитажу, по Русскому музею, по Летнему саду, по Невскому проспекту… Все это помнят здешние старожилы.

Питерские старики – блокадой моренные, фенолом с окрестных заводов травленные, бесплатными врачами недолеченные, реформами грабленные, все же снуют по самым длинным в мире эскалаторам по каким-то своим неизбывным, быть может, последним делам… Сегодня в Питере все больше Раскольниковых и все меньше денежных старушек… Здешний поэт восклицал:

Моя ли в том вина мирская,
Что с тощей сумкой на Сенной
Бредет блокадница седая,
Как символ Родины больной?!

Мне Питер выпал не в самые лучшие годы. В конце минувшего века город жил полуголодной, безденежной и потому какой-то бредовой шизофренической жизнью. Возрождались храмы – и расцветали подпольные бордели. Хоронили останки императорской семьи – и тусовались гомосеки в своих клубах. Создавалась Лига ведьм и леших Петербурга, по Невскому бродили толпы доморощенных кришнаитов. За столики ресторана «1913 год» подсаживались двойники Ленина, Сталина и Троцкого, дабы подзаработать на своем феноменальном сходстве. По улицам водили слонов и обезьян, которые помогали выпрашивать милостыню.

Господи, неужели это мы в этом кошмаре, маразме, прозябании?!

Город, предсказанный Нострадамусом, воздвигнутый Петром, воспетый Пушкиным, медленно умирал… Так тонут большие корабли, куда вода врывается не сразу, – плавно, на ровном киле, погружаясь все глубже и глубже в мрак, хаос, небытие, запустение, забвение, в разруху…

В шпалерах питерских улиц чернели пустоглазые трупы брошенных (обреченных на бессрочный капремонт?) домов. Каменные мертвецы в обветшалых архитектурных нарядах стояли впритык с живыми домами, еще налитыми тусклым светом и скудным теплом. В отличие от солдат в цепи, они не могли сомкнуть ряды, и потому в земном вращении живые дома соседствовали с каменными покойниками, в тем-

ных утробах которых, словно могильные черви, копошилась уголовная сволота. Там, в чьих-то бывших спальнях, детских, кабинетах, выходящих заколоченными окнами в безлюдные дворы-колодцы, «ширялись» подростки, вкалывая в дряблые вены ржавыми иглами эфедрин, там, в глухих закоулках – кричи не кричи, насиловали школьниц, сводили счеты кланы рэкетиров, прятали трупы…

Сюда боялась заглядывать милиция, и только бесстрашные телехроникеры шныряли с видеокамерами, чтобы потрясти закаленное воображение горожан следами нового изуверства.

Город озлобленных очередей и обрезанных телефонных трубок, крысиных подъездов и брошенных стариков умирал уже в третий раз.

Впервые смерть подступила к нему в зиму 1919 года.

«Не бывало в истории. Все аналоги – пустое. Громадный город-самоубийца. И это на глазах Европы, которая пальцем не шевелит, не то обидиотев, не то от кровей, – пыталась докричаться из красного Питера Зинаида Гиппиус. – Жизнь все суживалась, суживалась, все стыла, каменела… Если ночью горит электричество – значит, в этом районе обыски… Платят ровно столько, чтобы умирать с голоду медленно, а не быстро… Деревянные дома приказано снести на дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера!

Гроб на салазках везут родные. Надо же схоронить. Гроб напрокат. Еще есть?»

Во второй раз город прощался с жизнью в голодную и лютую зиму сорок второго.

Из письма от 18 февраля 1942 года бывшего мичмана русского флота Бориса Александровича Пышнова матери в Муром:

«Одно время еда составляла 125 граммов хлеба и немного воды или талого снега. Овощей вообще в этом году не было.

Сейчас начали хлеб прибавлять и давать крупу, масло, мясо, но, в общем, за месяц 3– или 4-нормальную дневную порцию. Учти, столовые не действуют, а если есть, то только мутная вода с солью, но это счастливцам. Водопровод не работает, свету нет, трамвай стоит, в квартирах мороз, канализации нет, и бесконечные пожары, дома горят по три-четыре дня, и горят дотла, так как тушить нечем и нет сил. У нас сгорело три. По Второму Муринскому – семь. Вчера мне пришлось быть в уборной. Там лежит мужчина, весь заделанный мочой и окутанный этой льдиной со всех сторон. Своеобразный гроб. Все это никого не удивляет и не обращает ничье внимание, так же, как раньше проходящий трамвай. Детей на улицах нет, ибо их не выпускают. Они исчезают, а их судьба тогда – судьба Гульки (его сварили и съели)… Ты подумай, что нас ждет весной, когда начнет все таять и все обнажится и разложится. Если ты идешь по улице, у тебя застекленеют глаза и ты упадешь, хотя бы у порога своего дома, можешь быть совершенно твердо уверена, что тебя не только не поднимут, но даже не огля-

нутся: нет сил. Упавший – это верный покойник».

И вот наступала третья агония…

Город, на полвека лишившийся своих дворников, швейцаров, горничных, запаршивел, обнищал, опростился и теперь повторял кончину одного из своих благородных сограждан – Бог весть число им, – уничтоженного, обобранного, прощавшегося с жизнью в коммунальной комнатке, на штопаных простынях, с банками «питерских ананасов» – соленых помидоров, выстоянных в очереди и приготовленных на собственные поминки… Но и в этот скорбный час северо-стольный град был величествен, как император на нищенском одре.

Перед смертью городу вернули имя и даже позволили проститься с последним из рода основателей – великим князем Владимиром Кирилловичем.

За какую вину корежило эту Северную Пальмиру, Чухонскую Блудницу, Колыбель Революции – в кровавых корчах весь последний век? Какой иудин грех, какой имперский соблазн искупал он в голоде и наводнениях, осадах и мятежах, в арестах и разрухах все нынешнее столетие? Кто наслал на него это безумство, в котором он полвека крушил, топтал, давил, пожирал сам?

Молчат колокола Исаакия.

Молчат шестидюймовки «Авроры».

Молчат каменные сфинксы Фонтанки.

Петербург догнивал в тесном кольце Ленинграда…

Но как ни опускали его рвачи и бандиты, как ни уродовали его бездарные скоростройки, как ни заброшен он властями, Петербург по-прежнему велик и прекрасен.

…С выстрелом полуденной пушки прорвался сквозь пелену облаков луч солнца, и словно сноп прожектора ударил по всем стеклам и водам города. Так пришла в Питер первая весна двадцать первого века. И я видел это!

Космическое по своей яркости вставало над Питером солнце. В солнце город поет, как старинный инструмент под бодрым смычком.

Солнечный свет, прошедший сквозь стекла старинных витражей и окон, линзы маяков и стекла фонарей, обретает силу проекционного луча… В солнце оживает вся лепнина. Немые скульптурные спектакли разыгрываются на крышах и фронтонах – все движется вместе с тенями по ходу светила. Гранит невских набережных, и тот посверкивает блестками солнца.

Андрей Битов: «*Настоящий Петербург можно увидеть лишь при ясной погоде. Будто первый проект в голове Петра был под голубым куполом. Два раза в год дарується эта погода: в белые ночи и в бабье лето… Город, который сам по себе произведение. Окажитесь здесь зимой, осенью, белой ночью (желательно в ясную погоду) – вы окажетесь в положении литературного героя, даже нечитанного вами, даже ненаписанного никем… романа».* Именно так я прочитал «Судеб морских таинственную вязь…»

Чуден Питер под ярким солнцем, загадочен в белые ночи, прекрасен под штрихами дождя и в растре снежинок, в полную воду и под полной луной… Немыслим он без корабельных мачт, как храм без крестов.

…Солнечный луч скользит по серым фасадам, как патефонная игла, высекая звуки былого – вальсы духовых оркестров, перевздохи шарманок, крики газетчиков… Вот уже триста лет звучат они во сне и наяву, продолжаясь в благовесте колоколов Казанского собора, в цокоте конских копыт по Невскому, в гуле моторов, в свирельных наигрышах уличных музыкантов…

Статуи на крыше Зимнего дворца пересчитывают облака… Уходишь с Дворцовой площади под безмолвные взгляды богинь и героев. Мне пора на Московский вокзал.

…Обводной канал – линия пересечения дат и дорог. Новые сутки наступают сразу же, как только «Красная стрела» пересекает «американский мост», перекинутый через канал. Именно здесь вагонные колеса пробьют свою приветственную дробь четвертому веку Величественного города.

Часть первая
ВЗРЫВ КОРАБЛЯ

Вместо пролога

Ленинград. 1938 год

Главный врач ленинградской психиатрической больницы «Шестая верста» знал не только латынь, но и английский язык, поэтому он без труда перевел выцветшие строчки старого письма, которое нашли в бумагах умершей пациентки:

«Порт-Саид. 1916 г.

Милая Колди!

Теперь, когда ты читаешь это письмо и знаешь, что я жив – добавлю: и абсолютно невредим, – я вправе рассказать тебе о нашей катастрофе. Случилось то, чего я втайне опасался все четыре месяца нашего безумного плавания: мы взорвались. В десяти милях от Порт-Саида наш «Пересвет» взлетел на воздух. Сдетонировал носовой артпогреб, и наш старик, не продержавшись на плаву и четверти часа, ушел на дно. Вместе со всеми я принял «холодную ванну», но твои любезные соотечественники с конвоировавшего нас шлюпа «Дези» протянули мне руку помощи и приняли на борт вместе с другими моими соплавателями. И вот теперь мы снова в

Порт-Саиде, в этой немыслимой дыре. Из Сахары дуют зимние песчаные ветры. Летучий песок шуршит по брезенту палаток, в которых мы живем, навевая тоску невообразимую.

Союзники обещают прислать за нами транспорт и переправить в Европу. Думаю, самые тяжкие испытания позади, и я обниму тебя в Петрограде с началом весны… Без тебя твой – Михаил».

Это письмо и небольшую фотографию моряка с погонами старшего лейтенанта российского флота принесли и положили на стол доктора вместе со свидетельством о смерти больной Антонины Н. – на подпись.

Из всех историй болезни, хранившихся в районном доме скорби, история душевного недуга тридцатипятилетней красавицы была самой романтичной. В начале двадцатых годов деревенская девушка Тоня Н. – статная, хороша собой необыкновенно, – приехала в Петроград на заработки. Почти неграмотная, не знавшая ни одного городского ремесла, она нанялась домработницей в семью капитана дальнего плавания. Красавец-капитан был женат на англичанке, которая, как гласила молва, увезла однажды в Англию военные секреты, за что муж ее пошел под суд и был сослан на десять лет в Сибирь. Тогда Тоня, уверенная в невиновности своего хозяина, отправилась в Москву добиваться справедливости. Неискушенная в судебных делах, едва умевшая изобразить свою подпись печатными буквами, она ходила из приемной в приемную, из наркомата в наркомат и в конце кон-

цов сумела облегчить участь капитана. Его перевели на работу по специальности, и он стал водить баржи по Енисею. То был сущий подвиг женского сердца во имя справедливости и любви, ибо Тоня, на беду свою, любила капитана со всей силой первого чувства. Любила страстно, затаенно и безнадежно, сознавая всю пропасть, разделявшую ее, «необразованную» крестьянку из глухой деревни, простую домработницу, и его, бывшего дворянина, в прошлом блестящего морского офицера, а в советское время капитана большого парохода, совершавшего рейсы из Ленинграда в Лондон, человека, в два раза старшего по возрасту, прошедшего три войны – русско-японскую, германскую и гражданскую… И только бегство жены-англичанки, прихватившей с собой и семилетнего сына – Тоня души в нем не чаяла, перенося на него всю неистраченную любовь к его отцу, – это бегство и последовавшая за ним житейская катастрофа капитана, сбросившая его с недосягаемых вершин на дно жизни, когда она, по-старому «прислуга», а по-новому «домработница», вдруг оказалась выше по своему положению, чем он, ее высокородный возлюбленный, «лишенец» и ссыльный, – все это внушило Тониному сердцу какие-то надежды. Сначала она посылала ему теплые вещи и домашнюю снедь. Ведь капитан был совершенно одинок: родители умерли, единственный брат сгинул невесть где, а друзья, даже те, что не верили в пособничество капитана английской шпионке, писем все же ему не писали, и Тонины посылки да тетрадные листки, испещрен-

ные большими печатными буквами, кой-где подплывшими от слез, связывали его с родным городом единственной и, как знать, может быть, спасительной нитью.

Узнав, что капитану вышло послабление и живет он вроде как вольный, Тоня собрала свои немудреные пожитки, закрыла на все замки и запоры хозяйскую квартиру, которую долгие годы сберегала в неприкосновенности, и отправилась в Новосибирск, по великому жертвенному пути, накатанному еще декабристскими женами. Впрочем, вряд ли она знала о них что-нибудь, да если бы и знала, ведь не в подражание же кому-либо выбрала она свою судьбу-дорогу…

А капитан и в самом деле жил почти вольной жизнью. И даже женился на подруге по несчастью, бывшей петербургской аристократке, женщине яркой, красивой, образованной… Удар был столь велик, что Тоня повредилась в уме и, вернувшись в Ленинград, угодила в больницу, где и кончила свои дни через несколько лет по причине черной меланхолии.

Медицина бывает бессильной не только против смерти, но и против любви. Констатировав эту невеселую истину, главврач подписал свидетельство о смерти, а письмо и фотографию, с которыми несчастная не расставалась даже в палате, предал огню.

На дворе стоял тридцать восьмой год, и осторожный главврач не хотел хранить письма бывших офицеров.

Каково же было его удивление, когда наутро он увидел у

больничных ворот того самого человека, чье фото он сжег! Постаревший, поседевший, в темно-синем кителе, он шел за скромным крашеным гробом.

Тоня все-таки дождалась своего капитана…

В далеком Порт-Саиде, там, где начинается знаменитый Суэцкий канал, стоит под сенью пальм обелиск из серого камня. На обели ске выбиты слова: «Русским морякам, погибшим на боевом посту в январе 1917 года. Сооружен Министерством обороны СССР в 1955 г.».

Это памятник экипажу крейсера «Пересвет».

Самое страшное из того, что может случиться на военном корабле, – взрыв артиллерийских погребов. Именно так погиб крейсер «Паллада» в октябре 1914 года: торпеда с германской подлодки U-26 сдетонировала погреба, и огромный корабль затонул почти мгновенно. Из пятисот восьмидесяти четырех человек экипажа не спасся никто. Всплыла лишь одна судовая икона – образ Спаса Нерукотворного… Именно так – от взрыва погребов носовой башни – погиб спустя два года новейший русский дредноут «Императрица Мария». Именно так погиб и крейсер «Пересвет» в конце шестнадцатого по старому стилю, в начале семнадцатого – по новому…

Две первые катастрофы потрясли всю Россию, о них много писали и пишут до сих пор, а вот на гибель «Пересвета» русская пресса почти не отозвалась. То ли потому, что подобные взрывы уже перестали быть сенсацией, то ли пото-

му, что крейсер погиб слишком далеко от родных берегов, а может быть, и потому, что февральский взрыв самодержавия затмил огненный столб над палубой старого – порт-артурского еще – эскадренного броненосца, переименованного по нуждам войны в линейный корабль, но линкором так и не ставшего…

Если время может растекаться ручьями и прошлое проникать в будущее, то кровавый ручеек из русско-японской войны дотянулся и влился в кровавое море первой мировой бойни.

Поход «Пересвета» повторял в миниатюре скорбный путь эскадр Рожественского и Небогатова в географически зеркальном отражении: не с запада на восток, а с востока на запад. «Пересвет» был послед ней морской катастрофой царской России. И символической. Вслед за крейсером пошел ко дну и государственный корабль царизма.

Причины гибели «Пересвета» до конца не выяснены. Тогда, когда это можно было еще сделать, разразились события одно грандиознее другого: октябрьский переворот, гражданская война… Теперь же и вовсе не докопаться до истины. Средиземное море, Порт-Саид и зарубежные архивы хранят эту тайну. И все-таки…

Глава первая
ПРИСТАНИЩЕ БЕГЛЫХ ФЛОТОВ

Бизерта. Сентябрь 1974 года

Плавбаза «Федор Видяев» в сопровождении сторожевика и подводной лодки, на которой я служил, входила на рейд Бизерты с визитом дружбы. В знак уважения к советскому флагу нас поставили не в аванпорте, а в военной гавани Сиди-Абдаллах – в той самой, как выяснилось, что стала последним причалом для черноморских кораблей, уведенных Врангелем из Севастополя. Здесь же укрывались и испанская эскадра, угнанная мятежниками из республиканской Картахены в 1939 году, и остатки французского флота после падения Парижа в сороковом.

Бизерта, Бизерта, пристанище беглых флотов…

Я оглядывался по сторонам – не увижу ли где призатопленный корпус русского эсминца, не мелькнет ли где ржавая мачта корабля-земляка… Но гладь Бизертского озера была пустынна, если не считать трех буев, ограждавших район подводных препятствий. Что это за препятствия, ни лоция, ни карта не уточняли, так что оставалось предполагать, что именно там, неподалеку от свалки грунта, и покоятся в донном иле соленого озера остатки и останки «бизертской эскадры».

Утром объявили сход на берег. Видавший виды плавба-

зовский баркас, тарахтя мотором, шел вдоль озерного берега, держа курс на бизертские минареты.

Красноватая всхолмленная земля с клочковатой зеленью. Под редкими пальмами паслись верблюды. Так странно было их видеть поверх белых матросских бескозырок!

А впереди наплывала Бизерта – кроны пальм и купола мечетей, белые купола и зеленые кроны. Африканское солнце жгло нещадно, и купола, казалось, вспухали, как волдыри на обожженных плоских крышах белого города. Кроме белого цвета стен и одежд, в Бизерте любили голубой. В голубой были выкрашены двери и жалюзи, решетки балконов и навесы витрин. Если у городов есть глаза, то Бизерта голубоглаза.

Мы, старпом нашей подлодки Симбирцев, командир плавбазы Разбаш и я, высадились недалеко от паромного причала и вышли на Русскую улицу. Это было приятно, как будто названа она была именно в нашу честь. Правда, через квартал мы попали на Бельгийскую улицу, а потом пересекли Турецкую, Алжирскую, Греческую, Испанскую… По приморскому бульвару мы дошли до древней завязи города – бухточки Вьё-Пор, раздвигающей старинные испанские кварталы Бизерты, словно извив реки, едва начавшейся и тут же оборванной. То была не просто лагуна, а как бы еще одна городская площадь, мощенная не камнем, а легкой морской рябью. Вьё-Пор – Старый Порт – кишел рыбацкими лодками, заваленными непросохшими сетями, корзинами с серебристой макрелью, сардинами, лангустами… На мачтах бол-

тались рыбьи хвосты, подвязанные для доброго лова, а на бортах и транцах утлых суденышек пестрели знаки от дурного глаза – око, начертанное посреди растопыренной пятерни. Кое-где ржавели прибитые к рубкам «счастливые» подковы. Видно, нелегко она доставалась, рыбацкая добыча, если на помощь призывалось сразу столько амулетов…

Кричали муэдзины с белых минаретов, пытаясь наполнить уши правоверных мудростью пророка через воронки радиорупоров.

Аллах акбар! Велик базар… Плывут малиновые фески, чалмы, бурнусы… Велик торговый карнавал! Пестрые попоны мулов, яркая эмаль мопедов, сияющая медь кувшинов на смуглых плечах водоносов, пунцовые связки перца, разноцветная рябь фиников, миндаля, маслин, бобов…

На приступах, в нишах, подворотнях, подвальчиках кипела своя жизнь. Под ногами у прохожих старик бербер невозмутимо раздувал угли жаровни с медными кофейниками. Его сосед, примостившийся рядом, седобровый, темноликий, по виду не то Омар Хайям, не то старик Хоттабыч, равнодушно пластал немецким кортиком припудренный рахат-лукум. Разбаш тут же приценился к кортику, но старец не удостоил его ответом. Он продавал сладости, а не оружие.

Закутанные в белое женщины сновали бесшумно, как привидения. Порой из складок накрученных одеяний выскользнет гибкая кофейная рука, обтянутая нейлоном французской кофточки, или высунется носок изящной туфельки.

В толпе не увидишь старушечьи х лиц – они занавешены чадрой, и потому кажется, что город полон молодых хорошеньких женщин. Но это одна из иллюзий Востока.

У ворот испанской крепости Касбах к нам подбежала девушка вида европейского, но с сильным туземным загаром. Безошибочно определив в Разбаше старшего, она принялась его о чем-то упрашивать, обращаясь за поддержкой то ко мне, то к Симбирцеву. Из потока французских слов, обрушенных на нас, мы поняли, что она внучка кого-то из здешних русских, что ее гранд-папа, бывший морской офицер, тяжело болен и очень хотел бы поговорить с соотечественниками, дом рядом – в двух шагах от крепости.

Мы переглянулись

– Может, провокацию затеяли? – предположил Симбирцев.

– Напужал ежа! – воинственно распушил бакенбарды командир плавбазы. – Нас трое, и мы в тельняшках… Посмотрим на обломок империи. Наверняка с бизертской эскадры.

И мы пошли вслед за девушкой, которую, как быстро выяснил Разбаш, звали Таня и которую он всю недолгую дорогу корил за то, что та не удосужилась выучить родной язык. Девушка чувствовала, что ее за что-то упрекают, но не могла понять за что и потому жеманничала преотчаянно. Она привела нас к старинному туземному дому, такому же кубическому и белому, как и теснившие его соседи-крепыши.

Мы вошли в белые низкие комнаты уверенно и чуточку

бесцеремонно, как входят в дом, зная, что своим посещением делают хозяевам честь и одолжение.

«Обломок империи» лежал на тахте под траченным молью пледом. Голова, прикрытая мертвыми серебристыми волосами, повернулась к нам с подушки, и старик отчаянно задвигал локтями, пытаясь сесть. Он сделал это без помощи внучки, подобрал плед, оглядел нас недоверчиво, растерянно и радостно.

– Вот уж не ожидал!… Рассаживайтесь! Простите, не знаю, как вас титуловать…

Мы назвались. Представился и хозяин:

– Бывший лейтенант российского императорского флота Еникеев Сергей Николаевич.

Это молодое блестящее звание «лейтенант» никак не вязалось с дряхлым старцем в пижаме. Правда, в распахе домашней куртки виднелась тельняшка с широкими нерусскими полосами. В вырез ее сбегала с шеи цепочка нательного крестика.

На вид Еникееву было далеко за семьдесят, старила его неестественная белизна лица, столь заметная оттого, что шея и руки бывшего лейтенанта были покрыты густым туземным загаром.

Он рассматривал наши лица, наши погоны, фуражки, устроенные на коленях, с тем же ошеломлением, с каким бы мы разглядывали инопланетян, явись они вдруг перед нами. Он очень боялся – и это было видно, – что мы посидим-по-

сидим, встанем и уйдем. Он не знал, как нас удержать, и смятенно предлагал чай, фанту, коньяк, кофе… Мы выбрали кофе.

– Таня! – почти закричал он. – Труа кяфе тюрк!… Извините, внучка не говорит по-русски, живет не со мной… Вы из Севастополя?

– Да, – ответил за всех Разбаш, который и в самом деле жил в Севастополе.

– Я ведь тоже коренной севаступолит! – обрадовался Еникеев. – Родился на Корабельной стороне, в Аполлоновой балке. Отец снимал там домик у отставного боцмана, а потом мы перебрались в центр… Может быть, знаете, в конце Большой Морской стоял знаменитый «дом Гущина»? Там в крымскую кампанию был госпиталь для безнадежно раненных… Вот в этом печальном доме я прожил до самой «врангелиады». Дас… Я ведь механик. Из студентов. Ушел из Харьковской технологжки охотником на флот. Сразу же как «Гебен» обстрелял Севастополь. Ушел мстить за поруганную честь города. Да, да, – усмехнулся Еникеев, – так я себе представлял свое участие в мировой войне.

Таня принесла кофе и блюдо с финиками. Пока разбирали чашечки, я огляделся. Убранство комнаты выдавало достаток весьма средний: старинное, некогда дорогое кресло «кабриолет», расшатанный кофейный столик, облезлый шкафчик-картоньер для рукописей и бумаг… Из морских вещей здесь были только бронзовые корабельные часы фир-

мы «Мозер», висевшие на беленой стенке между иконкой Николая Чудотворца и журнальным фото Юрия Гагарина в белой тужурке, украшенной шейными лентами экзотических орденов. Поверх картоньера лежала аккуратная подшивка газеты «Голос Родины», издающейся в Москве для соотечественников за рубежом.

– Я подписался на эту газету, – перехватил мой взгляд Еникеев, – когда узнал, что ваше правительство поставило в Порт-Саиде памятник крейсеру «Пересвет». Слыхали о таком?

– Тот, что взорвался в Средиземном море?

– Точно так. В шестнадцатом году на выходе из Суэцкого канала… Я был младшим трюмным механиком на «Пересвете» и прошел на нем – извините за каламбур – полсвета: от Владивостока до Суэца. Это был старый броненосец, хлебнувший лиха еще в Порт-Артуре. Японцы потопили его в гавани, затем подняли, нарекли «Сагами», подняли свой флаг, а спустя лет десять продали России. В кают-компании его называли «ладьей Харона», мол, «ладья» эта уже переправила на тот свет немало людей, теперь, вторым рейсом, доставит туда еще семьсот семьдесят…

За свою морскую жизнь я совершил только один настоящий поход – из Владивостока в Порт-Саид. Да-с, один… Горжусь им и скорблю… «Пересвету» было отмерено все, что выпало на долю флоту российскому: чести и подлости, дури и отваги, огня и смерти… Кто в море не ходил, тот Бо-

га не маливал… Это про нас сказано. Японцы продали нам «Пересвет», как цыган кобылу: дыры в водонепроницаемых переборках были заклеены пробковой крошкой и тщательно закрашены, свищи в трубопроводах так же замазаны…

Вместо обещанных японцами семнадцати узлов хода «Пересвет» едва вытягивал четырнадцать… И такой-то вот калека-ветеран должен был пройти все океаны Земли, обогнуть матушку-Россию от Японии до Лапландии и оттуда, из Александрова-на-Мурмане, грозить надменному германцу. Столь грандиозный проект могу объяснить лишь тем, что к концу войны наш Генмор играл ва-банк, тут и валет за туза шел.

Оставалось уповать на небесную канцелярию, русского матроса да нашего командира – каперанга Иванова-Тринадцатого. То был опытный моряк, отличившийся еще в русско-японскую, когда лейтенантом заменил на «Рюрике» убитого командира. Знал он и подводное дело, будучи одно время начальником подводных лодок на Дальнем Востоке. А на «Пересвет» пришел с новейшего строящегося дредноута «Измаил» по личному распоряжению морского министра. Нам импонировало, что в опасный и долгий поход каперанг взял и своего сына – гардемарина Морского корпуса. Юноша стоял вахты и никогда не кичился своим особым положением.

Под стать командиру был и наш старший офицер Михаил Михайлович Домерщиков, личность колоритная и романтическая.

За какую-то провинность он попал в пулеметную морскую команду при Дикой дивизии. Там он творил чудеса храбрости и отчаянной отваги. Срывает на грудь полный Георгиевский бант, и выходит ему высочайшая амнистия с производством в лейтенанты. В этом чине он командует госпитальным судном «Португаль» и снова дерзит смерти, да так, что император вручает ему золотую георгиевскую саблю. С нею он и прибыл на «Пересвет» и в нашем походе еще раз доказал достоинство своих регалий. Я так просто спасителем его своим числю. За день до рокового выхода наш старшой выпросил у англичан новейшие самонадувающиеся спасательные пояса. Мы ведь до Порт-Саида дошли с одной гнилой пробковой крошкой в матрацах.

Простите меня, старика, я верю в мистику чисел. Наш поход казался мне обреченным уже потому, что фамилия командира включала в себя «чертову дюжину» – Иванов-Тринадцатый. Впрочем, и без того было много других дурных предзнаменований. Еще в Японском море на пробах машин «Пересвет» сел на камни у мыса Басаргин. В японском порту Майдзуру, куда мы потом пришли на ремонт, броненосец так поставили в сухом доке, что получился прогиб корпуса, да такой, что все тридцать два котла сдвинулись с мест и порвали свои паропроводы. В довершение всех бед чья-то коварная рука опрокинула на корабль паровой доковый кран, взорвался котел, и только по счастью никто не пострадал. И когда мы проходили Цусиму и судовой священник отец

Алексей заревел на панихиде по русской эскадре: «Пучиною покры их, погрязоша во глубине, яко камень», тут не только у меня, у многих на душе кошки заскребли.

Нет, что ни говорите, а злой рок преследовал нас на всем пути. И в команде, и в кают-компании открыто поговаривали о вражеских агентах, проникших на корабль, об интригах англичан, под чью опеку нас передали, о германских субмаринах, извещенных о нашем маршруте… Слишком много странных и опасных вещей случалось на походе. Необъяснимая история произошла в Сингапурском проливе. На траверзе маяка, стоявшего на скалистых островах, корабль вдруг резко рыскнул и пошел прямо на камни, хотя руль был сразу же переложен на другой борт. Чудом успели развернуться машинами. Тут же осмотрели штуртросы, рулевую машинку, но все было в исправности.

В Суэцком канале лоцман-прохиндей посадил нас на мель, перегородив фарватер корпусом броненосца, как плотиной. Насилу снялись… В Порт-Саиде под видом снабженцев на «Пересвет» проникли какие-то темные типы. Выдворили их, но потом полдня искали по всем палубам «адскую машинку», которую они могли пронести и припрятать. Взрывное устройство так и не нашли, однако страх был посеян.

Признаюсь честно, жить и служить на корабле, уже бывавшем на морском дне, – неуютно. Мне все время думалось, что в моей каюте обитала когда-то подводная нечисть, пол-

зала по столику, всплывала и выплывала через разбитый иллюминатор… Мерзко спалось… Но все равно я любил этот бронтозавр, ведь это мой первый боевой корабль, на нем я принял морское крещение, и – не улыбайтесь – сына-первенца я назвал Пересветом…

Из глубокого тыла мы шли на войну, и я мечтал о честном корабельном сражении, вроде Ютландского боя. Но морская война для меня началась и кончилась в одну ночь. Ночь, скажу я вам, ужасную.

Мы вышли из Порт-Саида на Мальту за три дня до Рождества. Нас конвоировали англичане и французы, они же протралили нам и фарватер, так что шли мы без особой опаски.

Я сменился с вахты и мылся в кормовом офицерском душе под броневой палубой. Вдруг корабль тряхнуло, погас свет, и из лейки пошел крутой кипяток… Я выбежал в темный коридор весь в мыле… На меня наскакивали кочегары; матросы лезли к трапам, ведущим наверх, застревали в люках… Палуба кренилась все круче и круче, и я понял, что выбраться из низов не успею… Страх, он разный бывает – и гибельный, и спасительный. Меня как пружиной толкнуло: ворвался в каюту, чью – не знаю, отдраил иллюминатор и – спасибо, мыло на мне, смыть не успел, а то б не пролез – проскочил, кожу с плеч сдирая. Вода декабрьская, ледяная, а на мне ничего. Одежда, хоть и мокрая, все же тепло держит. Ну да в ту минуту я радовался, что налегке плыву, побыстрее да подальше от водоворотной воронки. Корабль на дно идет и

людей за собой тянет.

«Пересвет» погрузился и ушел в пучину с Андреевским флагом на гафеле, под прощальное «ура» державшихся на плаву матросов. Вместе со всеми барахтались в ледяной воде командир и старший офицер. Они подбадривали команду, призывали держаться кучнее и дали подобрать себя последними, спустя четыре часа после катастрофы…

Из восьмисот душ «ладья Харона» унесла с собой двести полста.

Я с двумя макушками родился – счастливый. Выловил меня вельбот с английского конвоира «Нижелла». Дали глотнуть коньяку, закутали в брезент… Лежал я на носу и рыдал под брезентом, благо британцы не видели. Рыдал от обиды, от позора, от бессилия. Судите сами: столько лет готовиться к морским баталиям, проделать такой путь – с края на край земли – и вместо геройского боя и, может быть, даже, мечталось, исторического сражения, бесславная, глупая гибель в считанные минуты. Нелепые аксессуары: душ, мыло, бегство через иллюминатор, барахтанье в воде, пока тебя не выловят в непотребном виде и не втаскивают в шлюпку, добро бы, свою, а то в британскую, сочувственные взгляды с хорошо скрытой насмешкой…

Всех спасенных разместили в палаточном лагере близ Порт-Саида, а раненых и обожженных – в госпиталях. Конечно, мы все рвались домой, в Россию, но начальство распорядилось иначе: часть пересветовцев отправили во Фран-

цию на новые тральщики, часть – во главе со старшим офицером – в Италию – пополнять экипажи дозорных судов, построенных по русским заказам. Спасителя моего старшего лейтенанта Домерщикова назначили командиром вспомогательного крейсера «Млада». Но он, кажется, так и не дошел до России. Немцы торпедировали его в Атлантике.

Мне же выпало и вовсе чудное назначение. Дали мне под начало дюжину матросов и отправили в Грецию обслуживать катер русского военно-морского агента в Пирее, по-нынешнему – морского атташе… После броненосца новая служба была сущей синекурой. Матросики мои считали, что Николай Чудотворец даровал нам ее за муки, принятые на «Пересвете». Солнце, море и жизнь почти мирная… Весной семнадцатого я женился на гречанке – дочери пирейского таможенника. Кассиопея, Касси, родила мне сына. Я рассчитывал увезти их в Севастополь, как только оттуда уберутся немцы. Но все получилось не так…

Вижу, вы поглядываете на часы. Буду краток. В июне восемнадцатого, узнав из греческих газет о затоплении русских кораблей в Цемесской бухте, я счел большевиков предателями России, оставил семью и отправился в Севастополь бороться с немцами и большевиками. Поймите меня правильно, сидя в Афинах, трудно было составить себе правильную картину того, что происходило в Крыму, а тем более в Москве.

С немцами мне бороться не пришлось, в ноябре восемна-

дцатого они убрались сами; с большевиками, слава Богу, тоже не воевал. Меня, как механического офицера, определили инженером-механиком на подводную лодку «Тюлень». На ней я и ушел в Бизерту вместе с остатками Черноморского флота в ноябре двадцатого…

Мы сидели перед ним, трое невольных судей чужой жизни. Еникеев говорил с трудом, и не потому, что отвык от родной речи. Он боялся, что ему не поверят, что подумают, будто он набивает себе цену…

Судьба его в наших глазах походила на прихотливо искривленный ствол деревца, чудом выросшего где-то над пропастью. Чужбина – та же пропасть, а вот поди ж ты, удивлялись мы про себя, выжил, прижился, даже корни пустил.

Старик рассказывал нам свою жизнь… Что это было? Исповедь? Оправдание? Или он просто подводил черту прожитому?

– Теперь, когда вы знаете мою историю, – вздохнул Еникеев, – я хочу попросить вас об одном одолжении.

Он дотянулся до картоньера, выдвинул ящичек и достал из него старый морской кортик. Ласково огладил эфес и граненые ножны, тихо звякнули бронзовые пряжки с львиными мордами.

– Когда вернетесь в Севастополь, – Еникеев вздохнул, – бросьте мой кортик в море возле памятника затопленным кораблям. – Он решительно протянул Разбашу кортик – рукояткой вперед. – Беру с вас слово офицера.

Разбаш глянул на нас и выразительно кашлянул.

– Слово офицера.

Еникеев еще раз заглянул в ящик.

– А это вам всем от меня на память. Берите! Здесь это все равно пропадет… В лучшем случае попадет в лавку старьевщика.

Разбашу он вручил личную печатку, мне – корабельный перстенек в виде серебряной якорь-цепи с накладным крестом и якорьком, Симбирцеву – нагрудный знак офицера-подводника русского флота.

В узкое полукруглое окно вплывал вечерний шар тунисского солнца. Оно уходило за Геркулесовы столпы, чтобы подняться утром с той стороны, где в далекой синей мгле, за ливанскими кедрами и стамбульскими минаретами, белеют севастопольские бастионы…

Глава вторая
ПЕРСТЕНЬ С «ПЕРЕСВЕТА»

Я был уверен, что вся эта бизертская история закончилась для меня раз и навсегда преданием севастопольской бухте еникеевского кортика. Я и подумать не мог, что очень скоро она продолжится, да так, что имя «Пересвета» на многие годы лишит меня душевного покоя и поведет в долгий путь, то печальный, то радостный, по городам, архивам, библиотекам, домам… Я прочту никем не придуманный и никем не записанный роман в письмах, документах, фотографиях, сохранившихся и исчезнувших, роман в судьбах книг, моряков и их кораблей.

И я в самом деле прочитал его – под стук вагонных колес, скрип старинных дверей, шелест архивных бумаг. Прочитал, как давно ниче го не читал, – с болью, с восторгом, с замиранием сердца. И уж конеч но, мне не пересказать этот роман так, как я его пережил там – под сводами хранилищ памяти и в стенах многолюдных ленинградских – петроградских еще – квартир, в суете чужих столиц и благородной тиши библиотек. Я попробую лишь расположить события и встречи, открытия и находки в том порядке, в каком они мне выпали…

Вена. Апрель 1975 года

Непривычно, должно быть, выглядели наши черные флотские шинели на улицах сухопутной Вены. Но венцы знали:

к ним с визитом дружбы пришли советские речные корабли, наследники тех самых дунайских бронекатеров, что в апреле сорок пятого освобождали здешние берега от гитлеровцев.

Я участвовал в том походе как корреспондент «Красной звезды».

Гости в форменках были нарасхват. Бургомистр Вены дал в ратуше большой обед в честь советских моряков. Потом отряд разбился на группы: одна поехала на встречу с венскими комсомольцами, другая – в понтонный батальон австрийской армии, а наша – с баянистом, танцорами и певцами – в клуб прогрессивной эмигрантской организации «Родина». Соотечественники, осевшие в Австрии в разные времена и по разным причинам, встретили нас радушно, усадили за большой чайный стол. Моими соседями оказались моложавая дама из княжеского рода Бебутовых и немолодой – лет за семьдесят, – но весьма энергичный, как я понял, венский юрист, назвавшийся Иваном Симеоновичем Палёновым.

Меня интересовала Бебутова: в разговоре выяснилось, что она из рода Багратионов; венский юрист попытался вклиниться в нашу беседу, сообщив, что и его прадед тоже участвовал в Отечественной войне 1812 года, оставив след в ее истории. Однако речь шла только о Багратионе…

Улучив паузу, Палёнов вдруг спросил меня:

– Простите за любопытство, откуда у вас перстень с «Пересвета»?

Подарок Еникеева я носил и по сю пору ношу на безымянном пальце левой руки. Я коротко рассказал о встрече в Бизерте и в свою очередь спросил: почему он решил, что перстень связан с «Пересветом»?

– Как же, как же! – обрадовался перехваченному вниманию Палёнов. – На русском флоте была традиция: корабельные офицеры заказывали фирменные перстни, браслеты или брелки на всю кают-компанию. По ним, как по опознавательным знакам, узнавали, кто с какого корабля. У пересветовцев была своя эмблема: соединенные крест, якорь и сердце – вера, надежда, любовь…

Предвижу ваш новый вопрос: откуда мне это все известно?

Видите ли, история русского флота – моя страсть, мое хобби, как принято теперь говорить. Могу выдать вам любую справку по любому русскому кораблю начала века. Собственно, я и в клуб сегодня припожаловал, чтобы живых моряков послушать, на блеск морского золота полюбоваться… Впрочем, это лирика!

Ну а «Пересветом» я занимался особо.

Году эдак в сорок седьмом здесь, в Вене, скончался бывший лейтенант русского флота Кизеветтер. При Временном правительстве он входил в состав комиссии по расследованию обстоятельств покупки, плавания и гибели крейсера «Пересвет». Обстоятельств, надо сказать, весьма туманных.

Англичане, под чьим протекторатом находился крейсер

во время перехода из Японии в Александров-на-Мурмане, категорически утверждали, что «Пересвет» подорвался на германской плавучей мине. Большая же часть спасенной команды склонялась к мысли, что корабль был взорван с помощью «адской машинки», пронесенной на крейсер во время стоянки в Порт-Саиде. Я тоже убежден в этом. Весь вопрос: кто ее принес?

Я читал собственноручные показания матросов. Дело в том, что Кизеветтер вывез из России свой довольно солидный архив: фотоснимки, копии показаний, переписку с офицерами «Пересвета», дневник следствия… После его кончины я приобрел эти бумаги. И провел своего рода доследование. Льщу себя надеждой, что именно мне удалось поставить точку в этом запутанном деле. Да-да, точку!

Ведь официальная комиссия по расследованию так ничего и не выяснила, хотя работа велась почти год – и в Петрограде, и в Порт-Саиде, и во французском Бресте, куда переправили часть спасенной команды, и даже в Архангельске. Там тоже оказались пересветовцы, вернувшиеся на Родину в обход воюющей Европы. К даче показаний были привлечены весьма крупные фигуры русского флота, даже бывший начальник Морского генерального штаба адмирал Русин… Обе версии строились лишь на предположениях, догадках да разрозненных свидетельствах, порой весьма разноречивых. Полный свет на причину гибели могли пролить лишь водолазы после осмотра корпуса и определения характера пробо-

ин. И хотя «Пересвет» затонул на небольшой глубине – всего двадцать четыре метра, – глубине, доступной даже ныряльщикам, англичане под разными предлогами так и не спустили водолазов. Более того, они всячески препятствовали судоподъемным работам итальянской и датской фирм, предложивших русскому Морведу поднять «Пересвет»…

Англичане очень надеялись, что через год-другой илистые выносы из устья Нила навсегда погребут «Пересвет», а вместе с ним и тайну его гибели. Вы уже поняли, к чему я веду? Да-да, Альбион не зря называют коварным. Смею утверждать, что сей несчастный крейсер пустили на дно не германцы, а именно англичане, под чьей эгидой находился тогда «Пересвет». Зачем они это сделали? Здесь все очевидно. Когда Россия держала свои главные флоты в «мешках с удавками» – в Балтийском и Черном морях, выходы из которых легко контролируются как на Босфоре с Дарданеллами, так и в проливах Скагеррак – Каттегат, Британия снисходительно смотрела на русские эскадры. Но вот Россия наконец нащупала главный плацдарм своей морской мощи – Кольский полуостров. Отсюда ее корабли могли бесконтрольно (!) выходить в открытый океан, в Атлантику, в непосредственной близости от Британских островов, и королевское адмиралтейство весьма обеспокоилось намерением своих союзников создать в Мурманске и Архангельске так называемую флотилию Северного Ледовитого океана. Неважно, что в ядро этой флотилии должны были войти устаревшие броненос-

цы, ветераны Порт-Артура и Чемульпо: «Чесма», «Варяг» и «Пересвет». Главное, что Россия созрела для стратегической идеи иметь флот на Севере, и идею эту надо было поскорее развенчать, опорочить, похоронить раз и навсегда. Англичане с большой охотой предоставили свой старый линкор «Глория» для прикрытия русского судоходства на Севере: вот вам, пользуйтесь, только не заводите здесь свои дредноуты. Но «Глория» не справлялась с пиратством германских субмарин в Баренцевом и Белом морях. И когда отряд судов особого назначения под флагом контр-адмирала Бестужева-Рюмина все же вышел из Владивостока, англичане сделали все, чтобы он не дошел до Севера. Ведь именно в британских штабах разрабатывали секретные маршруты русских кораблей; кому, как не им, адмиралам королевского флота, державшим свои дредноуты от Суэца до Гибралтара, была известна истинная обстановка на Средиземном море: районы действия германских лодок, минные поля и прочие опасности. Как легко им было направить русские корабли между какими-нибудь заранее предусмотренными Сциллой и Харибдой!

У Бестужева-Рюмина хватило осторожности не идти по фарватерам, рекомендованным англичанами. На свой страх и риск он пересек Средиземное море, кишащее кайзеровскими субмаринами, там, где считал возможным, и… благополучно прибыл в Кольский залив. Правда, это не спасло «Чесму» и «Варяг» от участи, приуготованной им британ-

скими стратегами. Оба корабля вынуждены были уйти в Англию на ремонт и оттуда уже больше никогда не вернулись в строй. «Варяг» был продан на слом, а «Чесму» они превратили в плавучую тюрьму, перегнав ее во время интервенции в Архангельск. Там же переоборудовали ее в баню, приведя корабль в такую негодность, что вскоре он тоже пошел на лом…

Оставался «Пересвет». Он задержался с выходом на два месяца из-за докового ремонта в Японии. И потому, придя в Порт-Саид тогда, когда Бестужев-Рюмин благополучно избежал козней коварных союзников, попал в прочную сеть хитросплетений. Уж его-то англичане меньше всего хотели упустить из рук. Все складывалось в их пользу – и то, что броненосец, изношенный за поход, почти на месяц стал на ремонт, и то, что командир его, каперанг Иванов-Тринадцатый, был весьма пристрастен к спиртным напиткам, и даже то, что город наводняла германская агентура. Последнее обстоятельство и вовсе было на руку: что бы с «Пересветом» ни случилось, все можно было списать на происки немецких диверсантов.

«Пересвет» был обречен. Древний закон природы: отставший от стаи – гибнет…

Скажу вам вот что еще… В сорок шестом году я работал переводчиком в венской комендатуре английских оккупационных войск. Сошелся на короткой ноге с одним майором, который, узнав о моем увлечении историей «Пере-

света», подарил мне прелюбопытнейший факт. Оказывается, перед войной этот майор служил в Александрии и лично участвовал в водолазных спусках на «Пересвет». Каково, а?! Они осмотрели крейсер лишь спустя двадцать лет после того, как их просило об этом русское морское министерство. Разумеется, не для того, чтобы определить причину гибели. Их интересовали более материальные соображения: подводная часть «Пересвета» была обшита медью, а медь, как стратегический металл, перед войной сильно вздорожала…

Так вот, на удивление водолазов, крейсер вовсе не был занесен ни илом, ни песком. Он стоял на ровном киле с небольшим креном на левый борт. Края огромной бреши в районе носовой башни были загнуты кнаружи, вовне. А это значит, что взрыв произошел внутри корабля.

Не было никакой плавучей мины!

А что же было? Несчастный случай в артиллерийском погребе или злой умысел? Отвечаю определенно: злой умысел. Чей? Британцев. Каким образом его удалось осуществить?

О, я вижу, мне удалось вас заинтересовать. Боюсь, рассказать все до конца не успею. Ваши соплаватели уже собираются.

Корабельные артисты, исполнив свою незамысловатую программу, складывали инструменты в футляры.

Назавтра по программе визита наши артиллерийские катера принимали экскурсантов, и я предложил своему знакомому продолжить рассказ на борту штабного судна, где я

жил вместе с коллегами.

Иван Симеонович пришел с первой же группой экскурсантов. Он принес с собой толстую кожаную папку, и мы устроились с разрешения дежурного по кораблю за столиком в кают-компании. Из кожаной папки был извлечен фирменный конторский бумагодержатель с блестящим пружинным зажимом. Все документы в нем были пронумерованы и разложены с любовной аккуратностью завзятого коллекционера. Он осторожно освободил один листок из-под зажима и положил передо мной.

– Читайте. Это показание, данное комиссии в Бресте комендором Медведевым. В день ухода «Пересвета» из Порт-Саида он стоял разводящим в карауле, охранявшем зарядный и снарядный погреба носовой башни главного калибра… Той самой, что взлетела на воздух. Это подлинник!

Последнее слово он произнес с той ликующей гордостью, с какой владелец собрания картин представляет шедевр.

Я пробежал выцветшие строчки, выведенные непривычной к перу матросской рукой. Смысл показания сводился вот к чему.

Стоя в карауле, комендор Медведев увидел, как мимо него по коридору левого носового каземата артиллерийский квартирмейстер1 Пугачев пронес полированный деревянный ящичек с ручкой на крышке. Медведев остановил его и спросил, что и куда он несет.

– Не видишь, термограф несу, – ответил Пугачев. – Стар-

ший артиллерийский офицер приказали в выгородку тринадцатого погреба снести.

Как выглядит термограф – прибор, записывающий колебания температуры в зарядовых погребах, – Медведев знал еще по артиллерийской школе в Кронштадте. Но то, что держал в руках квартирмейстер, могло быть чем угодно, только не термографом. Глухой ящик без сетки и стекла закрывался глухой крышкой так же, как футляр швейной машины. Крышка была заперта на замок.

Одна из фраз медведевского показания запомнилась мне буквально: «Я приставил ухо к ящичку и услышал тиканье часового механизма». Услышать-то он услышал и тут же засомневался – не померещилось ли? Да и кого подозревать? Квартирмейстер Пугачев, свой в доску, никак не походил на вражеского агента. Вызывать разводящего Медведев не стал, раз уж сам старший артиллерист приказал – пусть несет. И Пугачев унес ящичек в выгородку тринадцатого погреба, где хранились салютные патроны, набитые черным порохом, фальшфейеры, ракеты и прочие огнеприпасы.

Артиллерийский квартирмейстер Пугачев утонул на месте гибели «Пересвета». Во всяком случае, среди спасенных Медведев его не видел.

– Знаете, кто был старшим артиллеристом на «Пересвете»? Старший лейтенант Ренштке. Из немцев. А вот еще один любопытный документ. Собственноручная копия Кизеветтера с подлинника.

Странно было читать корявые матросские словеса, выписанные изящным офицерским почерком. Показание матроса Акимова, данное им комиссии по возвращении в Петроград: *«Я, матрос Акимов Василий Иванович, крестьянин Тверской губернии, имею сообщить, что в день отхода „Пересвета“ из Порт-Саида стоял дневальным в жилой палубе. Как пробили первый большой сбор на отдачу швартовых, в палубе никого не было. А только вижу – с кормы идет араб в красной шапке и с чемоданом. Чемодан кожаный, двенадцать вершков длиною. Араб по-русски меня спрашивает: „Где каюта лейтенанта Реништке?“ Я указал. Араб постучал в дверь Реништке, ему открыли, араб зашел, и дверь закрыли на ключ. Думаю, нету такого в уставе, чтоб офицеру с арабом на ключ запираться. Дай гляну в замочную дырку. Глянул. Стояли оба ко мне спиной и в чемодане чтой-то шурудили. Тут сверху рассыльный бегит. Стучит Реништке в каюту, мол, их благородие старший офицер к себе кличут. Реништке через дверь ответил: „Сейчас иду“. Рассыльный убег, а Реништке все не выходит. Тогда старший офицер еще раз рассыльного прислали. Реништке вышел. Но араба в каюте запер на ключ и ушел на ют. Больше показать не могу. Пришла смена и сменила меня с дневальства.*

Матрос Акимов».

– Ну а теперь, – лицо моего собеседника сделалось торжественным и строгим, – я покажу вам истинного виновника гибели «Пересвета».

Он достал из конверта старую кофейного цвета фотографию размером с почтовую открытку. На ней был изображен моложавый британолицый английский офицер с аккуратным пробором. Френч с огромными накладными карманами стягивала ладно пригнанная портупея. Бриджи, краги со шнуровкой… Лицо открытое, правильное и даже приятное…

– И старший лейтенант Ренштке, и квартирмейстер Пугачев были всего лишь слепыми исполнителями воли этого человека. Кто он? Старший офицер «Пересвета» старший лейтенант Михаил Домерщиков – собственной персоной. Агент и инструмент английской разведки. Тип с очень темной биографией. Кадровый офицер русского флота. В русско-японскую войну служил младшим артиллеристом на крейсере «Олег». Дезертировал с него в Маниле и сбежал с какой-то японкой в Австралию. Заметьте – в британский доминион. Там он быстро пошел в гору, думаю, неспроста, так как кое-какие услуги англичанам он мог уже оказывать еще и на «Олеге» по пути русских эскадр из Либавы в Цусиму… Но это к слову. А вот и факты. Великолепно владея английским и, видимо, уже будучи на службе у Интеллидженс сервис, Домерщиков просит руки дочери английского вице-консула в Австралии. Этот брак вводит его в круг английской аристократии. Он преуспевает, и, как видите, форма английского офицера ему к лицу.

С началом первой мировой войны Домерщиков засылается в Россию и внедряется в среду русского флота. Сначала

он изучает подводное дело, а затем проникает в отряд особого назначения. Оттуда в качестве старшего офицера «Пересвета» матерый резидент отправляется на Север, где в нарождающейся русской флотилии англичанам весьма важно иметь своего человека.

Упустив корабли Бестужева-Рюмина, британцы намерены разделаться с «Пересветом», и господин Домерщиков получает деликатное задание. Выполнить его не составляет для него особого риска. Как старший офицер, он вхож в любое помещение на корабле; как бывший артиллерист, он знает самые уязвимые места. И наконец, железное алиби: война. Крейсер входит в зону боевых действий, и что бы с ним ни случилось – виноваты германцы, их мины и подводные лодки. А если возникнут какие-либо подозрения, то пусть они, решает Домерщиков, падут на голову немца же – старшего артиллериста Ренштке. План его довольно прост и сравнительно безопасен. Накануне выхода он берет у Ренштке сигнальный ящик для залповой стрельбы, зная, что он хранится вместе с прочими артиллерийскими приборами в выгородке тринадцатого погреба.

Ящик ему нужен якобы для занятий с офицерами. Занятия он проводит – все это документально подтверждается. А потом возвращает ящик Ренштке, зная, что тот отошлет его в выгородку тринадцатого погреба. Вложить в ящик запальное или взрывное устройство ничего не стоит, тем более что крышка запирается, а ключ старший офицер оставляет у се-

бя, как бы забывая его вернуть. Когда дело будет сделано и ящик-мина окажется в выгородке, он постарается избавиться и от этой последней улики – отдаст ключ Ренштке. Через два часа после выхода из Порт-Саида сигнальный ящик воспламеняется и взрывает сложенные в выгородке огнеприпасы. Это тот самый первый легкий взрыв, который отмечают в своих показаниях почти все пересветовцы. Затем детонирует весь погреб главного калибра, и крейсер горит, тонет, исчезает под водой навсегда… К великой удаче Домерщикова, Ренштке среди спасенных не оказалось. Труп старшего артиллериста море выбросило спустя две недели после катастрофы. Его обнаружил патруль пограничной стражи, объезжавший береговую черту. Тело было сильно разложено и обезображено трением о песок. В кармане брюк нашли ключик от сигнального ящика. Вот он!

Иван Симеонович отстегнул с пояса брелок и положил передо мной старинный бронзовый ключик, синевато-зеленый, должно быть, от двухнедельного пребывания в морской воде.

– Можете улыбаться, но я верю в амулеты… В свое время ключик был приобщен к делу. Однако не все документы и вещественные доказательства осели в архивах. Следствие велось в четырех городах, революция и гражданская война помешали собрать все материалы воедино. И я горжусь тем, что спас и сохранил, пожалуй, самые важные бумаги…

Старый юрист бережно упрятал прочитанные мною листки в картонный переплет с окованными уголками. Я смотрел

на него с чувством, близким к восхищению. Проделать такую работу – просто так, бескорыстно, из одной лишь любви к истине… Я встречал разных чудаков: одни собирали крышки водосточных люков, другие охотились за старинными фотоаппаратами, третьи все свои свободные часы и дни просиживали в библиотеках и архивах, выискивая неизвестные страницы Булгакова или пытаясь решить историческую загадку – откуда в войсках Александра Македонского взялись слоны. Человек, сидевший рядом со мной, безусловно, принадлежал к последнему, самому почетному разряду одержимых искателей.

– И что же было дальше? – нарушил я минуту торжественного молчания.

– Истина восторжествовала. Хотя подозрение и пало на Ренштке, были даже арестованы все письма, которые он не успел получить, тем не менее Домерщикова разоблачили, судили и отправили в Сибирь. Но это произошло при советской власти – где-то в середине двадцатых годов.

– Минуточку! Но Еникеев говорил мне, что Домерщиков погиб в Атлантике на вспомогательном крейсере «Млада».

– Погиб? Вздор, вздор… Я хорошо знаю: он вернулся в Россию, жил в Ленинграде и даже был капитаном на заграничных линиях. И все же его раскрыли, и он получил десятку. Что с ним стало дальше, мне не известно. А узнать было бы любопытно. Вам, например, это сделать проще, чем мне… Хорошо бы, если бы вы рассказали об этой истории

через свою газету. Весь необходимый материал я вам предоставлю. Можете даже на меня и не ссылаться. Слава мне не нужна, тем более что вам будет затруднительно ссылаться на какого-то безвестного эмигранта. Я это понимаю… Кстати, я давно собираюсь передать эту папку в советское посольство. Такие документы должны храниться на Родине, ведь это же часть нашей отечественной истории. Но расстаться пока не могу. Розыски по «Пересвету» – дело всей жизни, и, может быть, главное дело… Не все еще закончено, что-то нуждается в уточнении. Во всяком случае, в завещании я уже распорядился. А так, как Бог положит.

Спасибо вам, молодой человек, за внимание, которые вы мне, старику, уделили. Буду рад, если слово мое отзовется на вашей ниве.

И знакомый мой церемонно откланялся.

Глава третья
«Я ДО КОНЦА ДОВОЛЕН СВОИМ ВЫБОРОМ»

В день ухода из Вены я успел выбраться в букинистический магазинчик близ речного вокзала, где стояли наши корабли. Мне сказали, что в этом магазинчике торгуют и русскими книгами. Но из русских книг оказались лишь словари да несколько разрозненных номеров журнала «Военная быль», издававшегося в Париже бывшими офицерами русской армии. Я перелистал наугад тощенькие брошюры и чуть не выронил одну из них. Во весь разворот чернели крупные буквы: «Поход и гибель линейного корабля «Пересвет». Под довольно объемистой статьей стояла фамилия Иванова-Тринадцатого. Сноска обещала продолжение в следующих номерах. Наскоро перерыв все журналы, продолжения я не нашел. Но и то, что попало мне в руки – походный дневник командира «Пересвета», – было чрезвычайно интересно. Я даже подумал – в шутку, конечно, – уж не подложил ли мой венский знакомый этот журнал специально для меня. Вроде бы как для затравки – разжечь азарт. Как бы там ни было, а я, забыв про все на свете, пробегал глазами колонку за колонкой.

Первым делом я отыскал в тексте то место, где речь шла о

Домерщикове. Поскольку автор касался его личной жизни, он называл его не по фамилии, а по должности – старший офицер.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«Старший офицер был прислан по моему выбору; и на его личности я несколько остановлюсь. Участник Цусимского боя в русско-японскую войну, он был интернирован со своим крейсером в одном из портов Дальнего Востока и, беззаботно нося мичманские погоны, увлек своими звездочками и миловидностью одну из местных звезд окружающего их американского „небосвода“ и, увлекшись сам, выбитый из равновесия, обезоруженный обстановкой своего корабля, не имея мужества и характера спокойно ожидать окончания войны, удрал с судна, а потом дезертировал в Австралию. Перенесенные им беды и невзгоды скитальческой жизни выработали и закалили его характер, и он достиг в Австралии обеспеченного положения, женился и превратился в солидного, делового человека американской складки. Однако совесть его, видимо, мучила за былой легкомысленный поступок, и вот, когда началась великая война, он просил через наше морское начальство разрешения вернуться в Россию и принять участие в войне. Ответа на его просьбу не последовало, и он решил на свой страх и риск вернуться в С. – Петербург. Несмотря на десятилетний срок давности, он был предан военному суду и приговорен к разжалованию в матросы и к смертной казни, но государем императором последняя было заменена посылкой на*

фронт. На фронте он попадает в пулеметную морскую команду при Дикой дивизии, коию возглавлял е. и. в. великий князь Михаил Александрович. Беззаветная храбрость и полное презрение к смерти быстро выдвигают его в глазах начальства, он последовательно награждается четырьмя Георгиевскими медалями, потом всеми четырьмя степенями Георгиевского креста, после чего, по ходатайству великого князя, ему выходит высочайшая амнистия и возвращается офицерское звание, с производством в лейтенанты, в каковом чине он вновь, за свои боевые действия, награждается Георгиевским оружием и производится в старшие лейтенанты. В 1915 году, в бытность мою в Одессе в составе готовившейся десантной операции на Турецкий фронт, судьба сталкивает, знакомит и сдружает меня с ним. Вполне понятно, с каким нетерпением я ожидал теперь его приезда на смену старому старшему офицеру, который, благодаря своей сухости характера и непониманию матросской души, сильно вооружил против себя не только офицеров, но и команду. Хотя я заранее предвидел, что новому старшему офицеру, при его молодости и неопытности, будет трудно наладить правильный ход корабельной жизни, но его боевой стаж, почти с полным Георгиевским бантом, и спокойный характер будут благотворно влиять на личный состав и в продолжение плавания создадут ту душу корабля, о которой я говорил выше, ну а в технических трудностях его работы рассчитывал подсобить ему лично и с помощью специ-

альных офицеров. Я не ошибся в своих расчетах: с его прибытием настроение офицеров и команды сделалось спокойнее, уравновешеннее, нервность пропала, исчезло применение физических мер воздействия и уничтожены всякие дисциплинарные взыскания, отражающиеся на самолюбии команды, – вообще я был и остался до конца доволен своим выбором».

Эта короткая, но впечатляющая аттестация шла вразрез с изысканиями Палёнова. Едва я об этом подумал, как в ушах зазвучал торопливый говорок венского юриста: «Откуда Иванов-Тринадцатый мог знать такие биографические подробности из жизни Домерщикова? Только со слов самого старшего офицера. Все это полуправда, декорированная легендой разведчика. Да еще в изложении не очень сведущего человека. Иванов-Тринадцатый знал своего старшего не более полугода. Мало ли что тот мог наговорить о себе: золотое оружие, Дикая дивизия… Попробуй проверь все это, находясь где-нибудь в Индийском океане или Красном море!»

А фотография? Перед глазами стоял лощеный офицер в английском френче и крагах… Может быть, это не он, не Домерщиков?

Двойники и в жизни встречаются, а уж на фотографиях – сколько хочешь.

Чтобы разобраться во всей этой темной истории, нужно было время, да и немалое. Времени не было. Газетная работа, суетная, нервная, всегда на злобу дня, не оставляла и надежд на кропотливую работу в читальнях библиотек и архи-

вов. Год шел за годом.

Лишь старый корабельный перстень, цепляясь иногда золотым якорьком за шарф или перчатку, напоминал о встречах в Бизерте и Вене, и на душе слегка саднило, будто некий давний долг так и остался невыплаченным…

Глава четвертая
НАДПИСЬ НА СПАСАТЕЛЬНОМ КРУГЕ

Москва. Июнь 1980 года

В тот год повсюду говорили о Пересвете, но не о корабле, а о монахе-богатыре, герое Куликовской битвы. Страна праздновала 600-летие славной победы Дмитрия Донского. В Брянске, на родине отважного бойца, сразившего в поединке мамаевского батыра, назвали улицу в честь Пересвета. В Рязани в краеведческом музее выставили посох легендарного богатыря. В Москве энтузиасты отыскали могилы Пересвета и его сподвижника Осляби, они оказались на территории завода «Динамо», и энтузиасты ратовали за перенос цеха со святого места…

В тот год мне понадобилось заказать большой стол в литературно-мемориальном кафе «У дяди Гиляя», что в Столешниках. Четыре уютных подвальчика обставлены на манер московского трактира начала века: тут и самовары, и граммофон, и старинные фотографии в рамочках по стенам…

Я зашел к директору, сделал заказ и уже было собрался уходить, как заметил в углу кабинета груду странных вещей: старую русскую каску, подсвечник-трикирий, ржавый уличный фонарь. Здесь же на стуле лежала и стопка пыльных фо-

тографий явно дореволюционного происхождения. Я поинтересовался – что это и откуда?

Директор улыбнулся.

– Знаете ли, приносят понемногу всякий хлам. Мол, нам он не нужен, девать некуда, а вам для реквизита пригодится.

Я попросил разрешения посмотреть фотографии. Грустью веяло от безымянных портретов чьих-то прадедов и прабабушек – в горжетках и гимназических фартуках, в вицмундирах и визитках. Судьба обрекла этих людей на забвение. Но вот что примечательно: на всех лицах – спокойных, уверенных – читалось выражение собственного человеческого достоинства. Кто они? Из чьих семейных альбомов выпали их портреты? Наверное, и представить себе не могли, вглядываясь в мудрый глазок фотокамеры, что их изображения будут украшать стены бара наравне с пустыми цветастыми бутылками из-под заморских вин…

Несколько снимков были переложены страницами «Медицинской газеты». Овальный портрет какой-то барышни, открытка с видом на старый Севастополь… Групповой снимок сестер милосердия…

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ*. Женщины и девушки, в одинаковых длинных платьях, с красными крестами на головных накидках, сидели и стояли на палубе какого-то судна. Видимо, госпитального…*

Сначала мне показалось, что по времени это русско-японская война. Потом я разобрал надписи на спасательном кру-

ге: «…rtugal…». «Portugalia»? «Португалия»? И тут меня осенило: да это же «Португаль»! То самое госпитальное судно, которым командовал в первую мировую лейтенант Домерщиков!

– Откуда у вас этот снимок? – спросил я у директора безо всякой надежды на исчерпывающий ответ. Тот пожал плечами, кликнул из коридора какую-то Веру, и немолодая крашеная блондинка, глянув на снимки, с усилием припомнила:

– Да заходила тут старушка одна. Одуванчик божий… У нее кот креветки ест, вот она все в пивной зал за отходами приходила… Давно ее что-то не видно. Может, кот сдох, может, сама убралась… А что, родственники нашлись?

– Нашлись, – поспешил я уверить ее. – Как ее звали, где она жила, не знаете?

– Да мы так ее и звали, – хмыкнула Вера, – «божий одуванчик». А живет она где-то тут, в Столешниках. По-моему, в доме, где ювелирный. А уж квартиру не скажу, в гости не приглашала…

Номер квартиры подсказала «Медицинская газета», в которую был завернут снимок. Карандаш почтальона пометил ее цифрой «14».

Догадка оказалась верной, и через полчаса, позвонив в квартиру № 14, я уже знал, что старушку звали Марией Степановной Кротовой и что месяц назад она сдала свою комнату в ЖЭК и переехала в дом престарелых где-то в Измайлово.

16-я Парковая улица. Шестиэтажный кирпичный дом утопал в зарослях сирени, рябины, шиповника. Марию Степановну я разыскал в буфетной комнате третьего этажа, где старики кипятят себе чай. Сопровождавшая меня дежурная окликнула сгорбленное седоголовое существо в клетчатом байковом халате:

– К вам пришли, Кротова!

– Ко мне?! – обернулась старушка, прижимая к груди большую красную чашку. Никогда не забуду глаза этой женщины. Все в них было: и искреннее изумление («Неужели я кому-то еще нужна?»), и неистребимая годами надежда в счастливый поворот судьбы («Боже, неужели что-нибудь может измениться?»), и грустная мудрость человека, готового оставить бренный мир…

Мы прошли в комнату с балконом, которую Кротова делила со своей соседкой, и я показал фотографию, взятую у директора кафе.

– Боже, как она к вам попала?! – воскликнула Мария Степановна, опускаясь на застланную синим казенным одеялом кровать.

Я вкратце рассказах историю своего поиска и тут же спросил, не знает ли она названия судна, на котором сделан снимок.

– Мне ли не знать?! – всплеснула руками Кротова. – Плавучий госпиталь «Портюгаль», или, как именовали его военные, «Транспорт № 51». Я была на нем сестрой милосердия.

Да вот же я, во втором ряду слева! Не узнаете? Что, не похожа?

Она сопроводила вопрос грустным мягким смешком. Я спросил ее:

– Фамилия Домерщиков вам не знакома?

– Господи, вы и Михаила Михайловича знаете?! Конечно, знакома, еще как знакома… Да я ему жизнью обязана! Ой, да только ли я одна!…

Подождите… Давайте я вам все по порядку. Наш «Портюгаль» ходил за ранеными в Лазистан. Это такая область в Восточной Турции. В ту пору, а было это в шестнадцатом году, там шли самые главные бои на всем Черноморском театре. Наши войска осадили турецкую крепость Эрзерум и довольно успешно продвигались в глубь Лазистана. Так что раненых хватало. Мы приходили за ними в порт Ризе – это южнее Батума, – переправляли на пароход, мыли, перевязывали, обстирывали… Валились с ног от усталости, и все же – ведь нам было по восемнадцать – двадцать лет – молодость брала свое. Поздним вечером, управившись с делами, собирались в кают-компании, слушали граммофон, танцевали, флиртовали.

Вот на такой вечеринке я и познакомилась с Михаилом Михайловичем. Он был начальником десантной базы Ризе и всегда помогал нам переправлять на «Портюгаль» раненых на своих десантных ботах, или шаландах, как мы их называли. Все знали, что у него какая-то необыкновенная

судьба, что он из бывших штрафников. На высокого красивого лейтенанта с полным бантом солдатских «Георгиев» многие сестрицы заглядывались. Я тоже не была исключением. И отчаянно ревновала его к сестре милосердия лазарета екатеринославского дворянства Полине Константиновне Воронцовой. Между собой мы звали ее «Константинополем». Она пришла на «Портюгаль» после гибели мужа на румынском флоте. Необыкновенного сложения, грация, такт, ум – все при ней. Конечно же, Михаил Михайлович увлекся ею. А мы, мелюзга, восемнадцать – двадцать лет, только горько вздыхали… У нас было любимое развлечение – «цветочный флирт». Вы, наверное, не знаете такую игру. Всем раздаются карточки, как в лото, а на них против названий цветов – вопросы и ответы. Например, молодой человек говорит мне: «Фиалка». Я ищу на карточке «фиалку» и читаю фразу: «Вы прелестны, сердце мое разбито». Я – ему: «Гиацинт», он читает: «Я не люблю тех, кто не умеет скрывать свои чувства». И так далее, пока шуточная перепалка и в самом деле не перерастает во флирт. Во всяком случае, симпатии и антипатии выявляются довольно точно. Так, на мою откровенно дерзкую «сирень»: «Вы мне нравитесь», я получила от Михаила Михайловича весьма прохладную «виолу»: «Увы, у сердца свои законы».

Ах нет… Я что-то не о том.

В тот роковой рейс мы вышли из Батума. «Портюгаль» как чувствовал беду: не хотел сниматься с якоря. Наша цепь-

якорь перепуталась с цепью минного заградителя «Великий Князь Константин», и пришлось немало повозиться, прежде чем покинуть порт. Спалось дурно. Качало. Всю ночь бегал по палубам и орал дурным голосом судовой козел Васька. А судовой пес сбежал еще в Батуме.

Сначала мы зашли в Ризе, где Домерщиков любезно разрешил нашему капитану взять на буксир три десантных бота и паровой катер, чтобы удобнее было переправлять раненых с берега. Я видела, как наш капитан Дива пожал ему руку. Мне очень хотелось, чтобы Михаил Михайлович заметил меня. Было такое предчувствие, будто я вижу его в последний раз. Я дважды спускалась по трапу, стараясь пройти как можно ближе от них. Но они, Домерщиков и Дива, что-то увлеченно доказывали друг другу. И только когда я взбегала на борт с твердым намерением вернуться в палату, Михаил Михайлович заметил меня и приветственно кивнул. Я была счастлива. А через час, поздней ночью, мы вышли из Ризе и двинулись, прижимаясь к берегу, в Офу, турецкий городишко, близ которого проходила линия фронта.

– Степановна! – заглянула в дверь соседка. – Обед простынет!

Кротова досадливо отмахнулась. Она была сейчас там, на палубе «Португали». Сырой мартовский ветер полоскал ее длинное платье. И звали ее вовсе не Степановна, а Машенька, сестра милосердия Машенька Кротова.

– В ту ночь я легла поздно. Засиделась в кают-компании.

За кормой «Портюгали» тянулись на буксире шаланды и паровой катер, которые выделил нам Домерщиков.

Надо вам сказать, что «Портюгаль» – большой по тем временам и комфортабельный пароход – принадлежал до войны Франции и ходил в океанские рейды, в Южную Америку, на Дальний Восток. Война застала его врасплох в Одессе. Турки перекрыли Босфор, «Портюгаль» со всей своей французской командой и капитаном Дива перешел на службу в Российский Красный Крест. На судне разместили сотни больничных коек, оборудовали первоклассные операционные, баню, прачечную, в общем, превратили его в большой плавучий госпиталь. Часть команды набрали из русских. А военным комендантом судна был назначен старший лейтенант Тихменев. Он пришел на «Портюгаль» вместе со своей матерью, Аделаидой Адамовной, которая стала заведовать у нас бельевым отделом.

Вот видите, какая у меня память: то, что было полвека назад, помню в подробностях, а что делала вчера – убей Бог, не скажу…

Да, вот еще любопытная деталь. На «Портюгаль» нанимался санитаром будущий писатель Константин Паустовский. По счастью для него, в тот последний поход мы ушли раньше, чем он смог появиться на судне.

Из Ризе мы двинулись поздней ночью. Я кое-как задремала и проснулась от необычной тишины: смолкла пароходная машина. Подумала – пришли. Выглянула в иллюмина-

тор – берег далеко, и едва-едва светает. Оделась, поднялась на палубу, смотрю – все начальство на корме. Оказывается, одну из наших шаланд залило на крутом повороте и теперь ее подгоняют к пароходу, чтобы откачать.

Вдруг с мостика кричит в рупор сигнальщик: «С левого борта – подводная лодка!» Я метнулась к поручням и увидела, как темную еще ночную воду бурунит выставленный перископ. Бурунчик медленно обходил «Портюгаль» к носу. Люди на палубе заволновались, но капитан Дива и комендант Тихменев стали всех успокаивать: мол, по Женевской конвенции никто не имеет права топить госпитальные суда. Кто-то предложил подать сигнал нашим военным кораблям. Кажется, неподалеку был броненосец «Ростислав», но Дива отказался, сославшись на ту же Женевскую конвенцию, которая запрещала подобные действия.

Перископ стал удаляться, и все облегченно вздохнули. Господь миловал. Но тут снова закричал сигнальщик: «Вижу след торпеды!» Помню, что я вцепилась в чью-то руку…

Торпеда угодила в середину парохода, в машинное отделение. Столб огня, дыма и пара…

Взрыв был ужасный, так как одновременно взорвались и паровые котлы. В машинном отделении как раз происходила смена вахт, так что погибли обе смены сразу.

Я не устояла на ногах, и меня швырнуло на палубу.

Хотя многие сестры не умели плавать, паники не было. Мужчины вели себя по-рыцарски. Провизор Рытвинский от-

дал свой пробковый пояс графине Татищевой. Ее муж попрощался с ней: он не умел плавать и вскоре погиб. Завхоз Левицкий отдал свой пояс сестре милосердия Воронцовой. Полина Константиновна прыгнула с кормы, но попала на острые лопасти винтов, обнажившихся из воды.

Мать коменданта Тихменева кинулась вниз, в каюты, будить свою любимицу сестру Юргенсон. Та всю ночь перевязывала раненых и только под утро мертвецки уснула. Аделаида Адамовна погибла, а Юргенсон спаслась.

Пароход разломился пополам, и многие попадали в самый разлом. Даже не успели спустить шлюпки. Какое-то время обе половины были на плаву. Через минуту ушел в воду нос, чуть позже погрузилась корма…

Капитан Дива уговаривал медсестер прыгать за борт, но мы жались к нему в испуге. Впрочем, убеждать ему пришлось недолго. Холодная мартовская вода подступила к нам в считанные минуты. Кто-то надел на меня спасательный пояс…

В эти последние секунды матрос Паолини успел перерубить буксирный канат и освободить шаланды и паровой катер, без которых мы все бы погибли. И еще старший помощник капитана латыш Иван Иванович Бергманис изловчился перерезать на вставшей дыбом палубе какие-то тросы, и в воду съехали два спасательных плота, которые сразу же облепили утопавшие.

Я держалась сначала за кипу всплывшего белья, но оно

вскоре намокло и погрузилось. Тогда мне удалось ухватиться за борт единственной шлюпки, которая чудом очутилась на плаву. Но в днище ее, в отверстии для слива воды, не оказалось пробки. Шлюпка под тяжестью многих тел быстро наполнилась, и я снова осталась одна среди волн. Уже совсем рассвело. Берег был по-прежнему далеко. Со стороны Ризе к нам на всех парах шел небольшой кораблик. Это был тральщик, которым командовал Михаил Михайлович Домерщиков. Но об этом я узнала уже в Ризе, куда тральщик доставил всех спасенных. Не подоспей он вовремя, мы все вымерзли бы на пронизывающем ветру. Домерщиков тщательно обследовал весь район гибели и спас еще человек сорок, разнесенных ветром и течением, в том числе и меня. Тральщик взял также на буксир десантные шаланды и спасательные плотики, переполненные женщинами и ранеными, благополучно доставил всех в Ризе.

В Ризе Домерщиков предоставил мне и еще шестерым сестрам милосердия свою квартирку в маленьком глинобитном домике. Потом всех спасенных отправили на пароходе «Константин» в Батум, затем в Севастополь и Одессу. С тех пор я больше ничего не слыхала о Домерщикове.

Мария Степановна порылась в тумбочке и извлекла из пачки бумаг и писем пожелтевшую открытку.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *На открытке, отпечатанной в одесской типографии «Вестник виноделия», был изображен плавучий госпиталь «Португаль» – трехпалубное суд-*

но с двумя дымовыми трубами. Широкая красная полоса, нанесенная по борту, и большие красные кресты на обеих трубах говорили о том, что это санитарный транспорт.

Убористый типографский текст сообщал: «Госпитальное судно Российского Общества Красного Креста, предательски потопленное вражеской подводной лодкой 17 марта 1916 года в Черном море вблизи турецкого города Офа. Славными жертвами этого злодейского поступка оказались 105 человек, из них 13 сестер милосердия, 24 человека медицинского персонала, 50 человек команды русских и 18 человек французской команды. Из всего состава в 273 человека спаслось 168».

Сейчас, разузнав в книгах подробности этого варварского преступления, я к рассказу Кротовой могу добавить вот что: пароход французской компании «Мессажери Маритим» с началом первой мировой войны застрял в Одессе, так как турки перекрыли Босфор. «Португаль» определили на службу Российскому Красному Кресту, разместили на нем сотни больничных коек и переименовали его в «Транспорт № 51».

16 марта 1916 года «Транспорт № 51», неся на себе знаки госпитального судна, вышел из Батуми, направляясь к побережью Лазистана, где проходила линия сухопутного русско-турецкого фронта. За кормой судна тянулись на буксире паровой катер и три десантных бота для перевозки раненых с берега. На крутой циркуляции один из них зачерпнул воду, и «Португаль» застопорил ход. Злополучный бот подо-

гнали к борту и стали осушать судовыми помпами. Было это в нескольких милях от мыса Фиджи.

В четыре часа утра с мостика «Португали» заметили перископ подводной лодки и тут же – след торпеды. Смертоносный снаряд прошел мимо, хотя неподвижное судно являло собой идеальную мишень. Тогда подлодка – это была германская U-33 под командованием капитан-лейтенанта Гансера – подошла на три кабельтова (500 метров) и с дистанции «кинжального удара» всадила в плавучий госпиталь новую торпеду. На этот раз без промаха. Удар был страшен. Вместе с торпедой взорвались и паровые котлы. Пароход переломился и спустя минуту исчез под водой.

Сопровождавший «Португаль» миноносец «Строгий» ринулся на таран подводного пирата. «Строгий» задел кормой боевую рубку U-33, согнул ей перископ, а себе повредил винты. Субмарина вынуждена была вернуться в Босфор и встать на ремонт.

Позорная атака Гансера предвосхитила волчьи выходки подводников гросс-адмирала Деница, которые спустя четверть века будут топить и пассажирские лайнеры, и госпитальные суда. Но тогда, в шестнадцатом, весь цивилизованный мир откликнулся на гибель «Португали» с гневом и возмущением. Командующему германо-турецким флотом адмиралу Сушону пришлось посылать в Берлин свои объяснения: дескать, в сумерках командир U-33 не разобрал в перископ знаки госпитального судна и принял боты на буксире

за десантный отряд.

В ту трагическую ночь лейтенант Домерщиков отличился не только тем, что успел вовремя спустить аварийные плотики, но и тем, что, оказавшись на тральщике, самоотверженно и дельно руководил спасением команды и медицинских работников. За этот, как было сказано в реляции, «человеколюбивый подвиг» он был награжден золотым Георгиевским оружием – саблей с надписью «За храбрость»1. Не прошло и года, как сабля эта ушла на дно морское вместе с другим взорвавшимся кораблем – крейсером «Пересвет», где Домерщикову снова выпало спасать тонущих людей…

Мария Степановна проводила меня до ворот дома престарелых. Я спросил ее, зачем она отнесла столь памятную ей фотографию в кафе. Кротова вздохнула:

– Жизнь моя сложилась так, что прожила одна-одинешенька. Муж от меня ушел, узнав, что после той ледяной купели у меня никогда не будет детей… А тут стала переезжать на новое место, разобрала бумаги, фотографию нашу общую нашла. Ведь вот, думаю, умру скоро, и пойдет все прахом. В музей не возьмут, а тут, может, на стенку повесят, все люди посмотрят… Помните, романс у Кукольника: «Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой».

После этой встречи вопрос «Кто же такой Домерщиков, герой или изменник?» извел меня вконец. Из рассказов Еникеева и Кротовой выступал благороднейший человек, спасший на морях сотни жизни. По документам Палёнова Домер-

щиков представал коварнейшим агентом британской разведки. Кто же прав? Где истина?

Честно говоря, мне очень хотелось, чтобы Домерщиков оказался таким, каким его рисовали и младший механик «Пересвета», и сестра милосердия с «Португали», и командир крейсера Иванов-Тринадцатый. Жизнь этого человека, насыщенная столькими превратностями, походами, подвигами, испещренная загадочными белыми пятнами, волновала, будила воображение.

Она вызывала бы законное восхищение, если бы твердо удалось доказать алиби Домерщикова в таинственной гибели «Пересвета». Но как? Я не историк, не юрист… С чего начать?

Логичнее всего было попытаться отыскать продолжение дневника Иванова-Тринадцатого. И я отправился в главную библиотеку страны – Ленинку.

Глава пятая
ПОСЛЕДНИЙ КОМАНДИР «РЮРИКА»

Москва. Август 1981 года

На какое-то время маленькая уютная читальня на антресолях Ленинской библиотеки стала для меня кают-компанией крейсера «Пересвет». Я поднимался сюда по скрипучей деревянной лестнице, так и хочется написать – трапу, устраивался за длинным рабочим столом, вроде того, что стоял в жилом офицерском отсеке нашей подводной лодки, только пошире и подлиннее, раскрывал карты тяжеленного Морского атласа и вчитывался в дневники командира «Пересвета» Константина Петровича Иванова-Тринадцатого. Мне удалось разыскать все три недостающих журнала с продолжениями и окончанием его походных записей. В одном из номеров был помещен и фотопортрет автора: стриженный под бобрик моряк с огромными крученными усами, в эполетах с лейтенантскими звездочками и белым крестиком офицерского «Георгия», опирался на эфес палаша. Взгляд грустный, чуть задумчивый…

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Капитан 1-го ранга Константин Петрович Иванов-Тринадцатый родился в 1872 году в Кронштадте. Отец – моряк, из младших офицеров, – опре-*

делил сына в Морской кадетский корпус. В 1895 году гардемарин Иванов был произведен в мичманы и вышел, как тогда говорили, в Черное море на броненосец «Синоп».

Чтобы отличить новоиспеченного мичмана от других флотских Ивановых, к его фамилии добавили порядковый номер «13». И, как бы в оправдание дурной славы «чертовой дюжины», служба молодого офицера с самого начала пошла трудно. Его перебрасывали с корабля на корабль, с флота на флот… За один девяносто пятый год ему пришлось сменить поочередно «Синоп» на «Двенадцать апостолов», «Двенадцать апостолов» на «Дунай». Так же кочевал он и в следующем году: снова «Двенадцать апостолов», затем номерной миноносец, затем крейсер «Казарский».

Офицер без связей и капитала, Иванов-Тринадцатый служил честно и скромно, не метя на высокие посты и не надеясь на благосклонность фортуны. И уж совсем махнул он рукой на свою карьеру, женившись на дочери ростовского грека-купца (презренное торговое сословие!) Елене Кундоянаки.

Однако же ему было уготовано нечто большее, чем обычная лямка корабельного офицера. Фортуна улыбнулась ему в 1904 году, но улыбка ее была кровавой…

К тому времени тринадцатый из флотских Ивановых, произведенный в положенный срок в лейтенанты, находился во Владивостоке, где командовал батареей на крейсере «Рюрик», не ведая ни сном ни духом, что очень скоро станет по-

следним командиром этого корабля.

В знаменитом бою отряда владивостокских крейсеров близ острова Цусима «Рюрик» разделил геройскую судьбу «Варяга», только более горькую. Истерзанный снарядами, едва управлявшийся корабль остался один на один с японской эскадрой из шести вымпелов.

После гибели командира офицеры «Рюрика» по старшинству сменяли друг друга в боевой рубке. Они поднимались туда, как на эшафот, залитый кровью своих предшественников. Капитану 1-го ранга Трусову оторвало голову, и она перекатывалась в такт качке по скользкой палубе рубки; старший офицер кавторанг Хлодовский лежал в лазарете с перебитыми голенями. Заступивший на его место старший минный офицер лейтенант Зенилов простоял в боевой рубке недолго: сначала был ранен осколком в голову, а затем разорван снарядом, влетевшим под броневой колпак… Настал черед лейтенанта Иванова-Тринадцатого. Оставив свою батарею левого борта, он поднялся в боевую рубку – броневой череп корабля. Мрачное зрелище открылось ему: исковерканные приборы, изуродованные трупы… Не действовал ни один компас.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Несомненно, крейсер был обречен на гибель или пленение, – вспоминал Иванов-Тринадцатый. – Только одна мысль, что окруживший нас противник из шести вымпелов постарается овладеть нами (как ценным моральным призом), заставляла возможно быстрей принять*

какое-то решение, так как наше действительное положение было такое, что достаточно было прислать с неприятельских судов четыре баркаса с вооруженной командой и они с легким и полным успехом могли подойти к крейсеру и овладеть им, так как при том разгроме, который царил на „Рюрике", не было никакой возможности оказать им должное сопротивление: артиллерия была вся испорчена и молчала; абордажное оружие было также перепорчено, а живая сила команды, обескровленная пережитым боем, сделалась непригодной к серьезному сопротивлению. Не теряя времени, я отдал приказание мичману, барону Шиллингу, взорвать минное отделение крейсера с боевыми зарядными отделениями мин Уайтхеда. Боясь за неудачу или задержку отданного приказания, а времени уже терять было нельзя, так как кольцо неприятельских судов без единого выстрела все суживалось вокруг „Рюрика", тут же я отдал приказание старшему механику, капитану второго ранга Иванову, открыть кингстоны затопления крейсера и об исполнении мне доложить. Выбежав на верхнюю палубу, я объявил о принятом решении и отдал распоряжение о спасении раненых из недр корабля. Но не насмешкой ли звучало мое приказание? Какое же спасение раненым и оставшемуся экипажу я мог предоставить? На этот раз только тихие и глубокие воды Японского моря в 40-50 милях от берега и те плавучие средства, кои представляют пробковые матрасы коек и спасательные нагрудники. Ни одной шлюпки не было в целости,

все гребные и паровые суда были побиты в щепки. Часть команды начала доставать и расшнуровывать койки, другие начали выносить раненых из нутра судна на верхнюю палубу, прилаживать к ним спасательные средства и прямо спускать за борт. Надо было посмотреть на матросов и вестовых „своих благородий", которые с полным самоотвержением в ожидании ежеминутно могущего произойти взрыва проявляли заботу о раненых офицерах, устраивая то одного, то другого к спуску на воду. Я помню несколько эпизодов из этой заключительной сцены нашей драмы.

На юте с левой стороны лежал на носилках вынесенный с перевязочного пункта наш старший офицер капитан 2-го ранга Николай Николаевич Хлодовский. Он был совершенно голый, грудь его высоко поднималась от тяжелого дыхания, ноги с сорванными повязками представляли ужасный вид с переломанными голенями и торчащими костями. Около него возился вестовой матрос Юдчицкий, старающийся приладить под носилки несколько пробковых поясов, но это оказалось напрасным. Хлодовский, приподнявшись на локтях, открыл широко глаза, глубоко вздохнул и скончался на своем корабле. Идя дальше, на шканцах я наткнулся на лежащего ничком на палубе командира кормового 8-дюймового плутонга мичмана Ханыкова. Тело его было обнажено, и на спине, ниже левой лопатки, зияла громадная круглая рана, обнажавшая переломанные ребра, сквозь которые ясно было видно трепетанье левого легкого. Увидя меня, Ханыков

умоляюще попросил меня его пристрелить, но так как при мне не было револьвера, я мог только его утешить, сказав: «Потерпи еще минуту, а там будет общий конец».

Тут же под кормовым мостиком полулежал наш младший доктор Бронцвейг, у него были перебиты обе ноги в щиколотках. Обещав сделать распоряжение приставить к нему людей для помощи, пошел дальше и вдогонку услышал: «Не надо, все равно я пропавший уже человек». Тут же навстречу попался наш старший инженер-механик Иванов, доложивший, что четыре главных кингстона затопления уже открыты. Я приказал травить пар из котла и застопорить обе машины. Больше я его не видел, он потонул при крушении. В это время явился ко мне мичман барон Шиллинг и доложил, что взрыва минных погребов произвести не удалось, так как нет подрывных патронов. Действительно, часть из них хранилась в особом помещении рулевого отделения, уже затопленного, а другая часть взорвалась в боевой рубке. Я ответил, что теперь это безразлично, так как кингстоны открыты, крейсер наполняется водой, и мы не попадем в руки неприятеля. Дал ему поручение проследить за порядком спуска на воду раненых и за возможно быстрейшим исполнением этой задачи.

Крейсер уже заметно стал садиться в воду с дифферентом на корму и креном на левый борт. Я должен был, как последний командир корабля, еще раз обойти палубу крейсера, чтобы запечатлеть живее в памяти всю обстановку,

а также посмотреть, много ли еще живых душ томится в его недрах и нуждается в помощи. Зайдя в боевую рубку, окинул ее и тело командира капитана первого ранга Трусова прощальным взглядом. Каким-то могильным холодом повеяло на меня. Тут же вспомнил, что на последнем из живых офицеров лежит обязанность выбросить за борт тут же лежащий мешок со всеми сигнальными секретными книгами, шифрами и документами, а также и с колосниками для тяжести, с трудом вытащил на крыло мостика и выбросил его за борт. Конечно, в нашей обстановке, при гибели судна на глубине около 300 сажен, такая мера и не требовалась, но я уже не рассуждал и от физического переутомления, ран, контузий и всего морального потрясения, пережитого во время боя, действовал автоматически и по инерции, не считаясь со здравым смыслом. На мостике я наткнулся на труп матроса, лежавшего на палубе уткнувшись лицом в лужу сгустившейся крови, и вдруг этот труп, приподнимая голову, обратился ко мне с вопросом: «А скоро ли конец, ваше благородие, и потопляться-то будем?» Я привожу этот случай, так как вид его запечатлелся у меня на всю жизнь и много лет преследовал в сновидениях и ночных галлюцинациях. Кожи и мяса на его лице почти не было, на меня смотрел единственный уцелевший глаз, казавшийся необычайных размеров, вставленный в голый череп смерти. Другая часть была совершенно разворочена. Это было кошмарное, нечеловеческое лицо. Невольно отпрянув в сторону, я поспешил

успокоить его, сказав, что сейчас пришлю за ним, и быстро спустился по поломанному трапу на верхнюю палубу, оттуда через носовой люк в батарею 6-дюймовых орудий, с намерением спуститься в следующую жилую палубу, но в этот момент почувствовал легкие содрогания корпуса судна и ясно ощутил, что крейсер быстро начинает валиться на левый борт, а дифферент сильно увеличивается на корму. Пробежав по батарейной палубе к корме, я через гротлюк выскочил на палубу, где с юта навстречу мне представилась картина бурлящей воды, поднимавшейся волной на верхнюю палубу, стоять на которой из-за сильного крена на левый борт, все быстрее увеличивающегося, было почти невозможно; я подполз к правому борту, где через барбет средней 75-миллиметровой пушки перешагнул через планширь борта, очутившись на наружном борту, поскользнулся и, усевшись на него, поехал, как на салазках с горки, но, дойдя до медной обшивки подводной части, уже обнаружившейся из воды, зацепился одеждой за какую-то медную заусеницу обшивки, и меня точно неведомая сильная рука прижала к корпусу судна, застелила зеленоватая масса воды, и я почувствовал, что державший меня крейсер увлекает в свою водную могилу. Когда через несколько мгновений я вынырнул на поверхность воды, перед глазами на миг я увидел таран крейсера, вставшего на попа на корму, и, перевернувшись на левый борт, он исчез под водой, а вдоль тихого, спокойного моря раздалось громкое, потрясающее «ура» плавающей на

воде команды».

Это погребальное «ура» ему доведется услышать еще раз – на другом полушарии Земли, в водах Средиземного моря, сомкнувшихся над «Пересветом».

За бой на «Рюрике» его последний командир был удостоен ордена Св. Георгия IV степени, но вместо золотого оружия, какое получили другие уцелевшие офицеры, лейтенанту Иванову 13-му «высочайше был упразднен порядковый цифровой номер среди Ивановых и повелено впредь именоваться Ивановым-Тринадцатым». Эта странная награда навечно сплела его простую фамилию с «чертовой дюжиной», проклятой моряками всех стран.

Феодосия. Ноябрь 1920 года

Промозглым осенним вечером в город вместе с толпами кубанских казаков, отступавших под ударами красных, вошел рослый немолодой офицер с погонами капитана 1-го ранга на серой армейской шинели. Лицо его, серое от усталости, украшали длинные замысловатые усы.

Все гостиницы, казармы, все углы города были забиты кубанцами. Искать коменданта или другое начальство было бессмысленно, и человек с морскими погонами на солдатской шинели решительно направился к двухэтажному особняку с каменными львами – дому-музею Айвазовского.

На вопрос испуганной горничной пожилой офицер устало ответил:

– Доложите хозяйке: капитан первого ранга Иванов-Три-

надцатый.

Он знал: в доме Айвазовского моряку всегда откроют двери. И не ошибся. Вдова великого мариниста Нина Александровна приняла неурочного визитера любезно, как в добрые старые времена: беседу о смутном лихолетье скрасили чашечка густого кофе и хрустальный стакан с ледяной водой. Надо полагать, что гость, после трех суток голодного и бессонного отступления, не отказался бы и от горбушки черного хлеба. Тем не менее светский тон был выдержан, и хотя каперанг валился с ног от усталости, он поблагодарил хозяйку за приглашение осмотреть мастерскую Айвазовского. Он почтительно разглядывал старинный мольберт, палитру, хранившие следы великой кисти…

– А это последняя картина Ивана Константиновича, – показала вдова на незаконченное полотно. – Она называется «Взрыв корабля»…

Гость вздрогнул и резко обернулся.

Багровый столб пламени взлетал над палубой фрегата выше мачт. Так взрываются крюйт-камеры – пороховые погреба… Каперанг, не отрывая взгляда от картины, сделал несколько неверных шагов, лицо его исказилось, и он поспешно закрылся ладонями. Плечи с измятыми погонами задергались судорожно…

– Боже, вы плачете! – изумилась вдова.

В этом нечаянном сухом рыдании человек с нелепой фамилией оплакал все: и свою тридцатилетнюю флотскую

службу – на редкость опасную и невезучую, и смертную тоску белого бега, и прощание с Россией – навечное, вещало сердце, и будущую безрадостную эмигрантскую жизнь в Лионе.

– Простите, сударыня… Нервы!

Он открыл лицо и долго вглядывался в полотно.

То была не просто марина, то была аллегория его судьбы, и он запоздало пытался постичь ее. «Взрыв корабля»…

Сквозь очертания парусника для него проступал иной силуэт: мощные орудийные башни, ступенчатый мостик, высокие трубы… и точно такой же огненный столб, развороти-вший палубу… «Пересвет» – вечная боль его и укор.

Все корабли, которыми ему выпадало командовать, по злому ли року, по печальной ли прихоти морского случая, гибли.

«Рюрик» был затоплен по его приказу в Японском море. Крейсер «Жемчуг», бывший под его началом перед первой мировой, нашел себе могилу в Индийском океане, дредноут «Измаил» – вершина его командирской карьеры – так и не был достроен. Наконец, «Пересвет», погребенный в Средиземном…

«Взрыв корабля»… Невольное пророчество художника. Айвазовский преподнес в дар Морскому корпусу свои картины в тот год, когда Иванов, еще без злополучной фамильной приставки, штудировал науки первого курса…

Москва. Январь 1982 года

Походный дневник командира «Пересвета» начинался со стоянки в Японском военном порту Майдзуру, где корабль приводили в порядок перед полукругосветным походом, и обрывался в Порт-Саиде, в лагере для моряков, спасенных с погибшего «Пересвета». По-военному лапидарные и штурмански точные записи командира довольно объективно рисовали «поход и гибель линейного корабля «Пересвет». Передо мной раскрывалась еще одна трагигероическая авантюра царского флота, отзывавшаяся эхом Цусимы.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Как и кем была произведена приемка „Пересвета“, но она была совершена недостаточно серьезно, требовательно и внимательно… – писал Иванов-Тринадцатый. – Зашпаклевавши и замазавши непроницаемым толстым слоем краски все дефекты, японцы привели их („Варяг“, „Полтаву“ и „Пересвет“. – Н. Ч.) во Владивосток, где состоялась передача, и наших многострадальных старых ветеранов вновь осенил славный Андреевский флаг».*

О возможности взрыва на «Пересвете» говорили с первых же дней похода. Дело в том, что большая часть боезапаса была японского изготовления. Иванов-Тринадцатый писал: «В переданной портовым японским артиллерийским офицерам инструкции относительно хранения японских порохов было указано, что необходимо постоянное и неослабное наблюдение за температурой боевых погребов, так как их порох имеет свойство сохранять свою сопротивляемость от разложения лишь до известной температуры, не помню сей-

час точное количество указанных градусов, что-то около +40°, после чего он быстро начинает разлагаться и становится опасным для самовозгорания, почему на всех японских судах и береговых складах устроены специальные охладительные вентиляции, коих на нашем «Пересвете» нет, и нам рекомендовалось очень внимательно следить за температурой в погребах и охлаждать их всеми возможными способами. Такая рекомендация сильно озабочивала старшего артиллерийского офицера, ибо хотя на судне у нас и имелась положенная вентиляционная система, но она брала лишь наружный воздух с той температурой, коей он обладал, и приспособлений охладить его не было; японцы предлагали поставить специальные рефрижераторы, но это задержало бы нас еще на порядочное время и стоило бы немалых денег, вследствие чего морским министром не были разрешены эти работы и было предписано уходить так, как есть. Пришлось немало поработать судовым парусникам для увеличения комплекта различных виндзейлей, дабы достигнуть максимума вентиляции всех нужных помещений, ну а для понижения температуры нам оставалась возможность обращаться в своих молитвах в небесную канцелярию».

Больше всего меня интересовали последние страницы дневника, там, где Иванов-Тринадцатый описывал гибель «Пересвета».

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«С утра 22 декабря ст. стиля погода заметно стихла, и мы начали готовиться к съемке.*

К 3 часам на крейсер прибыли лоцман и английский матрос-сигнальщик, которого я назначил в распоряжение старшего штурмана.

Ровно в 3 часа якоря были убраны, и мы вошли в канал, следуя за идущим впереди конвоиром.

Перебравшись в походную рубку, я занял свое место на мостике, где у главного компаса находились оба штурманских офицера и сигнальщик-англичанин. Я сделал распоряжение о разводке очередной смены по боевому расписанию к орудиям, погребам и на корабельные посты, дав приказание дать ужин команде на полчаса раньше, т. е. в 5.30 вечера.

Время подходило к 5.30 вечера, сумерки начинали сгущаться, пошел небольшой дождь, и погода заметно стихла. В свое время была дана боцманская дудка к ужину, вскоре после которой конвоир вновь начал делать зигзаг вправо, меняя курс. Наш поворот в его месте удался очень хорошо, но только что, завершив циркуляцию, мы легли ему в кильватер, как я почувствовал два последующих сильных подводных удара в левый борт, около носовой башни; корабль сильно вздрогнул, как бы наскочив на камни, и, прежде чем можно было отдать себе отчет в происходящем, рядом, поднявши по борту столб воды, из развороченной палубы с левого борта около башни вырвался громадный столб пламени взрыва, слившись в один из нескольких последовательных взрывов по направлению к мостику. Было ясно, что за последовавшим наружным двойным взрывом детонировали

носовые погреба правого борта, развороти́ли палубу и сдвинули броневую крышу у носовой башни.

Я застопорил машины, а судовая артиллерия открыла огонь, стреляя из носовых шестидюймовых орудий ныряющими снарядами по неопределенной цели, ибо никому не удалось увидеть ни лодку, ни перископ, да и открыть последний и в более спокойной обстановке было бы затруднительно, а гулявшие беляки служили хорошим прикрытием для подводной лодки. После нескольких минут интенсивной стрельбы по левому траверзу, в расстоянии четырех-пяти кабельтовых, был замечен большой подводный взрыв с широким основанием и довольно темной окраски.

Этот взрыв был ясно виден с конвоировавшего нас английского авизо и записан в их вахтенный журнал. Не видя смысла в продолжении недисциплинированного огня, я прекратил стрельбу, тем более что она угрожала как нашему конвоиру, так и французским тральщикам, кои находились еще у нас в виду.

Положение «Пересвета» было угрожающим. Тотчас же после взрыва корабль сильно осел, и волны начали заливать бак, образуя крен на левый борт, все время увеличивавшийся. Было ясно, что никаких мер к спасению корабля из-за полученных сильных повреждений предпринять было уже невозможно, и были даны команды «Всем надеть пояса!» и «Все на гребные суда!»

Опасаясь возможного взрыва носовых десятидюймовых

погребов, я убрал всех людей с мостика и велел быстрее спускать шлюпки. Однако задача эта была не из легких. Состояние моря было еще значительно свежее; крен на левый борт и дифферент на нос все увеличивались с каждой минутой.

Спускаемые гребные суда разбивались о борт в щепу, обрывались тали. Благополучно удалось спустить с мостика лишь капитанский катер. В сумерках мне было плохо видно, как шло дело со спуском шлюпок, которыми распоряжался старший офицер, но у меня уже не было сомнений, что корабль начинает тонуть, переворачиваясь на левый борт, почему и была дана команда «Спасайся, кто может!» с указанием покидать корабль с правого, подветренного борта, стараясь не держаться близко от него.

Носовая часть совершенно ушла в воду, и волны стали обрушиваться на мостик, когда я ясно почувствовал, что внутри корабля какие-то переборки не выдержали, послышался отдаленный грохот, и что-то внутри корпуса посыпалось к носу – это могли быть сорванные котлы носовых кочегарок.

Взяв себе пробковый матрас из кем-то расшнурованной и брошенной на мостике койки, я завернулся в него и, кое-как обвязав вязки (они наполовину были оборваны), стал ожидать своей участи. Набежавшей на мостик волной я был подхвачен и брошен в открытый порт правого носового шестидюймового барбета, в котором и застрял, но следующая волна выжала меня из порта и бросила на свободную воду.

Дальше начиналась индивидуальная борьба каждого находившегося в воде за свое индивидуальное существование. На этом, собственно говоря, и заканчивается избранная мной тема…»

Глава шестая
КОМАНДЕ – ЗА БОРТ!

Москва. Февраль 1983 года

Дневник Иванова-Тринадцатого неожиданно продолжился и дополнился записками другого офицера – лейтенанта В. Совинского, старшего минного офицера крейсера «Пересвет». По негаданной удаче они попались мне в журнале «Морские записки» за 1945 год, издававшемся в Нью-Йорке.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Вячеслав Николаевич Совинский родился в 1894 году. Окончил Морской корпус в 1914 году. За боевые отличия произведен в лейтенанты. Кавалер ордена Станислава III степени с мечами и бантами. В гражданскую воевал в армии Колчака. Эмигрировал в США, где скончался 4 апреля 1962 года в техасском городе Хьюстоне.*

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«Тропики… Жара… Идем в Индийском океане в полной боевой готовности. С борта ни одного огонька. В кают-компании все иллюминаторы задраены на броневые крышки. Визжат вентиляторы… Воздух накалился так, что даже „пеперминт“ со льдом не освежает.*

Ужин закончен. Перешли в кресла под световой люк, откуда через приоткрытую щелку, закрытую темной фланелью, чуть тянет вечерней прохладой. Разговор не клеится.

Из люка доносится придавленный голос вахтенного боцманмата Самойлова:

– Говорю вам, робяты, есть у него душа. Как окрестят корабль при спуске, так ен и живет. Если другой какой погодя то же имя носит, так та же душа в его перебирается и живет, хоча триста лет ей.

Мы невольно прислушались. Молодые матросы, по-видимому, мало убежденные Самойловым, задавали ему каверзные вопросы: как быть с «Полтавой», переименованной теперь в «Чесму»? Чья душа в ней: старая ли – «Полтавы», или заменена теперь душой «Чесмы», «али обе вместе»?

Звонок из каюты старшего офицера, вызвавший вахтенного, лишил нас возможности услышать, как вышел из трудного положения Самойлов. Разговор невольно перешел на затронутую тему.

Лейтенант Кузнецов, спасшийся с потопленного «Эмденом» «Жемчуга», всегда настроенный несколько мистически, горячо стал на защиту мнения Самойлова:

– Господа, не смотрите так легко на эти вопросы. Я утверждаю, что есть что-то такое, что нам совсем не понять. Почему «Новикам» всегда не везло? Почему «Марии» обязательно тонут? Почему Генмор не рискует больше назвать корабль «Русалкой»? Нельзя отрицать что-либо потому, что законы математики и физики не дают прямых объяснений… Что-то есть. И Самойлов, может быть, прав, подойдя к этому вопросу попросту: дали имя – появилась душа.

Третий день реет шторм.

Стоим в Порт-Саиде. Занимаемся ремонтом механизмов, несколько размотанных за длинный переход из Японии.

Ждем приказ идти на Мальту.

Сегодня моя очередь стоять «собаку» (вахта с полуночи до четырех утра). Выхожу наверх. Дождь… Пронзительный ветер.

Лейтенант Смиренский сказал, что канаты плохо держат (сосед-англичанин за его вахту наваливался раз пять), командир не спит и каждые полчаса выходит наверх, – одним словом, «Всех благ!» – и радостно юркнул вниз, в люк.

Глаза постепенно привыкли к темноте. Вырисовывался высокий борт соседа-англичанина. Осмотрев все канаты и обойдя корабль, возвращаюсь на ют.

– Кто на вахте?

Голос из темноты:

– Самойлов, вашсокродь!

Самойлов – молодчина, старый боцманмат, видавший виды, что называется, надежный человек. За всем присмотрит, вовремя все доложит.

– Что, Самойлов, мокро?

– Так точно, вашсокродь, мокровато малость!

Обыкновенно после такого вопроса, показывающего, что официальная часть закончена, Самойлов начинал разговор.

Ночной разговор на вахте особенный. Его не опишешь. Это то, что Станюкович называл «лясничаньем». Чего-чего в нем только нет! В нем воспоминания о прежних плаваниях,

и забота о своем корабле, и глубокая философия простого человека. Разговор, в котором забываются подчиненный и начальник, но в котором остается улавливаемая лишь чутьем грань между старшим и младшим, где знались, что можно сказать и вспомнить, а что нельзя.

Но сегодня Самойлов разговора не заводит. Чувствуется, что есть что-то такое, что его заботит, но чего он высказывать не рискует.

Время в свежую погоду летит быстро. Вот пробило 6 склянок, вот 7…

Вдруг слышу сзади шепот Самойлова:

– Вашсокродь, а вашсокродь…

– Чего тебе, Самойлов?

– Вашсокродь, а знаете, что вам доложу: старик наш не хочет идти в Средиземку!

От неожиданности не понимаю, в чем дело.

– Что ты чушь городишь? Какой старик?

– Да наш старик. «Пересвет» наш.

– Вот тоже выдумал! Откуда ты взял?

– Никак нет, не выдумал. Сами посудите. Прислали с Балтики лучших ахвицеров, а из Владивостока вышли – на камни сели. В Японии в док вошли – на что опытные инженеры, а тут посадили так, что котлы покривились. Лишний месяц в доку простояли. Опять же в Суэцком канале лоцмана, поди, по тридцать лет служат, всякие корабли проводили, а наш поперек поставили, так что ни взад ни

вперед. Сколько возиться пришлось, чтоб снова в канал войти… Помяните мое слово, вашсокродь, не хочет «Пересвет» в Средиземку идти…

– Вот что, Самойлов, ты эту дурь из головы выкинь, не равно кто из молодых матросов услышит, только смутишь людей.

– Точно я не понимаю? – обиделся Самойлов. – Разве я матросу этакое што скажу? Слава Богу, сколько лет служу на флоте. В Балтике на «Павле» плавал… Я вам первому докладаю.

– Ладно, пусть уж будет и последнему. Все это, брат, фантазии. Выдашь ты это в кубрике, а затем пойдут плести и дальше. Пойми ты – железо! Какая душа в железе?

– Железо-то железо, это мы понимаем. Да только в ем жисть есть. Вот господин штурман девиацию компасов уничтожали, все магниты подкладывали. Говорили, влияние железа корабля выравнивают. А разве в мертвом влияние есть? Не иначе как живой он, корабль-то. А раз живой, то обязана и душа в ем быть.

– Хочешь – верь, Самойлов, хочешь – не верь, дело твое. Но мой тебе совет: держи язык за зубами, а то попадешь ты, брат, в передрягу. Скажут, что трусишь и команду мутишь. И кончишь карцером, как пить дать. А теперь иди, буди смену. Поговорим как-нибудь потом.

К сожалению, потом поговорить с Самойловым о душе корабля пришлось мне при исключительных обстоятель-

ствах.

На следующий день пришло распоряжение сняться с якоря и идти на Мальту.

После полудня, 22 декабря (ст. стиль), «Пересвет» вышел из Порт-Саида. Шторм несколько стих. Дождя нет, но зыбь сильная, и, выйдя за мол, заскрипел крейсер старыми боками, окутываясь волнами. На верхней палубе чисто. Все лишнее убрали. У орудий – очередная смена. Поданы снаряды для первого залпа. Корабль в районе действия немецких подводных лодок, а потому все наготове.

Горнисты сыграли «Повестку». Через 15 минут будет спуск флага (заход солнца).

Не успел вахтенный офицер скомандовать «Горнисты вниз», как оглушительный взрыв потряс корабль. Перед глазами встал огненный столб выше мачт. Треск лопающегося железа. Снова взрыв, вернее, два, слившихся вместе, еще сильнее, чем первый.

Корабль сразу осел носом и медленно начал ворочать влево. Быстро токают пушки, одна за другой, но их звуки кажутся такими слабыми после рева взрывов.

Подводной лодки не видно, стреляли по заранее установленному прицелу с расчетом, что при расставленных веером орудиях какой-либо удачный выстрел утопит невидимую подводную лодку.

Проходит минуты две. Горнист на переднем мостике играет: «Прекратить огонь!» Стрельба смолкла.

Корабль кренится все больше и больше на левый борт. Справимся ли? Слышу, как докладывают старшему офицеру, что носовая переборка, отделяющая носовой отсек, не выдержала давления воды и лопнула, что вся батарейная палуба в огне, жилые палубные люки захлопнулись, трапы попадали и люди из многих отсеков выйти не могут.

Старший офицер старший лейтенант Михаил Михайлович Домерщиков бросился вниз и на ходу крикнул мне взять людей из носовой башни и попытаться открыть люки в кормовых отсеках.

Через машинный люк пытаюсь пройти вниз с четырьмя комендорами, но здесь огонь бушует так, что не проскочить. Быстро выскакиваем обратно, и через кают-компанию пробираюсь в жилую палубу. Темно… Электричество погасло. Комендор ощупью включает аккумуляторный фонарь. Вот люк в кормовую динамо-машину. В такую минуту работа спорится. Секунда – и люк поднят.

Бежим к следующему люку. Затем в соседний отсек. Здесь уже распоряжается лейтенант Кузнецов.

– Как дела, Николай Александрович?

– Кончаем. Если увидите Михаила Михайловича, скажите, что в батарейной палубе пожар едва ли удастся потушить. Донки воду не подают, а огнетушители не справляются. Там остался лейтенант Ивановский. Я приказал на всякий случай затопить кормовые бомбовые погреба.

Старым путем возвращаюсь обратно. Пробегаю через

кают-компанию, заглянул в дверь, ведущую в батарейную палубу. Картина – не забыть.

«Пересвет» старой конструкции. На нем батарейная палуба без переборок от носа до юта. От взрыва носовых погребов огненный клуб прокатился по палубе до переборки кают-компании и зажег все. Удивительно, деревянная палуба не горит. Огонь лижет ее и пропадает. Горит только железо, вернее, краска на железе. Потушить без воды – безнадежно, а воды нет: от взрыва испортились трубопроводы.

Выскакиваю наверх.

Нос крейсера уже совсем в воде. Высоко задрана корма. Нет, не спасти корабль. Вот-вот повалится на борт, и конец.

На кормовом мостике командир корабля капитан 1-го ранга Иванов-Тринадцатый спокойно отдавал приказания. Рядом с ним с мегафоном в руке – старший офицер.

Команда на юте. Полная тишина. Инженер-механик Дацун с двумя унтер-офицерами вытаскивают спасательные пояса из кормовой рубки и раздают матросам. Матрос Железняков, загребной с моего катера, видя, что я еще без пояса, быстро снимает свой и предлагает мне. Отказываюсь. Железняков настаивает. Из затруднительного положения выручает боцман, не слышавший предварительного разговора.

– Железняков, сукин сын, ты что пояс снял! Не слышал команду «Пояса надеть!»? Придешь завтра ко мне в отдых

медяшку драить!

Железняков быстро надевает пояс. Невольно улыбаюсь. Боцман верен себе. У него исключительных случаев не бывает. Пока крейсер на воде – есть завтра, есть и чистка меди.

Не в этом ли весь смысл дисциплины? Не из-за этого ли нет паники? Люди знают, что делают. Воля одна – она там, на мостике, откуда раздается спокойный голос командира:

– По гребным судам! Гребные суда – к спуску!

Засвистали дудки унтер-офицеров. Быстро разбегается команда. Трудно спускать шлюпки, когда качает, а качает здорово. Борт «Пересвета» высокий, отведет на качке шлюпку в сторону, не удержат крючковые матросы, а держать приходится за гладкое железо, с размаху ударит о борт – летят вниз щепки и люди.

Мой гребной катер № 1. Много трудов и забот вложено в него. Гребцы – как один. Вот вывалили уже за борт на шлюпбалках.

– Тали потравливай!

Медленно пополз катер вниз. Шибанов, сибиряк, косая сажень в плечах, цепляясь за каждый обушок, не дает катеру отвалиться от борта. Вот уже у самого верха… Ловлю момент, чтобы крикнуть: «Раздернуть тали!» Вижу, Суходолов держит руку слишком близко к блоку.

– Суходолов, трать-та-ра-рать! Руку где держишь?!

– Есть, вашсокродь!

– Раздернуть тали!

Крик Суходолова… Двух пальцев нет – втянуло-таки в блок.

Домерщиков с мостика кричит в мегафон:

– Вячеслав Николаевич, садитесь скорее, отходите!

Но ветер искажает фразу, и я ее понимаю как «Садитесь, если хотите». Если хочу. Конечно, хочу. Но разве уйдешь с тонущего корабля без прямого приказания? Кричу своему старшине:

– Голабурда, отваливай! Смотри, береги катер!

– Есть, вашсокродь! Будьте покойны!

В секунду весла разобраны, и ощетинившийся катер лихо вывертывает на волне.

Всю ночь держался Голабурда под веслами, подбирая людей из воды, доставляя их на подошедший через несколько часов французский тральщик. И только на рассвете, убедившись, что больше делать нечего, сдал иностранцам полузатопленный катер с проломленным бортом. Много народу обязано ему своей жизнью.

К сожалению, это была единственная шлюпка, дошедшая до воды, остальные спустить Бог не попустил. Слишком сильно качало крейсер.

«Пересвет» уже совсем лежал на левом борту. Спокойно, уверенно раздаются с мостика слова командира:

– Команде на ют! Команде раздеться! Прыгать за борт! Отплывать дальше! У борта не держись!

Старший офицер медлил спускаться с мостика. На крейсере остались одни офицеры. На мостике – один командир.

– Ну что же, господа, – шутит старший офицер Михаил Михайлович Домерщиков, – пожалуйте купаться!

Сажусь на полупортик шестидюймового орудия. Оглядываюсь вокруг – ни дымка. Солнце, выйдя из-за туч, последним краешком закатывается за горизонт.

Всего четырнадцать минут с момента первого взрыва. А ведь кажется, часы прошли.

Прыгать жутко. Но из двух зол надо выбирать меньшее. Отталкиваюсь сильнее ногами и лечу. Ушел под воду… Пытаюсь резкими толчками остановить уход на глубину. Безумно давит на барабанные перепонки. Закрадывается панический страх – в ту ли сторону выгребаю? Наконец светлеет. Наверху!… Саженками подальше от борта. Отплываю саженей на 20 и оборачиваюсь. Крейсер тонет. Вот резко ушел вниз нос, высоко поднялась корма. Ушел в глубину наш старик «Пересвет» на вечный покой.

Темно. Пошел дождь… Плыву медленно, стараясь сохранить силы на дольшее время. Рядом группа матросов. Слышу разговор:

– Черт его дери, дождь идет!

– А тебе не все равно, – отвечает второй голос, – ведь в воде.

– Так-то оно так, да все же при звездах веселее!

Понемногу волнами раскидывает людей… Вот я уже

один… Додержусь ли до рассвета?

Думаю лишь об одном: как бы встретить набегающую волну так, чтобы гребень не накрыл, как бы поменьше наглотаться воды…

Холодно… Зубы начинают стучать. Скоро ли рассвет? Кажется, прошла целая вечность. Вдруг огонек… Вглядываюсь… Все ближе и ближе. Прожектор щупает воду. Тральщик подошел. Заметит ли? Вот прожектор забегал опять. Вот луч на мне. Спасен! Машу руками, кричу как исступленный. Прожектор соскочил, ушел в сторону… Жутко… Не заметили. Плыть или не плыть на огонек? Поплывешь – потеряешь зря силы, а корабль отойдет. Ругаю себя, что кричал. Кто же услышит в шторм на несколько сот саженей?! Только воды наглотался.

Нет, надо сохранять спокойствие, только в нем спасение. Медленно с волнами спускаюсь к огням. Молодчина тральщик, хорошо встал под ветер… Плыть легко. Вот уж совсем близко. Не выдерживаю и перехожу на саженки. Полным ходом к борту. А то вдруг уйдет под самым носом?

Замечен! Кидают конец. Хватаю, наматываю на руку, тащат. Черт, лечу вниз: конец лопнул. Ударило о борт, отнесло под корму – прощай, жизнь! Случайно попадаю пальцем в какой-то обушок на борту. Держусь так, что скорее руку вырвет из плеча, чем отпущу палец. Наверху увидели. Сбросили штормтрап. Кто-то хватает за шиворот. Судорога свела палец, но не могу оторвать. Чувствую, что фран-

цуз уж сам еле держится, вот-вот бросит меня, и нет сил выпустить обушок. Последнее усилие воли – и… оказываюсь на палубе французского тральщика.

Как приятно выкурить папироску! Как хорошо жить!

Захожу в каюту. На койке лежит человек. Кожи нет. Обгорел начисто. Рядом с ним только что вытащенный из воды наш доктор Семенов. Спрашиваю: «Кто?» Семенов отвечает: «Самойлов».

Склоняюсь над беднягой:

– Как дела, Самойлов?

Шевелит белками глаз, что-то шепчут губы. Наклоняюсь ближе и скорее догадываюсь, чем слышу:

– Не хотел «Пересвет» идти в Средиземку…

…Много дряни говорят нынче про старых матросов, много береговых жителей с усмешкой говорят о былых порядках нашего славного Флота. А ведь этого «Ура» не забудешь. Кричать «ура», утопая, – не заставишь!

Значит было что-то в Русском флоте, что заставляло кричать «ура» уходящему в воду Андреевскому флагу.

Нет, не пьяный матрос на берегу и не убийца своего офицера в первые дни революции есть выразитель порядков Русского флота. А вот именно эти 14 минут, от взрыва и до приказания «прыгай за борт» и те часы в воде, когда каждый за себя, а Бог за всех…»

Бережно разглаживаю выцветшие страницы…

По этим двум дневникам уже можно сделать кое-какие

выводы. И Иванов-Тринадцатый, и лейтенант Совинский отзываются о Домерщикове в самых лучших тонах. К их отзывам можно прибавить и мнение третьего соплавателя – лейтенанта Еникеева, да и характеристика Кротовой тоже утяжеляет чашу весов против чаши с обвинением Палёнова.

Конечно, истина не доказывается простым большинством голосов: в истории не раз бывало, когда одно «против» перевешивало миллионы «за». Но неужели люди, довольно близко знавшие Домерщикова, делившие с ним минуты смертельной опасности, могли так глубоко заблуждаться, чтобы не почувствовать двуличную душу?

А может, и не было никакой диверсии? Ведь Иванов-Тринадцатый дает однозначный ответ: взрыв был наружный. И лейтенант Совинский не допускает мысли об «адской машинке». И почему я должен верить домыслам какого-то венского юриста, а не командиру «Пересвета»?

Стоп, стоп… Все это эмоции, не имеющие никакого отношения к истине. Я же своими глазами видел фотографию: английский френч, бесстрастный взгляд… И ключик от сигнального ящика, ключик от тайны. Ключик этот пока что болтается на поясе господина Палёнова. Кто он такой? Как очутился за границей? Мне не хочется верить, что в аккуратном досье венского юриста и в самом деле придавлена тугим пружинным зажимом правда о гибели «Пересвета». Заглянуть бы еще раз в его папку с окованными уголками. Уж я бы прочитал все до буковки!… А может, он в самом деле

передал досье в посольство и теперь оно в архиве? В каком? Конечно же, в ЦГА ВМФ – Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота.

Глава седьмая
РУЛЕВОЙ С «ОЛЕГА»

Ленинград. Январь 1984 года

Если моя читальня во Всесоюзной библиотеке похожа изнутри на деревянный фрегат, то архив ВМФ с его чугунными ступенями и тяжелыми железными дверями – на броненосец.

Первым делом узнаю, не поступали ли из Вены какие-либо документы, связанные с «Пересветом». Нет, не поступали.

Выписываю личное дело мичмана Домерщикова. Какое оно тоненькое! Три разграфленные анкетные страницы, заполненные размашистым писарским почерком.

«Полный послужной список мичмана Михаила Михайловича Домерщикова седьмого флотского экипажа». Список составлен на 8 августа 1904 года. «Из потомственных дворян. Родился в 1882 году. Православный. Холост. В службе – 1898. Окончил Морской корпус в 1901 году.

1898 г. – первый выход в море кадетом на учебном судне «Моряк» под командованием капитана 2-го ранга Мордвина. Девяностодневное плавание по Балтийскому морю.

1902 г. – командир роты на крейсере «Баян». Слушатель Учебно-артиллерийских офицерских классов.

1903 г. – артиллерийский офицер на крейсере «Аврора».

В заграничном плавании сто одни сутки.

1904 г. – там же. Заграничное плавание сто семьдесят суток».

Крейсер «Аврора» вступил в строй в июле 1903 года. Значит, Домерщиков вошел в состав самого первого экипажа исторического корабля. В сентябре «Аврора», строившаяся для нарождавшегося на Дальнем Востоке русского флота, вышла в составе отряда на Тихий океан. Весть о начале русско-японской войны застала отряд в сомалийском порту Джибути. «Аврора» с полпути вернулась на Балтику, где формировалась печально известная в будущем вторая Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского. Значит, в Цусиму Домерщиков пошел на «Авроре»? А это что за сноска красными чернилами от руки? С трудом разбираю небрежный почерк: «Назнач. мл. артиллеристомъ на крейсеръ «Олегъ» – 04-05 гг.».

Это уже ниточка! Немного, конечно, но все же… Палёнов говорил, что Домерщиков бежал с корабля в Маниле. Все так и получается. «Олег» вместе с «Авророй» и «Жемчугом» в 1905 году, сразу же после Цусимского сражения, были интернированы в столице Филиппин. От Манилы до Австралии – рукой подать.

Самое досадное, что в послужном списке не указано место рождения. Знать бы город или хотя бы губернию, а там довольно просто установить, живут ли ныне кто-нибудь из Домерщиковых. Фамилия редкая, и наверняка все ее предста-

вители связаны родственными узами. Я бы немедленно отправился туда, будь этот городок хоть на Камчатке. Кто знает, может быть, в ветхом бабушкином альбоме завалялись фотографии моряка в мичманских эполетах?… Тогда сразу бы было можно установить: Домерщиков ли изображен в форме английского офицера? Не путаница ли это, не подлог ли?

Бреду по Невскому… Вспоминаю, как однажды вот здесь же, у Московского вокзала, обратился в справочное бюро – наудачу, и мне через четверть часа выдали адрес Ризнича, человека, который до той минуты был для меня абстрактным архивным понятием – строчкой в графе. Отыскиваю «счастливый» киоск. Спрашиваю адрес любого живущего в Ленинграде Домерщикова или Домерщиковой.

Нельзя так грубо пытать счастье. Нет в Ленинграде никаких Домерщиковых…

– А по другим городам можно получить адресную справку?

– Можно… В пределах месяца.

Выбираю крупные портовые города и заказываю розыски любого человека по фамилии Домерщиков. Таллинн, Рига, Одесса, Севастополь, Мурманск, Владивосток… Вдруг где-нибудь да объявится?

Москва. Апрель 1984 года

Снова открываю тяжелые, обитые на морской манер латунью двери Всесоюзной библиотеки. Снова скрипит «кора-

бельное» дерево лестниц. Снова длинный стол «кают-компании», только теперь уже не «Пересвета», а крейсера «Олег». Листаю подшивки «Летописи русско-японской войны», листаю подшивки «Нивы» за 1904 год… Форты Порт-Артура, гибель «Петропавловска», траурные портреты адмирала Макарова и художника Верещагина, китайские кумирни, косматые папахи, косички хунхузов, рельсы, проложенные по льду Байкала, фальшивая коса японского шпиона, израненный «Пересвет», «Ретвизан»… Стоп! Групповой снимок во всю страницу: «Экипаж крейсера первого ранга «Олегъ» перед уходом изъ порта Александра III (Либавы)».

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Просторный бак крейсера от шпиля до сигнального мостика заполнен офицерами, кондукторами, матросами. Облеплены орудийная башня, боевая рубка, крылья мостика… Люди перед лицом Истории. Безымянные, но не безликие. Их много, их гораздо больше, чем может вместить кадровая рамка. Многие привстают на цыпочки, чтобы быть виднее, чтобы не загораживали чужое плечо, чужая фуражка… Ах, как не хватает роста вот тому матросу в седьмом ряду: получились только бескозырка да лоб по брови.*

Минута, выпавшая из корабельных будней. Минута, отведенная для вечности, какой торжественностью – не броской, внутренней – полна она.

Матросы выглядывали из-за обреза снимка половинками лиц, выглядывали с немой мольбой: и меня, и меня не забудь!

Погоди, фотограф, не спеши, дай каждому заглянуть в объектив – в черный глазок, через который на него смотрит будущее. Сделай побольше глубину резкости, чтобы видны были все, все, даже самые дальние… от командира до кочегара. Люди идут в небывалый поход, на войну, в Цусиму… Для кого-то этот снимок будет последний…

Фотограф был великодушен. Все триста двадцать лиц вышли на снимке четко. Вот этот кряжистый хмурый капранг в эполетах – командир «Олега» Добротворский, по правую руку от него старший офицер капитан 2-го ранга Посохов, по левую – судовой священник, бывший певчий придворной капеллы, иеромонах Порфирий. Все остальные – безымянные. Уже никто не назовет их фамилий. У ног иеромонаха сидит в мичманском ряду молодой офицер, безусый и безбородый. Может, он – мичман Домерщиков? Или вот этот – с насмешливым взглядом? Домерщиков обязательно должен быть на снимке…

Вглядываюсь в фотографию…

Матросы в бескозырках, кондуктора в фуражках, офицеры в парадных треугольных шляпах. Смотрят с достоинством, смотрят сурово, грустно, молодцевато. Люди идут на войну.

На вопрос корреспондента «Нового времени» «Чего вам пожелать? Победы?» командир «Олега» капитан 1-го ранга Добротворский отрезал: «Пожелайте со славой умереть».

Уж он-то знал, что шансов на победу у кораблей с наскоро

собранными и обученными командами, снаряженными кое-как для сверхдальнего, как сказали бы сейчас – глобального, перехода, гораздо меньше, чем умереть со славой. Знал это и флагман – адмирал Рожественский, называвший свою эскадру то «зверинцем балтийцев», то «Ноевым ковчегом всяких отбросов». В письмах к жене он был гораздо откровеннее, чем в реляциях императору: «Гораздо более внушает опасение Добротворский с «Олегом», «Изумрудом», миноносцами и отдельно гонящиеся за мною вспомогательные крейсера – «Смоленск», «Петербург», «Урал» и еще какой-то. Где я соберу эту глупую свору; к чему она, неученая, может пригодиться, и ума не приложу. Думаю, что будут лишнею обузою и источником слабости».

Рожественский был недалек от истины. Умереть со славою ни Добротворскому, ни его флагману – начальнику отряда крейсеров контр-адмиралу Энквисту (он держал флаг на «Олеге») – не удалось. После короткого боя с японцами Энквист повернет на юг, уведет их в Манилу, бросив эскадру на расстрел броненосцам адмирала Того. До конца жизни он будет стыдиться этого поступка, станет жить затворником и умрет, снедаемый черной меланхолией.

«Олегу» же выпадет иная судьба. Крейсер сумеет избавиться от тени, брошенной бесславным флагманом. В первую мировую он совершит десятки боевых походов, будет ставить мины, крейсировать в Ботническом заливе, обстреливать вражеское побережье. В гражданскую войну ог-

нем своих орудий будет крушить береговые форты мятежников, грозить кораблям интервентов. По сути, «Олег» был едва ли не единственный боеспособный крейсер Балтийского флота. Погибнет он 18 июня 1919 года в районе Толбухина маяка: его атакует английский торпедный катер…

А пока все впереди. Команда «Олега» и жерла его пушек смотрят в глазок камеры либавского фотографа. Что впереди?

Абрамцево. Июнь 1984 года

Оказывается, открытия по части морских дел можно делать не только в библиотеках и архивах, но и… на даче. Переклеивали обои. Отодрал старый пласт, и с газетного листа ударил в глаза заголовок – «Рулевой с «Олега» и «Авроры». Осторожно выстригаю ножницами заметку и два снимка. На одном бравый матрос с лентой «Олега» на бескозырке – старший строевой унтер-офицер рулевой команды крейсера боцманмат Александр Магдалинский, на другом – он же, только спустя тридцать пять лет, запечатлен вместе с Новиковым-Прибоем среди ярославских школьников. Читаю заметку… Оказывается, в 1935 году автор «Цусимы» обратился через одну из газет к бывшим морякам, участникам русско-японской войны, с просьбой прислать свои воспоминания. На этот призыв откликнулся волжский капитан из Ярославля Александр Магдалинский. Приехал в Москву, познакомился со своим именитым однопоходником и спустя лет пять, при дружеской поддержке Новикова-Прибоя, сам на-

писал книгу об «Олеге» – «На морском распутье».

На другой день я уже читал эту редкую книгу в своей библиотечной «кают-компании». Строк о Домерщикове я в ней не нашел, но зато мне открылись многие обстоятельства похода на Дальний Восток, боя с японскими броненосцами и жизни интернированных олежцев в Маниле, обстоятельства, которые не могли не повлиять на реше ние мичмана Домерщикова оставить корабль и бежать в Австралию.

В тот майский день 1905 года крейсер «Олег» едва не разделил судьбу «Пересвета».

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«С вахты дали дудку: „Команде одеться в чистое белье“. Безотчетная, гнетущая тоска щемила грудь. Мы знали, что многим из нас не удастся больше увидеть далекую родину, за которую моряки шли отдавать жизнь.*

В один час сорок пять минут пополудни на горизонте показались главные силы противника. Неприятельский флот, пересекая под острым углом наш курс, быстро шел на сближение. Силуэты японских кораблей, окрашенных в серый цвет, смутно вырисовывались на поверхности моря. Отсутствие дыма из труб указывало на слаженную, четкую работу машинных команд. Наши корабли, окрашенные в черный цвет, с желтыми трубами, служили хорошей мишенью для японских комендоров. У нас даже и окрасить как нужно не сумели.

Придя на траверз головных кораблей, японский флот по-

вернул обратно и лег на параллельный с нами курс. Оглушительные залпы тяжелых орудий разорвали воздух. Броненосцы вступили в бой.

Один из неприятельских снарядов крупного калибра, пронизав борт, разорвался под полубаком, поблизости от шахты, ведущей в носовой патронный погреб, из которого только что была поднята тележка со снарядами. Осколками вывело из строя всех подносчиков снарядов и перебило подъемный механизм тележки, которая упала в патронный погреб. От удара при падении патроны начали взрываться. Силой взрывов повредило переборку, отделявшую патронный погреб от центрального боевого поста. В отверстие выбитых заклепок был виден разгоравшийся в патронном погребе пожар, обрекавший крейсер на гибель. Чтобы спасти корабль, надо было немедленно принять меры к тушению огня.

Не раздумывая ни минуты, я и мой товарищ – старший гальванер Курбатов – поднялись из центрального поста на палубу. Под полубаком стоял сплошной дым. С большим трудом, на ощупь, раскатали мы пожарные шланги и открыли водопроводные краны. Схватив металлические брандспойты, из которых била сильная струя забортной воды, смочили свою одежду, а потом, с направленными вниз брандспойтами, стали осторожно спускаться по ступенькам шахты к месту пожара. Дыхание перехватывал удушливый, едкий дым. Кружилась голова. Глаза слезились. От

чрезмерного напряжения дрожали руки и ноги. Под сильным напором воды пламя стало быстро уменьшаться и наконец прекратилось совсем. Пожар был потушен. Опасность миновала».

Рядом с прощальным снимком, сделанным в Либаве, кладу другой, переснятый из «Летописи русско-японской войны»: «Похороны убитыхъ на крейсере «Олегъ». На юте близ кормового флага – трупы погибших, принакрытые брезентом. Два снимка, два мгновения, разнесенных по времени в восемь месяцев, почти совместились на моем столе. Грустная стереоскопия истории. Видеть сразу конец и начало – прерогатива богов и потомков…

Глава восьмая

ИНЖЕНЕР ИЗ БХИЛАИ, ИЛИ ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ ДОМРЫ

Вчера пришел первый ответ из адресного бюро Риги: Домерщиковых в столице Латвии нет… Сегодня торопливо вскрыл конверт из Одессы – ответ тот же: «не проживает». Остались еще четыре запрошенных города…

Одним за одним пришли ответы из адресных бюро остальных городов. Не было Домерщикова ни в Мурманске, ни в Таллинне, ни во Владивостоке… Эта фамилия сделалась моей идеей-фикс. Что бы я ни просматривал – списки избирателей или «Бюллетень по обмену жилой площади», библиотечные каталоги или театральные программки, – я всюду искал эту странную, эту редкую фамилию. Я расспрашивал всех своих родственников и друзей – не приходилось ли им слышать или читать о каких-либо людях с фамилией Домерщиков. Я просил своих знакомых звонить мне в любое время дня и ночи, если они что-то узнают…

Я сделал запрос в Центральное адресное бюро, которое дает справки о местожительстве любого гражданина СССР. А пока листаю монографию Унбегауна «Русские фамилии»: «Домерщиков – тот, кто делает домры или играет на них».

Лезу в «Музыкальную энциклопедию»: «Домра – древнерусский струнный щипковый инструмент. Использовался в XVI-XVII веках скоморохами…» Может, здесь наведет что-нибудь на след?

Москва. Декабрь 1985 года

Дома меня ожидали сразу два сюрприза, один дополняющий другой. На столе моем лежал октябрьский номер журнала «Октябрь» за 1960 год со штампом нашей районной библиотеки, в которой записан отец. Он-то и принес счастливую находку. Журнал раскрыт на очерке «Как строили металлургический завод в Индии».

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Монтажом мартеновского цеха в Бхилаи руководил крупный советский специалист, человек большой инженерной культуры, Павел Платонович Домерщиков. Природный такт, мягкость, доброта, которые так ценят индийцы, и вместе с тем настойчивость сделали Домерщикова авторитетом среди индийских монтажников. Если Павел Платонович говорил, что нужен еще один компрессор, или требовал увеличения числа монтажников, то фирма стремилась это сделать, даже если ей не хотелось идти на дополнительные расходы…*

Врачи запретили Домерщикову дальнейшее пребывание в жарком климате, и в мае 1959 года сдружившиеся с ним монтажники тепло проводили его на Родину».

Вроде бы и недавно на дворе был год 1960-й, но ведь четверть века уже прошло! Жив ли этот человек, если еще в

пятьдесят девятом году у него были нелады со здоровьем? На этот вопрос я получил ответ почти мгновенно. Под журналом лежал конверт со штампом Центрального адресного бюро. Вытряхиваю листочек бланка и глазам не верю: «Гр. Домерщиков Павел Платонович, 1910 года рождения, проживает в Москве, по Ленинградскому проспекту, дом №, кв…»

Дверь открыл пожилой интеллигентный человек – Павел Платонович Домерщиков. С первых же минут нашего разговора я убедился, что автор очерка не погрешил против истины, найдя в нем «природный такт, мягкость, доброту».

– Да, Михаил Михайлович Домерщиков был братом моего отца, Платона Михайловича Домерщикова, а следовательно, моим родным дядей. Я его очень хорошо помню…

Тут я не выдержал и перебил:

– У вас какие-нибудь фотоснимки его остались?

– Сохранились всего две фотокарточки, на которых дядя Миша снят в Австралии. Сейчас я вам их покажу.

Павел Платонович зажег настольную лампу явно индийского происхождения: вырезанный из красного дерева слон держал на спине ножку абажура. Слоны – это к счастью…

В круг света легли две небольшие карточки.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Хижина-развалюха, сколоченная из случайных досок, палок, ящиков. В проеме распахнутой двери видны колченогие топчаны, застланные каким-то тряпьем. На наружной стене, обитой не то картоном, не то фанерой, выведена от руки английская над-*

пись «Siberia» – «Сибирь». Надо понимать, в шутку, как название «виллы». Перед «виллой „Сибирь“ чудовищный гибрид шезлонга и качалки, сбитый из деревянной рухляди. В нем устроился с газетой в руках молодой человек в черных флотских брюках и белой форменной сорочке со стоячим воротничком, при офицерском галстуке, завязанном бантом. Это бывший мичман Домерщиков. Рядом с ним забулдыжного вида сосед по „вилле“ листает в продавленном кресле журнал со словом „Рулетка“ на обложке. Ни дать ни взять – декорация к спектаклю „На дне“.

На втором снимке беглый мичман восседает в драном кресле среди экзотической зелени. Он все в том же «размундированном» виде. Ботинки стоптаны, но пробор разобран. Лицо печально-сосредоточенное. О чем он думает: об оставленном корабле? о покинутой Родине? об эмигрантском будущем?

Лицо его снято достаточно крупно, и я без труда узнаю в нем человека в английской форме. Теперь хорошо видно, что ошибки, к сожалению, нет. Зачем он надел этот френч? От безысходности?

Неужели он и в самом деле завербовался в Австралии на службу к англичанам?

Я ничего не говорю Павлу Платоновичу о том, третьем, снимке из «австралийского периода» жизни его дяди. Я не хочу огорчать его версией Палёнова…

– Не рассказывал ли вам Михаил Михайлович, как и по-

чему он оказался в Австралии?

– О своей жизни он распространялся мало. По семейным преданиям, у него вышел в Маниле конфликт с начальством. Кажется, с адмиралом. И он уехал в Австралию. Не исключена возможность, что тут была замешана и красивая женщина…

– А как сложилась его судьба потом, после революции?

– Он остался в Петрограде вместе с женой-англичанкой. Ее звали Колди. Фамилию не помню. Жили они в Графском переулке. И у них родился сын. Колди хотела назвать его Ральфом. Но дядя настоял на русском имени, и мальчика нарекли Петром. Впрочем, для матери он был Питером. А потом и все его стали звать «Питер, Питер…».

В первые послереволюционные годы семье Домерщиковых пришлось туго. Семья бедствовала. Дядя искал работу, но безуспешно. Ремесел он не знал, а на сколь-нибудь ответственные посты его, бывшего офицера, сами понимаете, не брали… Но однажды в Адмиралтейском скверике он встречает, представьте себе, своего бывшего вестового, которого он спас при взрыве «Пересвета». Матроса сильно обожгло, он был беспомощен, и дядя сам привязал его к пробковому матрацу, вытолкнул за борт. Этот же матрос пережил с ним и гибель «Португалии». Так вот, к тому времени, а было это, наверное, вскоре после гражданской войны, вестовой стал в Морском ведомстве большим человеком и в благодарность за спасение помог Михаилу Михайловичу найти место, но

не в военном флоте, а в торговом. Кажется, сначала он работал в центральном аппарате Главвода, потом его назначили капитаном парохода, который ходил из Ленинграда в Гавр и Лондон…

– Название парохода не помните?

– Нет, к сожалению… Плавал он на нем до года двадцать шестого или двадцать седьмого. Потом был неожиданно арестован. Почему – не знаю. Сам он об этом мне не говорил. Но, думаю, не обошлось без доноса. В том, что дядя был человек честный, сомнений у меня нет. Во всяком случае, невиновность его потом доказали, и дядю реабилитировали – заметьте! – в тридцать седьмом году. Он вернулся из Сибири и какое-то время жил у нас в Москве. Мы отговаривали его возвращаться в Ленинград. Мало ли что… Но жизнь свою он без Ленинграда не представлял. Вернулся-таки…

Колди забрала Питера и навсегда уехала в Англию. Михаил Михайлович так больше никогда и не видел сына. Переживал он это глубоко, но молча, по-мужски пряча чувства.

Где-то под Новосибирском он познакомился с подругой по несчастью, бывшей аристократкой-петербурженкой, женщиной красивой и энергичной, – Екатериной Николаевной Карташовой. Первый муж ее был драгунским офицером, в чем-то провинился перед советской властью, и черная тень его судьбы задела и Екатерину Николаевну. Короче, они встретились на берегах не то Лены, не то Енисея и поженились.

В Ленинграде дядя снова оказался без работы. Офицерское прошлое вкупе со справкой об освобождении было не самой лучшей рекомендацией в тогдашних отделах кадров. И вот тут-то, в отчаянном своем положении, он встречает знакомого моряка, тоже бывшего своего матроса – везло ему на такие встречи! – который возглавляет могущественную и авторитетную организацию – ЭПРОН, Экспедицию подводных работ особого назначения. Крылов, так звали этого бывшего матроса, берет Домерщикова к себе чуть ли не главным штурманом ЭПРОНа. Да, кажется, его так и называли – флагманский штурман ЭПРОНа. И в этой должности дядя пребывает до самой своей смерти. Умер он в сорок втором, в ленинградскую блокаду, от голода.

– А где он похоронен?

– Неизвестно. Скорее всего, где-нибудь в братской могиле. Вряд ли у Екатерины Николаевны хватило сил довезти его до кладбища. Сама она пережила блокаду, работала долгие годы воспитательницей в детском саду и умерла не так давно, лет пять-шесть назад… Вы знаете, более подробно о Михаиле Михайловиче и Екатерине Николаевне вам может рассказать его племянница Наталья Николаевна Катериненко. Она живет в Ленинграде. Возможно, у нее остались какие-либо фотографии, документы. Запишите ее телефон и адрес…

Я уходил от Павла Платоновича потрясенный открывшейся мне судьбой. Я почти не сомневался, что обвинения вен-

ского юриста не имеют к Домерщикову никакого отношения. Тут либо заведомая ложь, тонкая инсинуация, подтасовка фактов, либо чудовищное заблуждение, следственная ошибка или что-нибудь в этом роде.

Разумеется, все, что рассказал мне сейчас этот человек, последний из рода Домерщиковых, если не считать Питера, который, может, жив, а может, нет, – все, что я услышал сейчас, нуждается в архивных уточнениях, подтверждениях. Но строитель Бхилайского комбината дал мне в руки крепкую путеводную нить – ЭПРОН. Да еще адрес ленинградской племянницы…

Глава девятая
АВГУСТЕЙШИЙ ФОТОЛЮБИТЕЛЬ

Москва. Декабрь 1985 года

Дед мой, Соколов Михаил Романович, большой аккуратист, любил подшивать годичные подборки журналов. Сначала подшивал он «Ниву», потом «Огонек». Я возблагодарил его за этот труд, когда, перелистывая потрепанную подшивку «Нивы» за 1915 год, наткнулся на «Очерки военного корреспондента Н. Брешко-Брешковского с 28 фотографиями» под общим названием «Кавказские орлы в Галиции». То был подробнейший рассказ о фронтовых буднях Кавказской туземной конной дивизии, в просторечии – Дикой дивизии. По времени он приходился как раз на ту зиму, которую провоевал вместе с Дагестанским полком разжалованный лейтенант Домерщиков.

Чтобы понять, сколь разительная была перемена в жизни бывшего флотского офицера родом с Адмиралтейской набережной Петербурга, надо хотя бы в двух словах обрисовать Туземную дивизию.

Пожалуй, в действующей русской армии не было столь пестрого, экзотического соединения. Сформированная скорее с политической, чем с военной целью, – дабы продемонстрировать сплоченность народов Кавказа вокруг престола, – дивизия состояла из шести полков: Дагестанско-

го, Черкесского, Кабардинского, Ингушского, Чеченского и Татарского. Кроме того, в нее входил конно-подрывной отряд, набранный из матросов-штрафников Балтийского флота. Кстати, именно этот отряд, как отмечал летописец дивизии, «стал главным очагом революционной пропаганды».

Порядки и нравы в Дикой дивизии отличались своеобразием. Здесь не насаждалась дисциплинарная муштра; горцы, как и казаки, приходили в строй со своими конями и оружием, приходили порой целыми семьями – отцы с сыновьями; рядовые всадники обращались к своим офицерам на «ты», но поступали так вовсе не от избытка демократизма, а потому, что многие из них понимали по-русски только команды – не зная цифр, всадники, бывало, не могли правильно устанавливать прицелы на своих винтовках.

Не только разномастными папахами, бурками, бешметами, черкесками была пестра Дикая дивизия – она являла собой и паноптикум диковинных судеб.

Так, помощником командира Ингушского конного полка служил французский принц Наполеон-Мюрат, правнук Неаполитанского короля. А подчинялся он заместителю командира дивизии – о ирония музы истории! – потомку князя Багратиона.

Тут никого не удивляло, что под началом бывшего балетного критика из «Нивы» – седобородого старца Валериана Ивлева, добровольно надевшего погоны ротмистра, – ходил бывший персидский генерал с лычками вахмистра Заурбек

Бек-Боров, в прошлом ашхабадский полицмейстер, бежавший из-под суда в Персию и там на волне гражданской войны возглавивший одну из армий. После разгрома шахских войск он вернулся в Россию и отправился искупать старые грехи рядовым всадником в Дикую дивизию.

Командовал этим немыслимым воинством из джигитов и абреков, потомственных аристократов и отпетых авантюристов, штрафников и сорвиголов не кто иной, как родной брат российского царя великий князь Михаил Александрович. Вот ему-то я и обязан встречей со своим героем на страницах старой подшивки. Дело в том, что великий князь был большим фотолюбителем и охотно снимал своим «кодаком» сцены из военной жизни. Так в его объектив попал однажды и младший унтер-офицер Морской пулеметной команды Михаил Домерщиков. Ну а военный корреспондент «Нивы» догадался проиллюстрировать очерк двадцатью восемью снимками августейшего фоторепортера.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Под полковым стягом спешились конники-кавказцы в папахах и при кинжалах. Среди горских лиц – несколько русских. В первом ряду полулежит опоясанный пулеметной лентой Михаил Домерщиков. Его характерное лицо нетрудно узнать даже под навесом косматой папахи. Грустный взгляд устремлен мимо великокняжеского аппарата. Он еще не знает, что морской министр отправил императору письмо с ходатайством о его судьбе.*

«Зачисленный, во исполнение высочайшего Вашего им-

ператорского величества повеления, в Кавказскую туземную конную дивизию Домерщиков за свою самоотверженную службу был награжден Георгиевскими крестами IV, III, II и I степеней и произведен в младшие унтер-офицеры.

Ныне главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта по представлению августейшего командующего Кавказской туземной конной дивизией ходатайствует о возвращении Домерщикову прежнего чина лейтенанта. Ввиду сего всеподданнейше испрашиваю Вашего императорского соизволения на возвращение Домерщикову утраченных им чинов и ордена Св. Станислава III степени с зачислением его вновь на службу во флот с чином лейтенанта.

Подписал морской министр: Григорович».

«Высочайше соизволено 16 сентября 1915 года».

Он еще ничего об этом не знает. Впереди его ждали кровопролитнейшие бои в Галиции…

Дикую дивизию трудно было удивить чьей-либо личной храбростью. В полках ее царил дух бесшабашной удали, замешанный на традиционной горской отваге и гусарском кураже.

Земляки Шамиля считали зазорным для своей чести прятаться в окопах. Всякий раз, когда требовалось отразить атаку неприятеля, они, душой не приемля позиционной войны, вылезали на бруствер и, стоя в рост, стреляли из своих винтовок по австрийской пехоте. Чтобы среди таких удальцов сорвать, как тогда говорили, полный Георгиевский бант, на-

до было действительно быть храбрецом из храбрецов.

Глава десятая
МИЧМАН «СОРВИ-ГОЛОВА»: ЛОНДОНСКИЙ СЛЕД

Мысль разыскать сына Домерщикова – Питера – занимала меня не раз. Не было ничего невероятного в том, что он здравствует где-нибудь на островах Соединенного Королевства. Если он родился в семнадцатом, то вполне мог дожить до не столь уж преклонного в 1987 году 70-летнего возраста. Разумеется, если не погиб во второй мировой войне во время бомбежек Лондона люфтваффе или где-нибудь под Дюнкерком в сороковом году. Тогда ему было 23 года – самый призывной возраст. Но хотелось верить, что он жив и к тому же хранит память о своем отце, его фотографии, вывезенные матерью, ее рассказы… О, уж он бы ответил на все вопросы, если бы судьба даровала нам подобную встречу. И я пошел навстречу судьбе – написал заявление в розыскно-информационный центр Красного Креста, что на углу Кузнецкого моста и Рождественки. Правда, подобные заявления принимались только от родственников, разыскивающих на планете пропавших сородичей, тем не менее запрос на Питера Домерщикова (Идена) был направлен в британский Красный Крест. Сотрудники московского центра, знавшего всякие истории, может быть, и более душещипатель-

ные, чем эта, все же прониклись к судьбе сына героя этих строк и взяли на контроль заведенное розыскное дело. Прошел месяц, другой. Наконец, пришел официальный ответ: означенный гражданин в Великобритании не проживает. Я не стал принимать близко к сердцу этот ответ: во-первых, «не проживает» не означает, что не проживал ранее; во-вторых, могли быть неточности в переводе фамилии «Домерщиков» на английский язык, тогда как «Иденов» в Британии, как у нас «Кузнецовых» или «Степановых», в-третьих, это могла быть просто отписка, если учесть всегда осложненные советско-британские отношения, в-четвертых, Питер Домерщиков-Иден мог вполне осесть в Австралии, где провела детские годы и юность его мама и где встретила его отца – Михаила Домерщикова… Короче, ниточка эта вовсе не оборвалась и даже продолжилась, когда в январе 1998 году мне выпала счастливая возможность побывать в Лондоне.

Как и в советские времена, между простым российским гражданином и столицей Англии был возведен некий незримый, но вполне ощутимый барьер. Лет десять назад мне пришлось бы заверять свою благонадежность подписями партийных, профсоюзных и административных чиновников, пройти всевозможные собеседования на советах ветеранов партии, в органах, получить множество назиданий, как не уронить достоинство советского человека в капстране да еще оплоте Северо-Атлантического военного блока. Не было никакой гарантии, что на одной из многочисленных инстан-

ций мою поездку признали бы «нецелесообразной», и прощай Лондон. Теперь все это повторялось разве что с точностью до наоборот. Теперь британские чиновники требовали подтверждения моей лояльности, а главное, кредитоспособности. Больше всего на свете они боялись именно того же, что и их бывшие советские коллеги: что я возьму и останусь в Британии навсегда. Поэтому требовали подтвердить всевозможными справками, что в Москве у меня остается недвижимость в виде квартиры, которую, по их мнению, бросить просто так совершенно невозможно, и это гарантировало мое возвращение на историческую родину. Мне предложили представить справку о моих доходах, и чтобы сумма ежемесячного оклада была не менее пятисот долларов (это у рядового российского журналиста в доденоминированную эпоху, в пред-дефолтовские-то времена!). Справка с фантастическим доходом была изготовлена благодаря сочувствию работников родной бухгалтерии моему стремлению преодолеть барьер, поставленный коварным Альбионом на пути простого россиянина в Лондон. Но в самом визовом отделе британского посольства пришлось пережить унизительную беседу-допрос по поводу того, для чего я еду в Лондон, что собираюсь там делать, с кем встречаться, не везу ли я венерические болезни или наркотики. Порой хотелось послать по-русски сверхбдительных и идиотски доверчивых чиновников – ну кто бы им признался, что виза ему нужна для того, чтобы провести пару килограммов героина в

столицу Великобритании?! Однако я соблюдал предельную политкорректность – уж очень хотелось взглянуть на страну, чей язык я зубрил с пятого класса и до седой бороды, страну, знакомую по трагедиям Шекспира и детективам Конан Дойла, романам Диккенса и Олдингтона, по картинам, фильмам, анекдотам, учебникам истории и географии. Мне доводилась огибать Британию на подводной лодки с севера и проходить Ла-Маншем на надводных кораблях, видеть издали, в бинокль, знаменитые белые меловые скалы. Теперь же брезжила вполне реальная возможность вступить на землю железного Кромвеля и не менее броненосного Черчилля, полярного первопроходца Роберта Скотта и изобретателя паровоза Джорджа Стефенсона, Роберта Стивенсона, автора любимого с детства «Острова сокровищ», и адмирала Нельсона, и лорда Байрона, наконец, принцессы печального образа Дианы и…Колди Домерщиковой, урожденной Иден, родившей в феврале 1917 года в азербайджанском городе Гяндже мальчика по имени Питер. Наконец, все формальности были улажены и мой заграничный паспорт украсила британская виза.

Туманный Альбион задернулся облаками еще за час до подлета к Ла-Маншу.

«Не верю!» – сказал я фортуне, когда наш Ил-86 вынырнул из тяжелой сырой тучи прямо над центром Лондона и в иллюминаторе, как на обложке учебника английского языка, возникло здание Вестминстерского дворца с высоченной

башней Биг Бена, выгнулась в скрепах великолепных мостов темно-серая Темза, открылись зубчатые башни Тауэра, стоящий против него крейсер вроде нашей «Авроры»…

Мог ли я подумать, скажем, в пятом классе, когда на парту впервые лег учебник английского языка с величественной часовой башней на обложке, или стоя на мостике подводной лодки, которая обходила страну вероятного военного противника с севера, прорываясь сквозь фареро-шетландский противолодочный рубеж, или собирая в не столь давние времена бесчисленные подписи на характеристику перед поездкой в братскую Болгарию, мог ли я подумать, что однажды вот так вот одним взглядом окину этот недосягаемый неприкасаемый непостижимый город?

ИЛ-86 величаво разворачивался над центром столицы. Увесистые турбогондолы на правом крыле размашисто качались над жилыми кварталами, парками, доками, рекой, потом они лихо пронеслись над шоссе – двухэтажный автобус резво проскочил под брюхом заходящего на посадку аэробуса – и, наконец, застыли над серой гладью крупнейшего в мире леталища – аэропорта Хитроу. «Хитровка», как сразу же окрестили его наши люди, москвичи.

Боинги, виражирующие над Темзой, выплывающие из-за главной часовой башни парламента – Большого Бена, – такая же привычная деталь лондонского пейзажа, как голуби на Трафальгарской площади или вороны над бастионами Тауэра. И только после печально известной авиакатастрофы в

Иркутске, когда многоэтажный жилой дом протаранил воздушный гигант, лондонцы стали с тревогой поглядывать и на свое собственное небо. Все-таки нешуточное это дело, когда стотонные крылатые махины каждый час проплывают над крышей твоего дома, над кварталами густо населенного центра, над уникальными архитектурными ансамблями. Неизвестно, что там решат городские власти, но пока со всех направлений, по всем высотным эшелонам на Лондон движутся, заходят, снижаются лайнеры всех авиакомпаний мира. Дай им всем мягкой посадки, Боже! И да не дрогнет рука пилота на штурвале и не собьется глаз диспетчера на экране!

Лондонцам старшего поколения моторный гул за облаками будоражит память, в которую навсегда врезали свои звуковые дорожки эскадры гитлеровских бомбардировщиков. Натужно-ноющий вой перегруженных бомбовозов и сейчас еще можно услышать в военных музеях Англии, где весьма натуралистично воспроизводятся звуковые картины воздушной войны в небе Британии.

Лондон. Февраль 1998 года

Знакомиться с Лондоном я отправился без особого плана. Вышел наугад в центре города из станции метро «Пикадилли», и оказался перед памятником, на котором были выбиты очень родные слова: «Севастополь. Инкерман». Это был монумент королевским гвардейцам, которые штурмовали полтораста лет тому назад бастионы Севастополя. Вот и не верь после этого в Провидение! Ведь только что в Севастополе

бродил по английскому кладбищу, восстановленному и приведенному в идеальный порядок силами местных энтузиастов.

То была последняя война, в которой русские и английские солдаты стреляли друг в друга. Потом, как бы ни враждовали наши политики, но в самых главных европейских и мировых войнах мы всегда оказывались вместе – будь то битвы с наполеоновской армией или сражения с войсками кайзера, вермахтом Гитлера.

На той же самой улице – Регент-стрит – я не смог пройти мимо бронзовой фигуры лыжника. Он стоял в неприметном и весьма затененном углу. «Роберт Скотт» – прочитал я на гранитном постаменте. «Сей памятник воздвигнут офицерами королевского флота». Капитан Роберт Скотт – один из покорителей Южного полюса планеты. Он погиб в том же роковом 1912 году, в каком безвестно сгинули и наши, русские первопроходцы в Арктике – Владимир Русанов и Георгий Брусилов. Эта печальная дата да неуемная жажда открытий роднят их, как побратимов. Роберт Скотт замерз в Антарктиде, не дойдя всего лишь одиннадцать миль до склада с продовольствием. Теперь он, бронзовый, навечно в сердце Лондона – на Регент-стрит… Жаль, что у нас не нашлось металла ни для Русанова, ни для Брусилова. Жаль, что не нашлось места для их пьедесталов ни в Москве, ни в Питере, ни в Архангельске…

План розыска Питера Домерщикова был прост и состоял

из двух пунктов: первое, попытаться разыскать родственников бывшего военно-морского агента России в Великобритании (военно-морского атташе) контр-адмирала Николая Александровича Волкова, который занимал этот пост с 1913 по 1919 годы. После гражданской войны он навсегда остался в Лондоне, возглавив кают-компанию офицеров бывшего императорского флота. Уж он-то, точнее, его потомки, наверняка бы смогли что-нибудь рассказать о судьбе жены Домерщикова. Но Николай Александрович почил в Бозе в 1954 году. О нем я знал лишь, что прах адмирала-дипломата, бывшего командира яхты морского министра «Нева» покоится на сельском кладбище в Бромптоне да еще то, что где-то в Лондоне отставной адмирал держал маленький ресторанчик. Знать бы хотя бы, какой именно, уже можно было бы начинать поиск. Но, увы…

Пункт второй: навестить внучку известного русского дипломата в Британии графа Александра Бенкендорфа (сына начальника одиозного III отделения) – Наталию Константиновну Брук, чей отец был офицером русского флота и вполне мог знать как самого Михаила Домерщикова, так и его жену-англичанку.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Старший лейтенант Константин Александрович граф Бенкендорф участвовал в обороне Порт-Артура, ходил в боевые походы на эскадренном броненосце «Ретвизан», которым командовал капитан 1-го ранга Э. Щенснович. Был ранен, награжден боевыми орде-*

нами.В годы первой мировой войны воевал на линкоре «Полтава» в качестве старшего артиллериста. После октябрьского переворота служил в Главном штабе Красного флота, но в 1924 году эмигрировал в Англию, где находился его отец – Александр Александрович граф Бенкендорф, многие годы представлявший интересы России в Англии. Там прожил долгую и вполне счастливую жизнь, мирно почив в Бозе в 1959 году.

С Натальей Константиновной Бенкендорф я познакомился в Москве на конгрессе соотечественников в 1991 году. Было такое замечательное собрание потомков русских эмигрантов первой волны – перед самым августовским путчем и даже во время него. Знакомство вышло скоропалительным. Наталья Константиновна, возглавлявшая в Англии Пушкинское общество, оставила визитную карточку и произнесла замечательную, почти фантастическую по тем временам фразу: «Будете в Лондоне – заходите!» Кто мог подумать, что однажды так все и случится. И вот я разыскиваю на площади Онслоу дом, где живет миссис Брук, она же дочь старшего артиллериста с линкора «Полтава», правнучка шефа корпуса жандармов, любимца императора Николая I.

Разговор наш, как и следовало ожидать, состоялся у старого камина в окружении старинных вещиц, фотографий, картин. Это была классическая дворянская гостиная, выдержанная в духе середины XIX века.

– Папа был настоящим моряком, понимаете? Настоя-

щим! – Взволнованно рассказывала Наталья Константиновна. – У него даже татуировка была на левой руке – дракон, обвивающий кортик. Это в память о пребывании в японском плену. А вот за то, что папа служил у большевиков, его называли в Лондоне «красным графом»… Отец написал и выпустил в свет свои мемуары – «Полжизни». Это книга – о России, о ее флоте, о ее людях. Очень бы хотелось, чтобы однажды она вышла на русском языке.

И как же продолжился род Бенкендорфов в Англии?

– От моего брака с мистером Бруком родилась дочь София, которая подарила нам трех внуков – Александра, Николая, Льва – и внучку Беатрис. У Александра, это наше родовое имя, родился недавно сын Федор. К сожалению, несмотря на русские имена, никто из них не владеет языком моего прадеда. Точнее сказать, языком Пушкина. Я последняя, кто может на нем писать и изъясняться. У меня большая библиотека, где рядом с книгой отца стоят и томики пушкинских стихов… Хожу в русскую церковь в Лондоне – Успения Божией Матери и Всех Святых, и молюсь за дочь, внуков и за Россию.

– Не знакома ли вам случайно фамилия Домерщиковых?

– Нет, никогда не слышала… Если он морской офицер, то, может быть, отец упомянул его в своих мемуарах…

Наталья Константиновна сняла с полки книгу, и я стал выискивать по страницам довольно броское сочетание латинских букв – Domerschikov. Однако ни разу оно не попалось.

– Лучше всего вам пойти в нашу церковь. Среди прихожан немало старых русских людей. Может быть, кто-то из них что-то знает…

Собственно, ничего другого и не оставалось. Тем более, что и о Колди Иден Наталья Константиновна тоже ничего не слыхала.

На другой день, следуя совету Натальи Константиновны, я отправился в русский храм, благо он находился не столь далеко от моей гостиницы, которую содержали греки-киприоты. Пройдя через Гайд-парк и поплутав слегка по незнакомым улочкам, я все же вышел к церкви Успения Божией Матери и Всех Святых. Службы не было, и храм был почти пуст. Кто знает, может быть, сюда заглядывал и сын Домерщикова? Все-таки он был крещен в России, знал русский язык с детства… Староста храма – немолодая женщина в черном платке – терпеливо выслушала историю моих поисков и посоветовала побеседовать с неким Петром Николаевичем, старейшим прихожанином, который жил неподалеку и был, как выразилась староста, «большим историком России». На мое счастье, «большой историк России» должен был прийти к обедне. Побродив по окрестностям Гайд-парка, я вернулся в храм к началу обедни, и староста показала мне взглядом на высокого сухого старика с аккуратной белой бородкой. Я встал за ним и терпеливо дождался конца службы. На паперти церкви я представился ему и протянул визитную карточку. Он долго вчитывался в мою фамилию.

– Простите, вы не имеете родственного отношения к Семену Моисеевичу Черкашину? – Спросил он, изучая уже не визитку, а мою физиономию. – Сотнику Собственного Его Императорского Величества Конвоя? Из казаков станицы Терновской Кубанской области? Я имел честь знавать его в Америке…

Вопрос был слишком неожиданным, что называется, в лоб. Я несколько опешил:

– В нашей жизни все может быть… Правда, я впервые слышу это имя. Но в Японии всех однофамильцев считают родственниками… Он жив?

– Нет. Почил в Бозе в 1973 году в Вайленде. Интересный был человек. Всю гражданскую войну в Русской армии вплоть до эвакуации из Крыма. Выживал с казаками на острове Лемнос… Я, видите ли, всю жизнь занимаюсь историей казачества.

Мы разговорились довольно дружески. История лейтенанта Домерщикова и его сына вполне тронула Петра Николаевича, он обещал навести кое-какие справки по Дикой дивизии. Не ожидая от нового знакомого особых открытий, я пригласил его на завтрак в свой скромный отель «Никки». Приглашение было принято. И на утро Петр Николаевич пришел в точно назначенный час с объемистым пакетом в руках.

– Возможно, это и не представляет для вас особого интереса, – сказал он за чашкой чая, – но мне бы хотелось вы-

полнить посмертную просьбу друга. Давным-давно он служил корнетом в лейб-гвардии конном полку. Собрал небольшую коллекцию фотографий. Просил меня передать все это в Россию.

На стол легла стопка дореволюционных фотографий на толстом паспарту и снимки, сделанные в первые изгнанические годы. В основном это были портреты членов царской семьи, взятых в самодельные рамочки, групповые снимки офицеров-кавалеристов, любительские фото на плохой бумаге времен первой мировой войны. Два снимка показались особенно интересными: Великий Князь Николай Николаевич, бывший главнокомандующий русской армией в первые годы войны, был снят в Ницце возле авто. Ничем другим порадовать Петр Николаевич, тезка Врангеля, как горделиво он заметил, не смог. Я уже хотел было распрощаться, как он спохватился и достал ксерокопию журнального разворота.

– Мне кажется, это про вашего героя. Посмотрите. Я переснял это из «Военной были».

Я пробежал первые строки и тихо ахнул. Статья называлась «Мичман «Сорви-голова» и рассказывала о конно-подрывном отряде – по сегодняшней терминологии «спецназе» – Дикой дивизии. И хотя нигде не было названа фамилия Домерщикова, речь, конечно же, шла именно о нем. Писал известный в русском зарубежье литератор, капитан 2-го ранга А. Лукин:

«Разумеется, обучить этих горных орлов (бойцов Ди-

кой дивизии. – Н.Ч.) пользоваться пулеметом и динамитом было делом совершенно безнадежным, почему и пришлось сформировать для дивизии специальный конно-пулеметно-подрывной отряд. Сформировали его из добровольцев-моряков: офицеров и матросов Балтийского флота. Командовал отрядом капитан 2-го ранга Страдецкий, имея помощниками лейтенантов О'Бриэн-де-Ласси и Потоцкого. Матросы почти все были из разряда штрафованных (дисциплинарного батальона), которым таким образом давалась возможность заслужить прощение. И, нужно заметить, матросы с честью заслужили его. Все вышли с Георгиевскими крестами. Так же как и остальные, они были одеты в папахи и черкески.

Среди матросов двое обращали на себя особое внимание. Матрос 2-й статьи Домерщиков – разжалованный по суду лейтенант, человек храбрости и находчивости изумительной, и притом самообладания олимпийского, матросы, да и начальство, с величайшим уважением относились к нему. Он не только заработал полный бант солдатских Георгиевских крестов и вернул себе потерянный чин, но за отличие получил следующий и был награжден Владимиром с мечами, золотым оружием и орденом Св. Георгия IV степени. Под стать ему был и другой герой Дикой дивизии, Герасим Шарловский, 50-летний доброволец, пришедший из запаса бывший машинный унтер-офицер Тихоокеанского флота, артурец и георгиевский кавалер, сподвижник Подгурского. Здесь

в дивизии заработал он свои остальные кресты.

На заре 21 января 1915 года дивизия втянулась в наступательный бой на самборском направлении, имея перед собой австро-венгерские части. На левом фланге боевого участка бригады генерала Хагондокова находились две роты второочередного 240-го пехотного Ваврского полка, давно засевшие на изолированной, неприступной высоте 763, в наспех вырытом окопе. Как и почему они забрались туда, неизвестно, но положение их было критическим, так как находившийся на той же сопке, только несколько повыше, австрийский редан, отлично укрепленный, крошил их денно и нощно пулеметным огнем. Этот редан царил над всей окрестностью, держа под огнем подступы к высоте и плато, на которое вышла хагондоковская бригада. Однако, несмотря на сильный урон и полную отрезанность от тыла, с которым сохранялась только телефонная связь, австрийцам никак не удавалось выбить ваврцев: те, что называется, зубами вцепились и не отступали ни на шаг. Чем они там питались и как справлялись со своими ранеными (вывезти их не было никакой возможности), одному Богу известно. О командире этого героического окопа, подпоручике Полубояринове, которого никто не знал и о котором до сих пор никто ничего не слышал, уже начали слагаться легенды. Судьбе было угодно, чтобы на долю конно-пулеметно-подрывного морского отряда выпала честь не только выручить героев, но и разделить с ними лавры победы.

Случилось это вот как.

22-го, на рассвете, в отряде, ночевавшем в нескольких верстах от хагондоковцев, получили полевую записку с приказанием штаба дивизии выслать 2-й конно-пулеметно-подрывной взвод в распоряжение генерала Хагондокова. Взводом командовал мичман Сорви-голова. Взвод немедленно повскакал на коней и, захватив пулеметы и подрывное снаряжение (в упряжи, по типу горных батарей), тронулся в путь. Утро стояло чудесное, солнечное, морозное.

Быстро спустившись со скалистых теснин, взвод вступил в зону шрапнельного огня. Обстрелянные молодцы внимания не обращали. Четко слышался в морозном воздухе перебор пулеметов.

«Короче повод! Рысью ма-а-арш!»

Со стороны посмотреть – чем не кавалерия? Если бы не Шарловский, никому бы невдомек, что кавалерия-то флотская. Старому машинному унтер-офицеру трудновато приходилось на коне.

Но вот и штаб бригады. Издали узнали высокую, статную фигуру генерала Хагондокова в черкеске, с биноклем и «Георгием» на груди. Смотрит. Ребята подтянулись. Шарловский старательно поприжал локти. Строг был генерал, но храбрейший, а уж к всадникам – как отец родной. Шли за ним без оглядки. Генерал что-то диктует начальнику штаба (графу Келлеру), тут же сидящему на бурке перед разложенной картой.

Мичман Сорви-голова осадил взмыленного коня.

– Ваше превосходительство, 2-й конно-пулеметно-подрывной взвод Балтийского флота прибыл в ваше распоряжение!

Генерал улыбнулся, подошел, пожал руку, похлопал коня.

– Здорово, моряки!

– Здрав-же-приство! – лихо ответили, как один.

Взвод спешился. Мичмана генерал потребовал к себе. Задача дана была такая: пробраться к вавpцам и взорвать австрийский окоп.

Когда Сорви-голова и Шарловский подошли к пропасти, окружавшей сопку со всех сторон (кроме той, где сопка прилегала к плоскогорью, занятому австрийцами), и заглянули в нее, оба затылки почесали. Пропасть зияла обледенелыми утесами, из глубины виднелись верхушки сосен, занесенных снегом. Спускаться по этаким отвесам – костей не соберешь. Было над чем призадуматься. Однако мичман недолго ломал голову. Решил действовать по-флотски: смастерить леерное сообщение и таким путем переправить через пропасть «максимки» (пулеметы), подрывное снаряжение и людей. В зарядных ящиках нашлись необходимые концы, парусина, даже блоки (матросы всегда останутся матросами). Словом, когда наутро начальство вышло, от взвода остались только зарядные ящики да кони. В белых балахонах, наметанных на живую нитку из парусины, сливаясь со снегом и потому незаметные для австрийцев, матросы уже под-

крадывались к окопу вавpцев, предупредив их по телефону. К двум часам ночи они были уже там.

Ужаснулись. Не люди сидели и стояли в окопе, а тени. Оборванные, грязные, обросшие, почти все перераненные, еды – никакой, кроме промозглых сухарей, которых и топором не разрубишь, да какая-то бурда на талом снегу. Но все винтовки в исправности, вычищены, смазаны, патроны разнесены. Тут же, сквозь прозрачную корку льда, просвечивают зарытые трупы. Вот они, герои-то! Слезы навернулись.

– Где же ваш командир? Проведи к нему, – обратился Сорви-голова к подвернувшемуся безусому солдатику в рваной шинелишке.

– Это я, – ответил тот, застенчиво улыбаясь. – Позвольте представиться – подпоручик Полубояринов.

Мичман даже отступил (только тут он заметил офицерскую кокарду).

Среди этих отцов-бородачей он казался мальчиком, почти ребенком. А вот поди ж ты… Сорви-голова обнял его…

Матросы со своими громадными пулеметами, непонятными цинковыми ящиками и блестящими чехлами от взрывателей внесли много бодрости и оживления. Раненых перевязали, накормили, заварили свежего чаю, а главное – поделились табачком: курева давно не хватало. Так, с кружками горячего чая и цигарками, всем скопом принялись обсуждать положение. И вот какую штуку надумали: хитростью захватить редан.

План разработали такой: Сорви-голова вместе с восемью смельчаками ночью, в белых балахонах, с подрывными патронами и ручными гранатами, обойдет редан с тыла и там в разных местах заложит патроны. Со взрывом первого (эффект взрыва грандиозен: 18 фунтов тринитротолуола) вавpцы открывают бешеный пулеметный огонь и несмолкаемым «ура» создают впечатление атаки, поддержанной внезапно подошедшим подкреплением. Тем временем в тылу редана страшные взрывы следуют один за другим, создавая вид окружения и порождая панику. Тогда-то вавpцы с оставшимися матросами бросаются на штурм. План постановили осуществить на следующую ночь.

В назначенный час семь матросов во главе с мичманом и Шарловским выступили. Хоть и темень, но ориентироваться можно. Двигаются осторожно, обходя кустарники и ветви, чтобы не хрустело: могут быть «секреты». Временами даже ползут, зорко прислушиваясь. Долго так обходили, пока наконец не добрались.

Землянка! Отдушина розоватым отблеском озаряет ветки кустарника. Сторожевое охранение… Тихонечко заложили первый патрон. Отползли. Подальше заложили второй. Тишина мертвая. Изредка доносятся одиночные выстрелы из ружей. Так, кротами, в разных местах заложили все восемь патронов.

В три утра ахнул первый. В тишине горной ночи впечатление – ужасающее. Страшный столб огня, снега, земли,

камней, вывороченных деревьев. А оттуда, от вавpцев, заговорили пулеметы и понеслись крики «ура»…

У австрийцев – галдеж, смятение.

Второй взрыв, третий! Потом четвертый! Один ужаснее другого. Полагая, вероятно, что сейчас взлетит на воздух сам редан, австрийцы бросились вон. Но тут под их ногами рванул шестой, затем разом – седьмой и восьмой. Светопреставление… Трудно представить себе панику.

Шальная пуля угодила в мичмана. Он упал. Шарловский бросился к нему.

– Не помирай!… Подожди!… Наша взяла! – бессмысленно бормотал он, склонившись над командиром, прикладывая снег и им же обтирая лицо.

К счастью, рана была не опасной. Когда Сорви-голова очнулся, «ура» уже неслось с самого редана.

Сдалось 380 австрийцев с 18 пулеметами…»

Ну что ж, уже ради этих страниц стоило пробивать все консульские преграды и прилетать в Лондон. За всем остальным, то есть за архивом первой жены Домерщикова, надо было лететь в противоположном направлении и другое полушарие Земли – в южное, в Австралию. Невольно повторялась история капитана Гранта, которого искали в Южной Америке, а его забросило в Австралию. Забегая вперед, сообщу: из личных анкет Домерщикова, написанных им в разные советские годы, стало известно, что в 1925 году Колдил Яковлевна Иден, первая жена героя этих строк, выхлопота-

ла в Лондоне разрешение на возвращение домой, то есть в Австралию. И поиск Петра Михайловича Домерщикова надо вести в Сиднее…

Вглядываюсь в старый снимок, сделанный Великим князем. На нем Домерщикову тридцать три. Это возраст свершений, и хотя поза ди полжизни, вместо взятых вершин – нулевая отметка. Его однокашни ки командуют кораблями, а у него на плечах погоны рядового. Где-то в Петрограде осталась красавица-жена, почти не знающая русского языка. Еще дальше, в немыслимо далекой Австралии, брошены вилла и дом полная чаша… Но на лице его ни тени уныния, напротив – злая решимость прострочить дорогу в будущее огнем из пулемета.

Легко быть прорицателем, зная судьбу своего героя наперед. О, если бы можно было через световую магию фотографии связаться с ним напрямую! Я бы сказал ему: «Выше голову, младший унтер-офицер Домерщиков! Через считанные месяцы вы вернетесь на флот. Вы еще станете капитаном и поведете свой пароход в большое плавание. Будут Япония и Китай, Цейлон и Сингапур, Египет и Италия, Англия и Франция… Ни одна пуля вас не тронет, и вы счастливо переживете гибель двух кораблей, ибо тот не утонет, кому суждено умереть от голода… Да, впереди еще немало бед и превратностей. Будет боль по потерянному сыну, но будут и семь лет, полных мужского, отцовского счастья. Будет любимая и любящая женщина. Будут надежные друзья. Будут

злые наветы и горькая чаша, но доведется – и не посмертно, а при жизни – ощутить торжество справедливости. И самое главное – будет Родина, обретенная навсегда. Будет флот – до конца жизни. И навечно пребудут дедовские мосты над Невой, и на вечную стоянку встанет корабль вашей мичманской юности – высокотрубная красавица «Аврора».

Глава одиннадцатая
ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Москва. Январь 1986 года

Телефонный день. Звоню в Министерство морского флота, звоню в Советский комитет ветеранов войны, звоню в Главный штаб ВМФ – разыскиваю ветеранов довоенного ЭПРОНа, тех людей, кто служил вместе с Домерщиковым, кто хоть что-то может о нем рассказать… Как мало их осталось! И ведь не бог весть какая старина – тридцать восьмой, сороковой годы. Этот умер, тот погиб, умер, умер, погиб, инфаркт, инсульт, рак…

Имя ЭПРОНа гремело в довоенные годы. То была мощная и авторитетная, как сказали бы сейчас, фирма. История ее рождения могла бы стать сюжетом приключенческого романа. В 1923 году на Черном море была образована по приказу Дзержинского водолазная группа для поиска золота с затонувшего во времена Крымской войны английского парохода «Принц».

С этого авантюрно-романтического задания и началась весьма серьезная деятельность ЭПРОНа.

Эпроновцы извлекали из толщи ила орудийные башни взорвавшейся «Императрицы Марии», водолазы Экспеди-

ции подняли затопленную под Новороссийском эскадру, заставили всплыть дюжину пароходов, погибших в годы первой мировой и гражданской войн… К началу Великой Отечественной эпроновцы вырвали из подводного плена около 450 боевых кораблей и судов, спасли от гибели 188 терпевших бедствие пароходов.

Уже на шестой год своих героических подводных работ Экспедиция была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

С 1931 года ЭПРОН становится всесоюзной самостоятельной организацией. Правда, в оперативном отношении она подчинялась Наркомату Военно-Морского Флота, да и структура ее была военной. По сути дела, ЭПРОН представлял собой флот во флоте. В его распоряжении были десятки спасательных судов, морских буксиров, катеров, водолазных ботов, огромный понтонный парк. ЭПРОН имел свой техникум, свой журнал, свою газету, свой санаторий и даже свой совхоз.

Душой ЭПРОНа, его флагманом и комиссаром был человек ярчайшей судьбы – контр-адмирал Фотий Крылов.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Фотий Иванович Крылов возглавил ЭПРОН в 1931 году. Большевик с 1915 года. Служил матросом-комендором на «Александре II». В феврале семнадцатого за храбрость и инициативность был произведен в прапорщики по адмиралтейству. Но уже в октябре, сняв офицерские погоны, Крылов обучает в Кронштад-*

те пулеметную команду Красной гвардии. В восемнадцатом он старший артиллерист на корабле «Верный». Это тот самый «Верный», что в историческую ночь стоял на Неве вместе с «Авророй». В трудные годы блокады «Верный» так же, как и его бывший старарт, станет спасателем.

Беспокойная судьба Крылова бросала его на моря Белое и Черное, на Каспий и Балтику, и всюду он был на высоте положения. Он не засиживался в кабинетах и лично возглавлял самые сложные, самые ответственные судоподъемные операции, будь то спасение «Сибирякова» или подъем «Садко». Его любили, его знали, им гордились. Его называли «Чкаловым подводных глубин». О нем писали Алексей Толстой, Вячеслав Шишков, Иван Соколов-Микитов…

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«Фотий Иванович очень переутомлен, силы надорваны; ему еще нет сорока, а его густые, торчком, вихры над высоким лбом – с проседью. О Крылове надо много писать, его жизнь есть путь подлинного революционера и преданного строителя социализма. Он всегда на деле, всегда там, где требуется воодушевление, натиск, последний удар воедино собранных сил» (Вячеслав Шишков).*

«Самое замечательное в этом… крепком духом человеке – его простота, отвращение к позе, его умение заражать энергией и волей к победе работающих с ним людей. Поразительна его неутомимость, хороша его улыбка, детским простодушием освещающая лицо» (И. Соколов-Микитов).

Вот такой человек принял деятельное и смелое участие в

судьбе бывшего кавторанга Михаила Домерщикова. Он взял его к себе в ближайшие помощники, не обращая внимания на косые взгляды, наветы и сложное прошлое этого моряка. Взял, потому что знал его еще с двадцатого года (если не раньше), когда по направлению ЦК РКП(б) работал в торговом порту Петрограда.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Лондонский порт. Темза. На фоне океанского суперлайнера скромный морской трудяга товаро-пассажирский пароход «Рошаль»: белые надстройки, черная труба, красный флаг на гафеле.*

Это был старый пароход с такой же непростой боевой судьбой, как и у его капитана.

Его построили в 1899 году в Гулле и нарекли «Великим князем Александром Михайловичем». В апреле 1915 года пароход мобилизовали и зачислили в состав Балтийского флота. В октябре семнадцатого экипаж «Великого князя» перешел на сторону революции, и в восемнадцатом пароход получил свое новое имя. «Рошаль» участвовал в героическом Ледовом переходе из Гельсингфорса в Кронштадт, когда были спасены основные силы Балтийского флота.

Затем его разоружили и передали в ведение Мортрана, где он ржавел целых два года у портовой стенки, пока его снова не призвали на военную службу. В 1923 году его передали Трансбалту и определили на заграничную линию Ленинград – Гавр – Лондон.

Молодой торговый флот республики, обескровленный

войнами, нуждался даже в таких стариках, как «Великий князь», едва выжимавший из своих полутора тысяч паровых лошадиных сил одиннадцатиузловый ход. Каждый рейс на таком судне, с расхлябанной машиной, с протекающим корпусом, был подвигом. Но главный свой подвиг «Рошаль» совершил на сорок пятом году многотрудной жизни. Старый пароход и его бывалый капитан – оба, хоть и порознь, – дотянули до Великой Отечественной, и каждый, как мог, приблизил День Победы.

«Рошаль» под командованием капитана А. Соболева обслуживал береговые части Северного флота – ходил под обстрелом немецких батарей в Мотовский залив, доставлял воинские грузы защитникам Кольского полуострова.

В феврале 1944 года «Рошаль» вышел за рыбой для действующего флота в Индигу. Обычно туда пробивались только ледоколы. Но обстановка вынудила отправить старый, вконец изношенный пароход, не имеющий никаких ледовых подкреплений. «Рошаль» пробился. За тот рейс его капитан был награжден орденом. А надо было бы и флаг парохода украсить орденом…

Я вращаю диск весь день. Телефон – идеальная машина поисков. В блокноте моем растет столбец телефонных цифр и фамилий. Бесконечное вычитание номеров из номеров, имен из имен, пока наконец не находится искомое: Николай Петрович Чикер и семь цифр его ленинградского телефона.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Контр-адмирал-инженер в*

отставке Николай Петрович Чикер начинал свою службу в довоенном ЭПРОНе. С 1957 по 1972 год возглавлял аварийно-спасательную службу Военно-Морского Флота. На его счету десятки уникальных операций по подъему затонувших судов и спасению экипажей подводных лодок. Лауреат Государственной премии СССР.

Имя Чикера мне было знакомо по службе на Северном флоте. Я изучал подписанные им инструкции по аварийно-спасательному делу, я встречал эту фамилию под предисловиями к увлекательнейшим книгам о судоподъеме. В моих глазах этот человек представал хранителем многих морских тайн, и то, что он лично знал Домерщикова, и знал, как выяснилось из предварительного телефонного разговора, с самой лучшей стороны, бросало особый свет и на моего героя, и на самого адмирала.

Ленинград. Февраль 1986 года

Прямо с Московского вокзала еду к Парку Победы, близ которого жил Николай Петрович Чикер.

Грузный человек с седой шевелюрой открыл мне дверь. Кабинет с моделями кораблей, украшенный чеканкой и картинами на морские сюжеты, с «сухим аквариумом» из кораллов, являл тихую гавань бывалого моряка. Здесь мы и расположились.

Николай Петрович листал свою книгу «Служба особого назначения», выискивая фотографию Домерщикова. То был рабочий экземпляр, в который автор от руки дописывал все-

возможные уточнения и дополнения. Под портретами друзей и сослуживцев мелькали скорбные даты: «умер…», «погиб в…», «умер…». Скорбная и гордая поминальная книга… Старый адмирал листал не страницы, а годы своей жизни.

К сожалению, на групповых снимках Домерщикова не оказалось. Тогда Чикер стал рассказывать то, что помнил:

– С Михаилом Михайловичем я познакомился в конце тридцатых годов. Это был обаятельный интеллигентный человек с выправкой флотского офицера. Правильная речь старого петербуржца, мягкие манеры, высокая морская культура – все это его выделяло…

Флагманский штурман ЭПРОНа? Такой должности у нас не было. Домерщикова называли так в шутку. Он неизменно присутствовал на разборах судоподъемных операций… Седой, вдумчивый… В морской форме без знаков различия. Работал он в штабе ЭПРОНа в качестве консультанта и переводчика. В совершенстве зная английский, а также французский и немецкий, он держал руководство ЭПРОНа в курсе всех новинок зарубежного судоподъема. Начальник ЭПРОНа, а это был весьма незаурядный, можно сказать, легендарный человек – флагман второго ранга Фотий Иванович Крылов, очень ценил своего помощника.

Разница в возрасте мешала мне сблизиться с Домерщиковым, но мы, молодые корабельные инженеры, с большим уважением относились к этому человеку.

Незадолго до войны мне пришлось поднимать корабль, на котором Михаил Михайлович ходил в Цусиму, – крейсер «Олег». В гражданскую английские катера торпедировали его, и он затонул в районе Толбухина маяка. Затонул неудачно – нос его выходил в Морской канал и мешал судоходству. Попробовали поднять «Олега» на понтонах, но илистый грунт слишком прочно присосал корабль. Решили взорвать крейсер старыми шаровыми минами. Подвели их под наиболее уязвимые места корпуса. Взорвали. Пол-Кронштадта осталось без стекол. Но мины лишь проделали трубообразные пробоины. Пришлось резать перемычки и поднимать «Олег» по частям…

Я спросил Чикера, где размещался до войны штаб ЭПРОНа, и он объяснил, как разыскать последнее место службы моего героя.

«Волга» с шашечками на борту с трудом продвигалась по Невскому. Над Ленинградом только что отбушевала метель, и посреди проспекта тянулся высокий снеговой гребень, сметанный автоуборщиками. В ветровом стекле тускло золотился граненый, как клинок кортика, шпиц Адмиралтейства.

Я ехал на набережную Красного Флота (бывшую Английскую). Там у моста, где мемориальным камнем помечена историческая стоянка «Авроры», глядит окнами на Неву здание не бог весть каких статей. В великолепной шеренге аристократических особняков, протянувшейся от Зимнего дворца вдоль Невы, дом № 34 почти неприметен: ни колон-

над, ни широкогрудых атлантов, ни каменных львов… Внимательный прохожий, разглядывая фасад, будет немало озадачен, когда увидит среди гипсовых гирлянд и маскаронов, составляющих скромный декор здания, штурвалы, якоря и водолазные шлемы, вылепленные по фризу верхнего этажа. Это след легендарного ЭПРОНа. В сорок пятом, ремонтируя штабное здание, матросы-эпроновцы украсили его на свой вкус.

Бывает так, и геологи это знают, – расколешь иной невзрачный булыжник и ахнешь: сердцевина сверкнет вдруг гроздью аметистов. Вот такое же чувство возникло у меня, когда я заглянул внутрь дома № 34.

Поднявшись по широкой парадной лестнице, я попал в… высоченный грот с бетонными сталактитами, с перламутровыми морскими раковинами, вмурованными в бугристые дикие стены. Это было так неожиданно и так натурально для штаб-квартиры Экспедиции подводных работ… Я подумал, что это наверняка идея Фотия Ивановича Крылова – разрядить казенную учрежденческую обстановку столь романтическим сооружением. Куда как символично: путь в кабинет «флагмана затонувших кораблей» пролегал под сводами подводного грота.

Меж сталактитов поблескивала застекленная фигурная дверь. Я приоткрыл ее и ахнул: в глазах зарябили золоченые арабески Мавританского зала. Открыл еще одну дверь и попал в роскошный барочный Белый зал, в котором людно да-

же тогда, когда он пустует, людно от присутствия множества лепных нимф, атлантов, муз, кариатид, античных богов…

Право, сюда стоило прийти, как в некий филиал Эрмитажа, филиал негласный, неофициальный… Водил меня по этим залам немолодой дежурный электрик в синем техническом халате – Александр Арвидович Пернов. Роль добровольного экскурсовода взял он на себя не скуки ради и не по распоряжению начальства, а потому, что проработал в доме № 34 четверть века и не без основания считал себя старожилом и знатоком этого прекрасного здания.

Пернов провел меня в бывший кабинет начальника ЭПРОНа (его занимал теперь главный врач флотской поликлиники). Кабинет, где обсуждались планы уникальных судоподъемных операций, рождались дерзкие идеи, разбирались подводные поединки, кое-что сохранил из своего былого великолепия: темные дубовые панели, хрустальную люстру, камин черного мрамора с бронзовыми виньетками и зеркалом, которое еще помнило коренастого энергичного адмирала с кудрявой проседью черных волос. Помнило оно и высокого седобрового моряка в кителе без нашивок, не раз молвившего на «крыловских ассамблеях» свое веское слово военспеца.

Море не оставило этот дом и поныне. Над его парадным горит красный неон: «Маяк». Большую часть здания занимает заводской клуб старейшей русской верфи – Новоадмиралтейского производственного объединения. Со стапелей

этой верфи, основанной еще Петром, сошли и первый русский пароход «Екатерина», и первый русский броненосец «Петр Великий», и все те корабли, с которыми была связана жизнь эпроновца Домерщикова, – «Аврора», «Олег», «Пересвет»…

Отсюда, из окон этого кабинета, в октябрьскую ночь семнадцатого года хорошо была видна «Аврора», бросившая якорь напротив – у Николаевского моста. И отблеск выстрела ее бакового орудия полыхнул и исчез в таинственной глубине надкаминного зеркала…

Я верю в магию старых стен, верю в их способность помогать всякому, кто пытается постичь прошлое не только с помощью бумаг и музейных экспонатов… Именно поэтому ветерану ЭПРОНа, заслуженному изобретателю РСФСР Анатолию Федоровичу Мауреру (номером его телефона снабдил меня Чикер), я позвонил не откуда-нибудь, а из бывшего крыловского кабинета. Энергичный голос сообщил, что он, Маурер, хорошо знал Домерщикова как замечательного специалиста и как человека прекрасных душевных качеств. Перед самой войной Крылов назначил его наблюдающим за постройкой специализированных спасательных судов для ЭПРОНа – «Шлем» и «Водолаз». Последний героически погиб на Дороге жизни, что шла через Ладогу.

Все-таки странная судьба для военного моряка. Полжизни Домерщикова учили топить корабли. Но ему, видно, на роду было написано совсем иное – спасать. Он спасал ра-

неных с торпедированной «Португали», спасал матросов с «Пересвета», спасал затонувшие корабли, строил спасатели, чтобы те спасали потом жителей блокадного Ленинграда… Тут было над чем подумать…

«У КОГО БУМАГИ ДОМЕРЩИКОВА?»

«Эпроновская нить» раскрыла, увы, немногое… Нить вторая ведет меня в Дачное, на бульвар Новаторов, к двоюродной племяннице Домерщикова Наталье Николаевне Катериненко. Это единственный человек в Ленинграде, а может быть, и в целом мире, который хорошо знал Михаила Михайловича в последние годы его жизни. От Павла Платоновича я был наслышан, что Катериненко коренная ленинградка, пережила блокаду, преподавала английский язык в Арктическом училище, а ныне вышла на пенсию. Она предупреждена письмом о моем визите, и я надеюсь узнать у нее очень многое, надеюсь на невероятное – вдруг у нее сохранились бумаги Домерщикова, его походный дневник, письма?

Мы сидим в маленькой квартирке блочного дома, и я слушаю взволнованный рассказ пожилой женщины, волнуюсь сам, жадно забрасываю ее вопросами, сержусь на себя, что сбиваю Наталью Николаевну с мысли, но ничего не могу поделать.

– Дядю Мишу я запомнила уже немолодым. Но это был человек с удивительно молодой душой, несмотря на то, что ему выпало, и все, что он пережил. Он был весел, обаятелен, остроумен, прекрасно танцевал, и я, семнадцатилетняя дев-

чонка, охотно поверяла ему все сердечные тайны. Он лучше мамы мог подсказать, как нужно поступить в той или иной ситуации.

…Жили они втроем – дядя Миша, Колди и Питер – в доме в Графском переулке. Колди, высокая худая шатенка, воспитывала Питера на английский манер. Зимой и летом он ходил в коротких штанишках – с голыми коленками. Еще носил широкополую соломенную шляпу с лентой. У меня до сих пор лежит его английский букварь…

Я перелистал довольно растрепанную азбуку. Корявыми детскими буквами на полях было выведено «Domerschikow», а чуть ниже по-русски, по-деревенски – «Тата».

– Это его учила писать по-русски няня Тоня. Красавица. Она приехала из глухой деревни и писать почти не умела. Но была очень добрым человеком, преданным дядиной семье бесконечно.

Когда Колди с сыном не вернулись из Англии, а это стало известно спустя два дня, на Троицу, Михаила Михайловича арестовали прямо на пароходе. Тоня сохранила квартиру, все вещи, все, все…

Дядя вернулся в Ленинград с Екатериной Николаевной в году тридцать шестом – тридцать седьмом… Снимали где-то комнату. Бедствовали. Дядя никак не мог устроиться на работу. И вдруг, счастье, его взял к себе начальник ЭПРОНа Фотий Иванович Крылов. Очень скоро Михаил Михайлович получил комнату в новом доме, который был построен спе-

циально для работников этого ведомства. Его и сейчас так называют: «дом ЭПРОНа». Это на улице Скороходова, бывшей Большой Монетной, немного в стороне от Каменноостровского проспекта. Да… Жизнь Михаила Михайловича наладилась, его ценили, он был при деле, носил морскую форму, дружил с писателем Новиковым-Прибоем. Тот даже в гости к нему приезжал. Но вскоре началась война. Мы жили в другой части города и потому в первую блокадную зиму оказались разобщены. Трамваи не ходили. Пешком в такую даль не добраться. В общем, о дядиной смерти я узнала спустя почти год. Екатерина Николаевна выжила. Я помогла ей устроиться в заводскую столовую мыть котлы. Потом она работала в детском саду воспитательницей. И после войны там так и осталась. Умерла она не так давно, по-моему, в конце семидесятых. Ее разбила болезнь Паркинсона, и соседи по квартире свезли Екатерину Николаевну в дом престарелых. Детей и близких родственников у нее не было.

– Бумаги! Бумаги Домерщикова, его дневники, письма, фотографии… Где это все? Это могло у кого-нибудь сохраниться?

– У меня, кроме букваря Питера, – вздохнула Катериненко, – и двух детских фотографий дяди, ничего не осталось.

Она достала два старинных фото на толстых паспарту с вензелями петербургского ателье.

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ. *Три маленьких мальчика, три брата в матросских костюмчиках, внимательно смотрят*

в объектив аппарата. Для одного из них – Михаила Домерщикова – этот наряд оказался пророческим. Форму моряка он так и носил с трех лет и всю жизнь, до самой смерти… На втором снимке, сделанном спустя лет семь, все те же три брата, но пути-дороги их уже наметились и разошлись: старший – Платон – облачен в мундирчик училища правоведов, на плечах среднего – Константина – лежат кадетские погоны, младший же – Михаил – стоит в центре, облокотившись на старинный фолиант. Мальчику лет десять, на нем ладно сидит бушлатик Морского кадетского корпуса с якорьками на лацканах. Он смотрит уверенно, с достоинством и вместе с тем с той комичной серьезностью, с какой дети копируют взрослых.

Я разглядываю его без улыбки. Там, в разводьях смутного фона, я вижу корабли этого мальчика – «Аврору» и «Олег», «Жемчуг» и «Пересвет», «Младу» и «Рошаль»… Его ждут Цусима и скитальчество по Австралии; конные лавы Дикой дивизии и взрыв корабля в студеном зимнем море; его осенит жертвенная женская любовь и очернит чудовищная клевета. Все будет в его жизни. И он смотрит в нее бесстрашно.

– Может быть, Екатерина Николаевна, – робко предполагаю я, – взяла с собой в дом престарелых бумаги и фотографии мужа? Может быть, они там и лежат где-нибудь в архиве?

Наталья Николаевна только покачала головой.

– Не думаю… Екатерине Николаевне в ее беспомощном

состоянии было не до бумаг…

– В каком доме престарелых она умерла?

– На Смольной…

Я снял трубку и по «09» узнал нужные телефоны.

– Нет, – ответили мне. – Личные архивы наших пациентов мы не храним. В лучшем случае вы сможете отыскать лишь историю болезни гражданки Домерщиковой.

История болезни… Мне нужна была история жизни. Как глупо хранить «скорбные листы», как досадно, что у нас не принято подводить итог человеческой жизни хотя бы на одной тетрадной страничке! Имярек такой-то прожил столько-то, совершил то-то и то-то, оставил после себя столько-то взращенных детей, построенных домов, посаженных деревьев, вырытых колодцев, написанных книг… И пусть бы эти тетрадные странички, пусть бы эти кратчайшие истории жизни вместо историй болезней хранились бы вечно – при ЖЭКах или районных архивах, при кладбищах или загсах. А может быть, вместо какого-нибудь ресторана (не разорился бы наш общепит) устроили бы хранилище для подобных биографий. Ведь даже от самой заурядной жизни должно оставаться нечто большее, чем даты на надгробии…

– Наталья Николаевна, может быть, у соседей что-то осталось? В старых коммуналках всегда большие антресоли, а там иной раз такое пылится…

– Ой, вряд ли… Сейчас чуть где лишняя бумажка завелась, ее тут же в макулатуру, на талоны… Свое-то толком не

хранят, не то что соседское.

Тем не менее Катериненко начертила мне схемку, как найти «дом ЭПРОНа», и я отправился на улицу Скороходова.

Огромное шестиэтажное здание с высоченными колоннадными воротами, выстроенное буквой «Л», выходило острым углом на стык улиц Скороходова и Льва Толстого.

У дворничихи – она еще помнила Екатерину Николаевну – я узнал номер квартиры, где была комната Домерщикова. С волнением поднимаюсь на пятый этаж. Вот стены, в которых закончилась жизнь моего героя… Мир вам, стены этого дома!

Звякает дверная цепочка, щелкает замок, и я вступаю в чужую жизнь. Слова приветствия, слова объяснений, недоумение и настороженность сменяются радушной улыбкой.

– Да-да, жили здесь такие… Екатерина Николаевна, боже!… Неужели вы ее знаете? Какие славные люди…

Мы наконец знакомимся окончательно: Ольга Павловна Беркутова, преподаватель химии одной из ленинградских школ. В квартире по-прежнему живет несколько семей, и мы проходим в комнату Беркутовых, отделенную тонкой перегородкой от бывшей комнаты Домерщиковых.

О своей соседке Ольга Петровна рассказывала восторженно:

– Добрейшей души человек… Образованнейшая женщина. Читала романы на французском, английском, немецком… И нас учила, соседских девочек, меня и сестру. Ми-

хаила Михайловича мы уже не застали, но она много о нем рассказывала, его фотографиями была увешана вся стена… В молодости Екатерина Николаевна была очень красивой, эффектной дамой. Из очень состоятельной семьи… Конечно, ей пришлось нелегко. Но она никогда не унывала, мы не слышали от нее ни одной жалобы на жизнь… У нее не было профессии, но она научилась шить и подзарабатывала себе к пенсии. Пенсия у нее была невелика – сколько может получать воспитательница детского сада? Детей у нее не было. Но она всю себя отдавала своим воспитанникам: учила их хорошим манерам, мастерила им игрушки… Знаете, после войны плохо было с игрушками. А она хорошо рисовала. И вырезала бумажных кукол на весь детский сад, чтобы хватило всем ребятишкам.

Очень любила собак. В блокаду после смерти мужа отнесла куда-то его именные золотые часы – швейцарский хронометр, отделанный перламутром, – обменяла на какую-то еду, чтобы подкармливать собаку. Вот такая она была… Со смертью мужа у нее не осталось никаких родственников. В последние годы, когда болезнь уже подбиралась к ней, она держалась только потому, что надо было прогуливать собаку. Екатерина Николаевна вставала, заваривала кофе, приводила себя в порядок, она, знаете ли, следила за собой до самых последних лет, даже в свои семьдесят два делала себе маникюр! Потом выводила Зорьку, у нее всегда лайки жили, гулять…

– Какие-нибудь бумаги, фотографии остались после нее? – спросил я с замиранием в голосе.

– У нас почти ничего не осталось… Мебель, у них была красивая мебель карельской березы – старинное бюро, шкаф, трюмо, кровать… Все это сдали в комиссионку. Я взяла себе несколько книг…

– Можно взглянуть?

Беркутова достала с полки три томика карманного формата. Это были прекрасные словари братьев Гарнье – франко-, немецко– и итало-русский, переплетенные в темно-красную кожу с золотым тиснением. Книги источали густой гвоздичный аромат, за корешками таилось целое кладбище иссохших, должно быть, еще в блокаду, клопов… На титуле итало-русского словаря я обнаружил каллиграфическую надпись, сделанную пером: «М. Домерщиковъ. Римъ. 26 февр. 11 мар. 1917». Значит, после гибели «Пересвета» старший офицер попал из Порт-Саида в Италию, где и приобрел все эти словари…

Немного. Но все же… Эта мизерная удача обнадеживала. Нет, нет, рукописи не горят! Я на верном пути. Дневники и письма старшего лейтенанта Домерщикова отыщутся и прольют свет на тайну гибели «Пересвета».

Беркутова порылась в пухлой телефонной книжке.

– За Екатериной Николаевной, – пояснила она между делом, – ухаживала одна женщина. Звали ее Тая. Вот она может что-то сказать о судьбе интересующих вас бумаг. Прав-

да, она ничего не слышит, и изъясняться с ней надо записками…

Беркутова лихорадочно листала книжку. Конечно же, Таиного адреса не оказалось…

– Не расстраивайтесь! Я сейчас позвоню сестре. Таня хорошо ее знала.

Сестра Таня смогла отыскать адрес, и я, не теряя минут (время приближалось к десяти вечера), помчался на такси за Черную речку, на Удельный проспект.

Старый двухэтажный домик, послевоенной – «немецкой» – постройки, утопал в ночных сугробах. Мне пришлось довольно долго объяснять через дверь двум одиноким пожилым женщинам, кто я и зачем звоню в столь поздний час. Преодолев опаску, соседки отворили.

Помня, что Тая, Таисия Васильевна, глуха, я показал ей заранее набросанную записку. Она кивнула и повела рассказ о Екатерине Николаевне с той же светлой улыбкой, с какой рассказывала о ней и Беркутова. Они познакомились в 1949 году, когда пятнадцатилетняя Тая, проходя мимо скамейки, на которой сидела Домерщикова, приласкала собачонку, очередную питомицу Екатерины Николаевны. И тут же получила неожиданное приглашение: «Приходи ко мне, девочка. Помогу тебе уроки готовить». Так началась эта долгая (в двадцать семь лет) и верная дружба бывшей петербургской аристократки и дочери кочегарки с экспериментального завода. От сверстниц и сверстников Таю отчуждал врож-

денный физический недостаток: одна нога у нее была тоньше другой. Но в общении с пожилой женщиной, прожившей трудную и интересную жизнь, девушка забывала о своем несчастье, прилежно учила французский, запоминала правила хорошего тона, помогала Екатерине Николаевне по хозяйству.

– Для меня она была второй матерью. И когда она умерла, я похоронила ее прах в могиле мамы на Северном кладбище.

Таисия Васильевна извлекла из ящика стола свидетельство о смерти. Оно было датировано 9 июня 1976 года.

Судьба этой женщины завершилась с непреложностью революционной логики: дочь действительного статского советника, крупного петербургского финансиста, закончила свой жизненный путь не в фамильном склепе, а в могиле подкатчицы угля из заводской кочегарки. Прах обеих женщин, презрев сословные предрассудки, мирно покоится в одной ячейке колумбария. И знает об этом только Тая, Таисия Васильевна, да еще я. Ведь имя Екатерины Николаевны Домерщиковой не выбито на погребальной плите. Муж ее лег в безымянную могилу, и она разделила с ним эту последнюю превратность судьбы, как делила все прочие невзгоды – ссылку, бездетную жизнь, блокаду… А впрочем, те девять лет, которые они прожили вместе, наверно, были для них самыми счастливыми. Я понял это, разглядывая фотографии, которые отыскала в своем столе Тая. Екатерина Николаевна, окруженная детьми, смотрела в аппарат улыбаясь. То была

улыбка грустной мудрости человека, прошедшего сквозь бури и тернии своего века. И какого века…

Таисия Васильевна вывалила на стол ворох фотографий. Но снимков Домерщикова или его соплавателей среди них не оказалось Я написал в блокноте крупными печатными буквами: «у кого могли остаться бумаги домерщикова?»

Я ожидал решительного – «Ни у кого» или «Не знаю», но Тая задумалась, потом взяла растрепанную записную книжку…

– После смерти Екатерины Николаевны приходила на ее квартиру какая-то дальняя родственница, кажется, двоюродная племянница. Может быть, у нее что-то есть? Звали ее… Как же ее звали? Елена Сергеевна, вот как ее звали. Фамилию не помню. А работала она врачом на «скорой помощи» где-то на Васильевском острове…

В коридоре я видел телефон… С разрешения хозяек набираю «03», прошу телефон станции «Скорой помощи» на Васильевском острове. Мне сообщают номер, и я тут же звоню. Занято.

Вдруг радостный возглас из комнаты:

– Нашла!

Таисия Васильевна отыскала старый – пятизначный еще – телефон отца Елены Сергеевны – Сергея Георгиевича Лебедева. Снова накручиваю диск. Справочная служба по старому номеру дает новый, семизначный. И вот в трубке голос человека, который, как выясняется с первых же слов, может

многое рассказать мне и о Екатерине Николаевне, и о Домерщикове. Время близится к полуночи, но я, в азарте погони, напрашиваюсь с визитом. Я боюсь, что ниточка, которая вела меня весь день, оборвется, если я перенесу поиск на завтра. Распрощавшись с Таисией Васильевной и ее соседкой, еду в центр Ленинграда, на бывшую Большую Конюшенную, ныне улицу Желябова. В лабиринте многокамерного двора старинного доходного дома долго разыскиваю квартиру Лебедева. Кляну на чем свет местный ЖЭК: нумерация квартир перепутана, как фишки лото. После «12-й» идет «97-я». Что ни подъезд, то хаотический набор номеров. Темно, безлюдно – спросить не у кого. И тут, о счастье, чиркнув зажигалкой у таблички с перечнем квартирных номеров, замечаю, что номер «31» просто-напросто замазан кистью небрежного маляра…

Взлетаю по «черной лестнице» на третий этаж… Заждавшийся хозяин открывает сразу, не спрашивая, что за поздний гость стучится к нему. Имя Домерщикова, как пароль, открывает нас друг другу, и разговор наш течет откровенно и взволнованно…

Сергей Георгиевич Лебедев, инженер на пенсии, бывший изыскатель автомобильных дорог, являл собой вымирающий тип старого интеллигента: он изъяснялся на правильном русском языке, знал свое родословие, а главное – хранил семейный архив, помнил семейные предания.

Квартира его, выгороженная из огромной коммуналки,

была от пола до потолка заставлена книгами, увешана гравюрами, фотографиями. Тесно в ней было, но уютно…

Лебедев приходился Екатерине Николаевне, или Китце, как он ее назвал, двоюродным братом и хорошо знал жизнь своей кузины.

Из обстоятельного рассказа Сергея Георгиевича я выписал себе в блокнот два факта, которые, строго говоря, вовсе не факты, а скорее семейные легенды.

Легенда первая. Будто бы в году пятнадцатом, когда Домерщиков служил на Черном море, в Одессе, он помог скрыться от жандармов одному из ближайших соратников Сталина. Потом, в тридцатые годы, когда бывший офицер, вернувшийся из ссылки, нигде не мог найти себе работу по морской специальности, когда, вконец отчаявшись, Домерщиков решился написать Сталину горькое письмо, вождь вспомнил о спасенном соратнике и наложил благосклонную резолюцию, благодаря которой Домерщиков был определен на службу в ЭПРОН.

Легенда вторая. Почему мичман Домерщиков покинул свой корабль в Маниле и бежал в Австралию? В изложении Лебедева дело обстояло так: в Маниле, после возвращения русских крейсеров из Цусимы, у Домерщикова вышел серьезный конфликт с адмиралом, то ли он ему надерзил, то ли даже влепил пощечину, во всяком случае, мичмана подвергли каютному аресту, но матросы разбили иллюминатор и помогли бежать.

Эта вторая легенда выглядела весьма правдоподобно. Лебедев не назвал фамилию адмирала, но это мог быть только контр-адмирал Энквист, командир крейсерского отряда 2-й Тихоокеанской эскадры. Другого в Маниле не было.

Энквист после первой же стычки с японцами в Цусиме вывел из боя крейсера «Олег», «Аврору», «Жемчуг» и двинулся вспять, на юг, в Манилу, где сдал корабли американцам. Многие офицеры, особенно молодые, были искренне возмущены решением Энквиста, они считали, что адмирал поступил трусливо, предательски по отношению к остальным кораблям эскадры, что он покрыл позором всех офицеров отряда, и вполне возможно, что юный мичман Домерщиков публично высказал Энквисту все, что думала о нем кают-компания «Олега». За такую дерзость его могли отдать под суд. Зная, как строги законы военного времени, молодой офицер и решился на побег. Энквист и его приближенные могли потом, чтобы скрыть истинные мотивы бегства мичмана, объявить его дезертиром, пустить слух о красотке, сманившей Домерщикова в Австралию. Именно этот слух, салонную сплетню, и повторил потом в своем дневнике Иванов-Тринадцатый. Немудрено, что в досье Палёнова это происшествие перетолковывалось как государственная измена…

Но пока что обе легенды, не подкрепленные ничем, кроме памяти старого инженера, так и оставались легендами.

Часы уже давно пробили полночь, но мы все сидели, по-

тому что Лебедев хотел вспомнить все, что он знал о Домерщикове… Из потертого альбома он извлек снимок. То была последняя фотография моего героя, сделанная за год до его смерти.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *На меня смотрел немолодой усталый человек в темном флотском кителе, какие носили в войну, какие носят еще и сейчас… Вьющиеся волосы чуть тронуты сединой… Взгляд спокойный, печальный, мудрый… И все же сквозь наслоения прожитых лет проступала в лице этого человека озорная улыбка мичмана, того самого, что запечатлела фотопластинка вместе с командой на палубе «Олега».*

Я положил рядом три снимка: мальчик в матросском костюмчике, мичман при эполетах и парадной треуголке и старый морячина в простом, без единой регалии кителе… Три грани морской судьбы… Мы долго вглядывались в них.

Глава двенадцатая
КАВАЛЕР КРЕСТА ЖИВОТВОРНОГО ДРЕВА

Утром в гостиничном номере я подводил итоги суматошного дня. Много было беготни, много эмоций, предположений, догадок, легенд, но информации достоверной, документальной – почти никакой, если не считать трех фотографий да словаря с пометкой Домерщикова. Правда, цепочка знакомых Екатерины Николаевны еще не прервалась, и есть надежда, что у дочери Лебедева – Елены Сергеевны – сохранились какие-то бумаги. Но она укатила на дачу, и надо ждать до завтра, когда она вернется в Ленинград. Не хочется терять день… Перечитываю вчерашние записи, может быть, найдется какая-нибудь зацепка…

Вот многообещающая пометка: дружба с Новиковым-Прибоем. В «Цусиме» есть целая глава об «Олеге» с весьма выразительным названием «Утраченную честь не вернешь». Сам Новиков плавал на «Орле» и о действиях крейсерского отряда Энквиста мог знать только с чьих-то слов. Скорее всего, со слов Домерщикова, ведь не зря же приезжал он к нему в гости. Наверняка расспрашивал о Цусиме, а раз расспрашивал, значит, и записывал. Значит, где-то же остались записи. Уж бумаги-то Новикова-Прибоя

должны сохраниться!

Звоню в Пушкинский дом, прошу дать справку о судьбе архива Новикова-Прибоя. Еще несколько звонков, и я узнаю, что рукописное наследие выдающегося советского мариниста – письма, черновики, подготовительные записи – распределено между Москвой и Ленинградом, часть хранится в ЦГАЛИ – Центральном государственном архиве литературы и искусства, а часть – в отделе редких книг и рукописей Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

Если читальная на антресолях Ленинской библиотеки походила на крейсерскую кают-компанию, то отдел рукописей Публички напоминал адмиральский салон: мебель красного дерева, бронзовые бюсты мыслителей, благородная кожа старинных фолиантов, благоговейная тишина…

Листаю опись фонда Новикова-Приборя и поражаюсь скрупулезной работе, проделанной архивистами. Тысячи писем, полученных писателем от бывших цусимцев, рассортированы по кораблям. Вот список корреспондентов, служивших на эскадренном броненосце «Орел», вот перечень воспоминаний моряков с крейсеров «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах». Есть и «Аврора», и «Светлана». Нетерпеливо ищу. «Олег». Есть! В колонке семнадцать фамилий. Среди них мне уже знакомый Магдалинский. А где же Домерщиков? Вот что-то похожее, но искаженное, да и к тому же с другими инициалами: «Л. Д. Дмерщиков». Что за «Л. Д.»? Почему «Дмерщиков»? Неужели это кто-то другой? То-

мительный час – жду выписанное дело…

Все разъяснилось, когда я развязал тесемки тонкой серой папки. Конечно же, описка. Просто первую букву фамилии – размашистое «Д» – приняли за «Л» и «Д».

В папке два конверта, два письма, отправленных с улицы Скороходова в Москву – Новикову-Прибою. Смотрю на них как на великое чудо. Письма из небытия… Давно уже нет человека, нет и могилы его, прервался его род, переплавлены его корабли, рассеяны, растеряны бумаги и фотографии, а письма его идут, живут, находят новых адресатов… Волнуюсь так, будто Домерщиков прислал их лично мне. Сейчас я услышу его голос, пусть не живой, пусть это всего лишь письменная речь, но и в ней след души, характера, личности.

Открываю самое тоненькое письмо. На штемпеле – 16 марта 1941 года.

«Дорогой Алексей Силыч!

Сейчас, просматривая газету, узрел твое имя в числе лауреатов Сталинской премии. Бесконечно довольный оказанным тебе вниманием, я не могу не поделиться с тобой радостью, которую мне доставило сегодня газетное сообщение.

Наш общий с тобой товарищ, Леонид Васильевич, уже третью неделю лежит на даче. Помимо болезни сердца у него артрит суставов, ревматизм. Сегодня пойду его навещать. Прошлый раз он выгля дел несколько лучше, однако еще далеко до выздоровления. Бедняга слег за несколько дней до открытия Морского музея, при устройстве которого и

надорвался. Эта его работа не осталась неотмеченной.

Мои дела пока идут так же, как и раньше. Правда, далеко на горизонте как будто видны очертания берега, но мглистая погода обманчива, поэтому из осторожности я держусь мористее. Когда несколько прояснится, подойду поближе к берегу и, если усмотрю подходящее место, отдам якорь.

Человек ты занятой, и я не смею отнимать у тебя времени своей болтовней. Мой привет и поздравления милой Марии Людвиговне.

Твой М. Д.

Жена шлет приветы».

Второе письмо, датированное 3 декабря 1940 года, было написано на разлинованных конторских листах, перегнутых для конверта. Секретарь Новикова-Прибоя перепечатал его на машинке, так как оно предназначалось для работы над романом.

«Крейсер „Олег“.

М. Домерщиков.

Закончился тяжелый день боя. Солнце опускалось к горизонту. «Олег» шел головным кораблем отряда курсом NO-23°, указанным сигналом с броненосца «Бородино» незадолго до гибели последнего. Справа параллельно крейсерам двигалась колонна броненосцев во главе с «Бородино», обстреливаемая японскими кораблями, которые едва видны за линией наших броненосцев.

Стоя на правых шканцах вместе с трюмным механиком Ю.В. Мель ницким и вполголоса обсуждая положение нашей эскадры, мы были поражены неожиданным зрелищем гибели броненосца «Бородино», успевшего скрыться в морской пучине до того, как рассеялось облако дыма, окутавшего броненосец после происшедшего с ним взрыва.

Начало темнеть, как вдруг броненосец «Николай I» под флагом контр-адмирала Небогатова стал склоняться в нашу сторону, вследствие чего и наш «Олег» начал ворочать влево. Надо было готовиться к отражению минной атаки, и мы с Мельницким разошлись. В течение ночи, во время обходов для проверки готовности орудий, мне несколько раз приходилось встречать на верхней палубе младшего минного офицера С.С. Политовского и инженера-механика Мельницкого. Остановившись у борта и наблюдая за атаками на нашего «Олега» японских миноносцев, мы шепотом обменивались дошедшими до нас сведениями с мостика, которые своей противоречивостью порождали в нас недоумение и тревогу.

С наступлением рассвета оказалось, что кроме «Авроры» за нами следует только один «Жемчуг», а далее на горизонте никаких судов не было видно. Мы, т. е. Политовский, Мельницкий и я, снова встретились, недоумевая: где мы находимся? Политовский поднялся на мостик и вскоре сообщил нам, что «Олег» находится южнее острова Цусима.

Возмущенные тем, что мы оторвались от эскадры и ока-

зались дальше от Владивостока, чем были накануне, мы начали горячо обсуждать создавшееся положение и искать способы выяснить обстановку у командира – капитана 1-го ранга Добротворского.

Но вот на горизонте появился сначала миноносец «Бодрый», а затем и буксир «Свирь», заполненные людьми с погибшего вспомогательного крейсера «Урал». Суда прошли мимо нас близко и сообщили, что направляются в Шанхай. Из реплики адмирала Энквиста можно было понять, что и он намерен идти туда с крейсерами. Тогда мы решили уговорить старших из офицеров попытаться убедить командира выслушать нас, для чего собрать военный совет. Уставом это вполне допускалось. К сожалению, наши надежды не осуществились. Офицеры, не возражая против нашего предложения, уклонились, однако, взять на себя инициативу, ссылаясь на то, что это-де будет нарушением воинской дисциплины. Во время одного из разговоров мимо нашей тройки прошел старший офицер капитан 2-го ранга Посохов. Наши с ним отношения носили только официальный характер, как старший же товарищ он не пользовался нашими особыми симпатиями. Поэтому о своих волнениях мы сообщили ему только тогда, когда он сам спросил нас, о чем это мы так беспокоимся. Выслушав нас, он заявил, что вполне разделяет наши взгляды и постарается переговорить на этот счет с командиром. Не удовлетворившись, однако, его обещанием, мы начали осторожно прощу-

пывать почву среди команды, чтобы узнать ее настроение. Когда мы снова собрались вместе и обменялись впечатлениями, выяснилось, что часть верхней команды, пожалуй бы, поддержала нас, если бы нам пришлось резко выступить против намерений начальства уйти в нейтральный порт. Что же касается нижней команды, то большинство ее было настроено против рискованных действий. Надо думать, что вид корабля после боя, лежавшие на юте убитые, наличие раненых, а главным образом встреча с судами, шедшими в нейтральный порт, сыграли немалую роль в воздействии на психику людей, находившихся в течение боя в закрытых помещениях корабля.

Во время наших разговоров неожиданно подошел капитан 2-го ранга Посохов и сообщил, что он был у командира и тот обещал нас вызвать. Вскоре нас действительно вызвали в кормовую походную каюту командира, где кроме нас присутствовали старший механик и второй механик капитан Глебов. Старший офицер пришел в ужас к концу совещания, но заявил, что присоединяется к нашему мнению. Совещание было очень кратким. Выслушав нас, капитан 1-го ранга Добротворский заявил, что он вполне одобряет и приветствует наше желание прорваться во Владивосток, но осуществить это трудно, во-первых, потому, что цилиндр высокого давления правой машины дал трещину, а во-вторых, не хватит угля. В результате перебранки между механиками выяснилось, что угля должно хватить. Что же

до трещины цилиндра, то мнения разошлись, ибо Мельницкий утверждал, что трещина была и раньше, и если цилиндр стянуть дополнительной обоймой, то он вполне выдержит. После этого Добротворский заявил, что он и сам был бы рад прорваться во Владивосток, но что ему якобы мешает адмирал Энквист, однако он надеется, что тот перенесет свой флаг на «Аврору», где убит командир капераНг Егорьев и ранен старший офицер, и тогда он, Добротворский, приобретет свободу и соберет нас вновь для выработки плана дальнейших действий. Он добавил также, что ради освобождения от адмиральской опеки он попробует убедить Энквиста разрешить «Олегу» идти в Шанхай, поскольку крейсер с поврежденной машиной не дотянет до Манилы, куда флагман намерен вести «Аврору» и «Жемчуг».

Довольные и гордые своим успехом, мы с радостью через час или два проводили Энквиста на «Аврору». Однако нашей мечте не суждено было сбыться, ибо, едва «Аврора» поравнялась с нами и с ее мостика раздалось приветствие адмирала, Добротворский совершенно неожиданно закричал: «Иду с вами!» – и отдал приказание рулевому править в кильватер «Авроры». В ответ на мой вопрос, что же он делает, мне было приказано убираться с мостика.

Что побудило Добротворского изменить свое решение идти во Владивосток, остается для меня тайной. Помню хорошо, что за обедом, который подавался в каюте командира (кают-компания была занята ранеными), у нас с Добро-

творским произошел весьма резкий разговор, во время которого молодые, несдержанные натуры нашей трощы заставили нас перейти всякие границы дисциплины. Добротворский выслушал все с большим терпением и выдержкой и в заключение сказал, что он относится с большим уважением к патриотическим порывам молодежи, но что здравый смысл заставляет его отказаться от прорыва, что он предоставляет нам право считать его трусом и кем еще нам угодно, но что решения своего он не изменит».

Я закрыл папку… Перед глазами стояли дымы горящих кораблей, трепетали сигнальные флаги, горячились молодые офицеры…

Как ни странно, но этот микроэпизод русско-японской войны стал достоянием американских военных историков, а не наших. Дело в том, что старшего офицера «Олега» С.А. Посохова, впоследствии контр-адмирала, судьба эмигранта забросила на Филиппины и он осел в уже знакомой ему Маниле. В тридцатых годах Посохов опубликовал в журнале американских ВМС «Просидингс» воспоминания о бое под Цусимой. Каким-то чудом номер этого журнала попался мне на глаза в Центральной военно-морской библиотеке.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«Крейсер „Олег“ кроме поломок в машине имел 12 пробоин. Потери в людях были относительно невелики: двое легко раненных офицеров, восемнадцать убитых и пятьдесят шесть раненых матросов.*

В это время группа офицеров (лейтенанты Политовский,

Зарудный, Миштовт, мичман Домерщиков) обратилась ко мне с просьбой созвать военный совет для обсуждения вопроса – должны ли мы отказаться от попытки прорваться во Владивосток или все же осуществить ее? Я высказал мнение, что в настоящих погодных условиях, с небольшим запасом угля и поломках в машине, шансы достичь Владивостока равны нулю. Однако, чтобы сделать выбор – либо почетная гибель в бою, либо укрытие в нейтральном порту, – я, как старший офицер, собрал совет и заявил, что я за продолжение похода на север. Обсуждение пришлось прервать, так как работы по заделке пробоин потребовали моего личного присутствия, да и других офицеров тоже. Освободившись, они заявили мне, что большинство за то, чтобы просить адмирала изменить курс и идти на север. С этим решением я и отправился к командиру.

Капитан 1-го ранга Добротворский ответил мне, что он разделяет мое заключение, но не видит ни малейшего шанса на успех и поэтому не считает резонным губить крейсер и его команду в бессмысленном бою. Он отказался идти к адмиралу, предоставив это сделать мне.

Адмирал Энквист стоял на мостике, когда я поднялся к нему и доложил о решении нашего совета. Выслушав, он обнял меня и со слезами на глазах сказал: «Я понимаю вас и чувства ваших офицеров. Как офицер – я с вами; как адмирал – я не могу дать согласие. Прошлой ночью мы пытались прорваться, но безуспешно. Вражеская эскадра полна сил, и

их эсминцы перекрыли нам путь. Несколько раз мы меняли курс, но все тщетно. В конце концов остается только – на юг. Идти на север – значит погубить и ваш крейсер, и „Аврору" с „Жемчугом". Я стар. Мне недолго жить, но кроме меня здесь более 1200 молодых жизней, которые еще пригодятся Родине. Нет, мой друг, передайте офицерам, что сердцем я их поддерживаю, а разумом – нет. Впрочем, я даю полную свободу выбора каждому!»

Когда я передал слова адмирала, мичман Домерщиков стал настаивать, чтобы я дал ему катер, на котором он с добровольцами пойдет во Владивосток. Разумеется, я не разрешил».

На известном процессе по делу адмирала Небогатова и его штаба Энквисту вменяли в вину то, что после дневного боя он бросил погибавшие броненосцы и, вместо того чтобы защищать их от ночных минных атак, увел свои крейсеры в безопасную Манилу. Морской суд долго решал, виновен Энквист или нет. Некоторые заседатели считали, что три легких крейсера ничего бы не изменили в судьбе эскадры и сами бы пали бесполезной жертвою, а так они спасены для России… Меру наказания Энквисту не определили. Однако в печати его высмеивали беспощадно. «Контр-адмиралу Энквисту, – писал известный публицист Португалов, – и по годам, и по другим обстоятельствам гораздо будет удобнее доживать свой век в отставке, посвящая свои досуги на устройство гонок на скорость где-либо в тихой заводи реки…»

Энквист ушел с флота и жил затворником, снедаемый «черной меланхолией». Он не вышел на люди даже на похоронах жены. А вскоре умер сам.

Когда-то в лучшие времена капитан 2-го ранга Оскар Адольфович Энквист, командуя канонерской лодкой «Бобр», открыл в дальневосточных морях лагуну и дал ей свое имя. Сегодня имя Энквиста исчезло с морской карты. Лагуну называют Хаптоган.

Письмо, обнаруженное в Публичке, подтверждало косвенно семейную легенду Лебедевых о том, что Домерщиков надерзил в Маниле адмиралу Энквисту. Но… о «Пересвете» в уцелевшей переписке – ни слова. Да и вряд ли эта история интересовала автора «Цусимы».

И все же находка настраивала на оптимистический лад. Ведь вот же нашлись два письма. Быть может, точно так же хранятся где-нибудь и остальные бумаги Домерщикова. Что, если они остались у одного из его друзей?! У Политовского, Мельницкого или у бесфамильного пока Леонида Васильевича, работавшего в Морском музее?

Прежде чем выбрать тропинку на этом троепутье, я заказал в общем читальном зале книгу Сапарова «Фальшивые червонцы». История первого мужа Екатерины Николаевны – Николая Карташова – не имела никакого отношения к гибели «Пересвета», но меня захватила судьба и этой женщины. Ведь личность моего героя раскрывалась и в ней…

Екатерина Николаевна никогда не была «врагом народа»,

и то, что ей пришлось провести в Сибири десять лет, – это случайность драматического свойства.

С Николенькой Карташовым она была знакома, по свидетельству Сергея Георгиевича Лебедева, с детства: двери их квартир выходили на одну лестничную площадку в доме на Кирочной. В 1915 году студент-экономист Петроградского университета ушел на фронт добровольцем и стал подпоручиком 20-го Финляндского драгунского полка. Ранней весной 1916 года он записался в партизанский рейдовый отряд штаб-ротмистра Петра Глазенапа. Набег на тылы германских войск начался для Карташова печально: под ним был убит конь. «А сам он, – как пишет Сапаров, – остался лежать в вонючей трясине с перебитыми пулеметной очередью ногами. Беспомощный, истекающий кровью, утративший всякую надежду на спасение.

Вытащил его из болота какой-то офицер их полка, версты две нес на спине. Фамилию своего спасителя он узнать не успел, так как был направлен в госпиталь и в драгунский полк больше не попал. Пытался узнавать, много раз писал однополчанам, но толку не было.

Спаситель сам разыскал его спустя двенадцать лет. Пришел к нему однажды вечером, напомнил ту историю, бесцеремонно напросился на ночлег. И вообще был человеком со многими странностями. О себе рассказывал мало, даже фамилию не назвал. Зови, дескать, Сашей, вполне этого достаточно.

Сперва говорил, будто работает на паровой мельнице возле Пскова, а в Ленинград приехал за запасными частями для двигателя, но позже, после основательной выпивки, сознался, что нелегально перешел советскую границу. У него специальные задания из-за кордона».

Карташов наотрез отказался сотрудничать с ним и попросил гостя забыть дорогу в его дом. Саша, он же бывший штаб-ротмистр Альберт Шиллер, дал «слово русского офицера», что он больше никогда здесь не появится. И… появился спустя месяц. Он умолял приютить его до утра и дать ему другую одежду. Заклинал фронтовой дружбой, былым спасением, честью… У Карташова не хватило решимости отказать. А на другой день он был арестован и отдан под суд за пособничество агенту иностранной разведки. Время было суровое – 1928 год, – и никто не собирался вникать в психологические нюансы отношений двух бывших офицеров. Человек, спасший Карташова, и погубил же его.

Екатерина Николаевна была выслана из Ленинграда. Там, на Оби, она встретила новую судьбу.

Еду из Публичной библиотеки на Дворцовую площадь, а оттуда, мимо старого Эрмитажа, – в военно-морской архив. Низкие тучи едва не цеплялись за головы статуй на крыше Зимнего дворца. Призрачно, словно водяные знаки на державной бумаге, проступал из зимних сумерек острошпильный купол Адмиралтейства. Тем уютнее свет ламп на столах архива. Маленькие прожекторы, наведенные в прошлое…

Заказываю послужные списки Политовского и Мельницкого.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Сергей Сигизмундович Политовский (1880—1936). Окончил Морской корпус в 1900 году. Плавал на крейсерах «Олег», «Цесаревич», «Богатырь». Оказывал помощь пострадавшим от землетрясения в Мессине. В первую мировую войну командовал эсминцами «Крепкий», затем «Гайдамак». В январе 1917-го произведен в капитаны 1-го ранга и принял под начало крейсер «Богатырь». В годы гражданской войны командовал полком Андреевского Флага в Северо-Западной армии Юденича.*

Домерщиков в письме к Новикову-Прибою отозвался о своем корабельном товарище так: «Младший минный офицер лейтенант Сергей Политовский представлял собой образец офицера. Знающий, выдержанный, справедливый и простой в обращении, он пользовался авторитетом среди команды. Хорошее сложение и вышесредний рост дополняли декоративную сторону будущего известного на флоте командира «Богатыря». У него была привычка говорить скороговоркой. Однако в действиях своих он был не так поспешен. Присущий ему юмор заставлял его подчиненных смеяться».

Судя по этой характеристике, Домерщиков был немножко влюблен в своего старшего друга; видимо, в чем-то подражал ему, и наверняка эта дружба длилась многие годы… В домашнем архиве Политовского (если он сохранился) могло быть немало писем от товарища по «Олегу».

Вечный вопрос: где искать? «Не скажет ни камень, ни крест, где легли…» Но скажут книги, старые журналы, подскажет чья-то глубокая память…

Первая ласточка: в иллюстрированной «Летописи русско-японской войны» нашел фото отличившейся на полях сражений сестры милосердия Нины Сигизмундовны Политовской. Сестра Сергея? И отчество, и фамилия довольно редкие, можно наверняка считать их родственниками.

А вот еще один Политовский. В «Цусиме» у Новикова-Прибоя упоминается флагманский корабельный инженер – Евгений Сигизмундович Политовский. Брат? Очень вероятно. Ответ на этот и другие вопросы самым неожиданным образом пришел из Владивостока. Моя давняя и добрая корреспондентка, дочь вахтенного начальника подводной лодки «Святой Георгий» Ольга Михайловна Мычелкина-Косолапова, прислала очередное письмо. Едва я его вскрыл, как из него выпала фотография крутоусого мужчины в мундире дорево лю ци онно го таможенного чиновника. Читаю надпись на обороте: «Аполлинарий Сигизмундович Политовский. 1914 год. Это свекор моей сестры – Екатерины Михайловны и дед моего племянника Бориса, который работает инженером на владивостокском заводе «Радиоприбор».

Не устаю удивляться тесноте мира! Как все мы связаны-перевязаны друг с другом! Стоит только заглянуть на два-три поколения назад, проследить доступные нити – увы, как часто скрыты они в плотной мгле забвения, – и поразите

тельная вязь судеб начнет расходиться от кольца к кольцу, от рода к роду…

В ответ на мой запрос о Политовском, а о нем я спрашивал всех знакомых флотоведов, О.М. Косолапова писала:

«Братья и сестра Политовские (Сергей, Евгений, Аполлинарий и Нина) происходят из семьи ссыльного польского инсургента Сигизмунда Политовского, отправленного, кажется, из Лодзи в Среднюю Азию, под Ташкент.

Начну с моего родственника (очень дальнего, конечно) Аполлинария Сигизмундовича. Он был самым старшим из братьев. Приехал во Владивосток в конце прошлого века, когда сюда ссылали много поляков, и поселился у своего друга (тоже ссыльного) Михаила Ивановича Янковского (1841—1913). Извините, что ухожу в сторону, но не могу не сказать об этом замечательном человеке несколько слов.

М.И. Янковский создал первый в Приморье конный завод, приручал пятнистых оленей, основал метеорологическую станцию, разбил плантацию пересаженного из тайги женьшеня. Янковский занимался орнитологией и энтомологией Приморья. Его великолепная коллекция бабочек хранится и по сю пору в краевом музее имени Арсеньева. С 1987 года живя на полуострове, впоследствии получившем его имя, вел археологические раскопки. Вот с этим человеком и работал вместе Аполлинарий. Его второй по старшинству брат – Евгений – окончил в Петербурге Политехнический институт. Как очень способного инженера-механика его пригла-

сили на флот. Он участвовал в проведении первой в мире радиопередачи (1899 г.) во время спасения севшего на камни броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». В Цусиму он шел как флагманский корабельный инженер при штабе адмирала Рожественского на эскадренном броненосце «Князь Суворов». По роду службы Евгений Сигизмундович посещал во время похода все суда эскадры, что дало ему возможность видеть жизнь экипажей. Свои впечатления он излагал в письмах к жене. Потом, после его гибели и после суда над командованием 2-й эскадры, эти письма, как обличающие документы, были опубликованы в журнале, по-моему, в «Морском сборнике».

В Цусимском бою Е.С. Политовский был тяжело ранен, и про него забыли в спешке и суматохе, когда с гибнущего «Суворова» переправляли на миноносец штаб Рожественского. Дядя Женя пошел на дно вместе с броненосцем у восточных берегов Цусимы. Много позже внук его брата (мой племянник) Игорек Политовский ходил вместе с морской экскурсией владивостокских школьников к Цусиме. Там он вместе с другими пионерами возлагал на воду венок в честь погибших русских моряков. Все наши суда, идущие Цусимским проливом, приспускают флаг и дают гудок, а туристы собираются на линейку и тоже опускают в воду цветы.

Нина Сигизмундовна, верная традициям женщин – героинь севастопольской обороны и освободительного похода русских войск в Болгарию (вспомните Юлию Вревскую, воспе-

тую Тургеневым, и мать лейтенанта П.П. Шмидта), с началом русско-японской войны ушла в действующую армию сестрой милосердия. О ней писали русские журналы, но о дальнейшей ее судьбе я ничего не знаю.

Наконец, интересующий Вас Сергей Сигизмундович Политовский, командир «Богатыря». О нем знаю немного. Умер в 1936 году в Таллинне».

По довоенным таллиннским справочникам нахожу адрес С.С. По литовского: улица Тина, д. 18, номер квартиры. Может быть, кто-то из родственников еще живет там?

В Таллинне осел мой однопоходник Разбаш. Попросил его в письме наведаться по бывшему адресу Политовского.

Таллинн. Ноябрь 1936 года

Промозглой осенью старый Таллинн задыхался от дыма множества печных труб, струившегося с высоких крыш в узкие улочки. Задыхался, но не от дыма, а от нарыва в горле и немолодой человек, бывший русский каперанг, снимавший комнату по улице Тина (Оловянная). Он был бритоголов; между бровями залегали глубокие складки; крупный нос, волевые губы. «Всегда жизнерадостный и бодрый», как напишут в завтрашнем некрологе, он был в горестном отчаянии – каждый глоток воздуха давался с мучительным трудом…

Последние годы Политовский подрабатывал на жизнь юморесками и смешными рассказами из флотской жизни, которые он публиковал в «Морском журнале» бывшего лейтенанта Стахевича. Как и все записные юмористы, наедине

с собой Сергей Сигизмундович бывал мрачен. Таллинн за двадцать лет, проведенных в нем, так и не стал родным городом. Раздражало в нем все: и средневековые лики домов, и непроницаемые лица эстонцев, и даже название улицы – Тина, напоминавшее о дне жизни, в тине которого медленно увязал некогда блестящий морской офицер со *Станиславом* за Цусиму, *Владимиром* за Моонзунд и очень редким для иностранцев орденом – иерусалимским Крестом Животворного Древа – за Мессину.

Он сам выбрал себе судьбу, посчитав за благо не возвращаться из Ревеля в Петроград, сначала потому, чтобы не иметь дела с германскими оккупационными войсками в Эстонии, затем потому, что доползли слухи о том, что в Питере объявлен «красный террор», и уж ему, капитану 1-го ранга, там точно не поздоровилось бы… Затем началась гражданская война, и Политовский возглавил полк Андреевского Флага, сформированный из бывших моряков. По нынешней терминологии это был полк морской пехоты. Полк дрался отчаянно, но переломить общего хода войны не смог. Северо-Западная армия была интернирована в Эстонии, разоружена, бойцы ее зарабатывали на хлеб насущный каторжным трудом, работая на торфяниках или на заготовке дров.

Эстония стала самостоятельным государством, и бывший командир «Богатыря» навсегда остался жить на улице Тина.

Он не был одинок. Здесь, в буржуазном Таллинне, осело немало его однокашников по Морскому корпусу, по службе

на Тихом океане и Балтике. Если в других странах русские морские офицеры создавали свои организации вроде кают-компаний, то в Эстонии это было запрещено, поскольку существовала договоренность с советским правительством – никаких офицерских организаций вблизи северо-западных границ СССР. Политовскому удалось создать «кассу взаимопомощи бывшим офицерам российского императорского флота». Открыть «кассу» разрешили. Вот тогда-то в трудные послевоенные времена на улицу Тина потянулись бывшие мичманы, лейтенанты, капитаны обоих рангов и даже адмиралы. Приходили они сюда не только взять грошовую ссуду. Скорее за тем, чтобы справиться о пропавших товарищах, вспомнить былое, пообщаться с друг с другом, отметить 6 ноября, храмовый праздник Морского корпуса.

Частенько наведывался к Политовскому бывший командир «Жемчуга» и начальник бригады подводных лодок Балтийского флота контр-адмирал Левицкий; жаловался на годы, жизнь, дороговизну… Заглядывал одно время и бывший командир эсминца «Спартак» лейтенант Николай Павлинов, брат покончившего с собой в Выборге цусимца Сергея Павлинова. К нему приходили многие, так как почти двенадцать лет Политовский честно ворочал не бог весть какими капиталами кассы взаимопомощи русских морских офицеров в Эстонии.

В некрологе напишут: «Горячий патриот, знающий офицер, деликатный начальник, остроумный человек, он умел

удачной остротой поднять павшего духом…»

Несомненно, он мог бы принести большую пользу новому – Рабоче-Крестьянскому Красному Флоту…

Кавалер Креста Животворного Древа умер на чужбине отрубленной ветвью; животворное древо его рода навсегда осталось в России…

Все эти сведения Разбаш разузнал у таллиннских краеведов и прислал их мне не без куража: «Мы тоже кое-что могем!» Но самое главное, что он обнаружил, это записки Политовского о бое «Олега», опубликованные в одном их эмигрантских изданий.

Так заговорил, казалось бы, навеки канувший в Лету, таллиннский обыватель Сергей Политовский.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Не прошло 10-15 минут, как раздался знакомый уже треск в левой офицерской ванной (временное помещение мичмана Д.) Небольшой снаряд или осколок снаряда, разорвавшегося за бортом, пронизав борт и дверь, застрял в коечной защите мотора электрического шпиля. Дыра в борту получилась между 122—123 шпангоутами. Осколками было совершенно испорчено все платье мичмана Д.»*

Эта сверхделикатность флотских мемуаристов называть своих сослуживцев даже в весьма лестных для них случаях по первой букве фамилии всегда доставляла исследователям немало трудностей. Но здесь можно вполне определенно сказать, что речь идет именно о мичмане Домерщикове,

ибо других мичманов, чья бы фамилия начиналась на «Д», на «Олеге» не было. Так же как не было среди минеров других «лейтенантов П.», кроме самого Политовского.

Итак, читаем дальше.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«После нескольких выстрелов снаряд заклинился в орудии №11 и не доходил до места. Произошло это вследствие выпадения пластинки пороха (большинство облегченных крышек гильз отваливалось), которая попала между внутренней поверхностью орудия и снарядом. Под руководством и при личном участии мичмана Д. с помощью артиллерийского кондуктора Басанина и старшего комендора Самойлова, под выстрелами японцев тотчас же стали исправлять орудие. Сначала отвинтили донную трубку снаряда, пробовали его выбить вставленным из-за борта прибойником, но когда это не удалось, решили укоротить гильзу, чтобы иметь возможность закрыть замок. Пиление медной гильзы ножовкою показалось долгим, тогда, схватив пожарный топор, мичман Д. живо обрубил гильзу и, выбросив лишний порох за борт и вставив укороченную гильзу, произвел выстрел, и тем самым ввел орудие №11 опять в действие. Вся эта работа продолжалась каких-нибудь 5-6 минут…*

…Минеры под руководством лейтенанта П. восстанавливали электрическое освещение. Когда лейтенант П. услыхал, что в перевязочном отделении льется вода, то, не дожидаясь приказаний, быстро спустился туда и со старшим

минером Алтабаевым принялся затыкать паклею и другими предметами вентиляционную трубу; переговорную же трубу, через которую тоже поступала вода, он обрубил и загнул углом кверху…

…Тем временем умолкло орудие №12. Прибежавший в это время к орудию мичман Д. (младший артиллерист) сам навел орудие и выпалил. Хорошо направленный снаряд угодил в японский однотрубный крейсер, и на нем показался дым».

Таким прорисовался сквозь мглу времен мичман Домерщиков в бою под Цусимой.

Кстати, он совершенно напрасно считал своего командира капитана 1-го ранга Добротворского ретроградом и человеком, мягко говоря, излшине осторожным. Цусимский бой крейсеров не прошел для него бесследно. По возвращению в Россию Добротворский разразился гневными и очень смелыми статьями в адрес чиновников Адмиралтейства:

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«Адмиралы совсем забыли мудрую боевую поговорку, – восклицал командир „Олега“, – „счастлив тот начальник эскадры, который сделав сигнал начать бой, больше не будет нуждаться ни в каких сигналах“, и со спокойною совестью вязали волю командиров настолько, что не разрешали им быть само стоятельными даже с собственной собакой, даже со своей шестеркой или паровым катером. На все испрашивали начальственного соизво ления: взять ли лоцмана, послать ли буфетчика на берег, подкрасить ли трубу, вымыть ли команду и ее платье*

после нагрузки угля?

Адмиралы каждый шаг командиров брали на себя, не прощали им ни тени независимости и только тогда успокаивались, когда своих командиров вкупе с их офицерами превращали наконец в каких-то аморфных, безмозглых существ, реагировавших только на расшарки вания перед начальством, на слепое, нерассуждающее повиновение и на нежелание жить и мыслить без приказаний и разрешений.

Такая система ошибочна даже для армии, для флота же она пря мо гибельна, так как действия войск в сражениях очень разнятся от действий флотов в боях, и если там начальники, благодаря сравни тельной безопасности, пересеченной местности и большим простран ствам, занимаемым войсками, действительно полновластные началь ники, то у нас, вследствие ровной поверхности и компактности мор ской силы, дерущиеся флоты всем видны; адмиралы же, по случаю одинаковой с прочими опасностями и уничтожения снарядами средств сигнализации, теряют всякую возможность руководить боем, и вся их роль переходит на командиров судов, почему весь успех его начи нает зависеть от них и, следовательно, значение командиров во флоте не безразлично и не ничтожно, как предполагают наши адмиралы, но громадно и равно чуть не начальникам отдельных армий на суше.

Только бюрократический произвол, выраженный в ненасытной жажде власти ради ее аксессуаров, ради ее прести-

жа и ради канце лярских удобств сношения с центральными органами, превратил наших адмиралов в каких-то громовержцев, или еще в церемоний мейстеров с большим штатом придворных при оркестре музыки, а не в учителей, не в наставников, как требует это всякий военный флот.

А вот и постыдные результаты этой вероломной, чиновничьей системы: ни один из командиров не проявил ни малейшей инициати вы, все ждали приказаний, а приказывать было некому, потому что очередной приказывающий, Небогатов, тоже ждал приказания при казывать; все командиры понимали, что идут на позор России, но все-таки шли…»

О втором своем корабельном друге, с которым вместе воевали на «Олеге», Домерщиков писал Новикову-Прибою так: «Инженер-механик поручик Юрий Владимирович Мельницкий – человек крепкого телосложения, немного ниже среднего роста. Добродушное выражение его светлых глаз сразу располагает к нему людей, встречающих его в первый раз. Выдержанность, работоспособность, аккуратность Мельницкого ценили его подчиненные, с которыми у него были хорошие отношения. В кают-компании он пользовался общим расположением и считался хорошим товарищем. Любовь Мельницкого подтрунивать над товарищами и подчиненными никогда не вызывала с их стороны обиды, так как делал он это без злобы, хотя лицо его в это время всегда бывало серьезным.

В бою ему, как третьему механику, то и дело приходилось

прибегать в разные части корабля, где производились разрушения попадавшими в крейсер японскими снарядами, и выполнял он свою обязанность прекрасно».

Обнаружить следы Мельницкого так и не удалось. Известно лишь то, что в годы первой мировой капитан 2-го ранга Мельницкий так же добросовестно и обстоятельно, как латал пробоины «Олега», строил по заданию морского ведомства толуоловый завод в Грозном. В советское время он работал на ленинградских верфях наблюдающим за постройкой судов для торгфлота.

Жизнь разбила дружную офицерскую троицу, развела по разные стороны государственной границы.

– Посмотрите вот здесь еще. – Дежурная по залу, архивная муза в синем халате, кладет передо мной кубической толщины «Настольный список личного состава судов флота за 1916 год». Отыскиваю убористый абзац, посвященный Домерщикову. Ого! Это уже кое-что: «В чине за пребыванием в безвестном отсутствии и отставке 21.XII 1913 г.»

Но самое знаменательное было то, что служба беглого мичмана обрывалась не в 1905 году, а в 1906-м. «Список» утверждал: «С 1905-06 гг. служил на крейсере второго ранга «Жемчуг».

Но «Жемчуг» еще в 1905 году вместе с «Олегом» и «Авророй» покинул Манилу. «Жемчуг» ушел во Владивосток. Значит, Домерщиков оставил крейсер не на Филиппинах во время войны, а бежал из Владивостока.

Венский юрист называл его дезертиром, но это вовсе не так. С юридической точки зрения оставление корабля в мирное время квалифицируется не как «дезертирство», а как названо в «Списке» – «безвестное отсутствие».

Я искренне радовался тому, что в досье Палёнова возникла серьезная брешь: Домерщиков не был дезертиром! Заблуждался и Иванов-Тринадцатый, утверждая в своих дневниках, что Домерщиков, «выбитый из равновесия обстановкой обезоруженного корабля, не имея характера спокойно ожидать окончания войны», оставил корабль и дезертировал в Австралию по любовным мотивам. Впрочем, эта версия могла возникнуть и со слов самого Домерщикова. Чтобы не раскрывать истинных причин своего бегства из России, он мог отделаться от досужих расспросов бравадой насчет красивой американки (японки и т п.).

Но что же его заставило бежать с «Жемчуга»?

Ищу ответ в старых владивостокских газетах. «Владивостокский листок» № 14 за 1906 год, репортаж о расстреле демонстрации 10 января.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«На 1-й Морской, в промежутках между цирком и Алеутской… строятся матросы… Впереди музыка, публика группируется сначала кучками, а затем тоже выстраивается приблизительно рядами. Шапки, шапки, фуражки… Нетерпеливо движутся вперед… Идут… Поворот к зданию штаба – темно-зеленые щиты пулеметов. Между ними застыли солдатские и офицерские*

фигуры. Отчетливо виден офицер с поднятой шашкой…

Трубач дал сигнал. Резким движением шашка опускается вниз. У левого пулемета показывается роковой кудрявый дымок, и к его дроби присоединяются остальные.

Смерть… Люди гибнут… Последние ряды валятся, как скошенные. Все смешалось: крики и стоны раненых, плач женщин и детей…»

На «Жемчуге» тоже было неспокойно. О том, что происходило на корабле, узнаю из историко-революционного сборника «На вахте Революции», выпущенного в 1926 году в Ленинграде.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«На крейсер… явились два неизвестных матроса с ружьями и потребовали от старшего офицера капитана 2-го ранга Вяземского, чтобы команда с винтовками была немедленно отпущена вместе с ними на митинг. В случае же отказа будет худо, так как команда все равно самовольно уйдет с крейсера.*

О происходившем Вяземский немедленно доложил командиру крейсера капитану 2-го ранга Левицкому… Выйдя наверх, командир увидел собравшихся с винтовками матросов, в толпе которых были пришедшие неизвестные матросы, причем последние торопили вооруженную команду идти в экипаж. На приказание командира поставить ружья на место команда ответила молчанием, а находившиеся на палубе крейсера неизвестные моряки заявили Левицкому, что гарнизон крепости послал их за командой «Жемчуга», кото-

рая, вооружившись, должна идти на митинг… Команда заволновалась и, несмотря на увещевания командиров и офицеров, стала уходить по трапу на лед. Командир говорил уходившим, что они подвергнутся большой опасности в городе, где назревает вооруженное столкновение, но это не повлияло на команду…»

Разумеется, все эти события происходили на глазах мичмана Домерщикова. Как повел себя в этой ситуации молодой, дерзкий на язык офицер? Не исключено, что он повздорил с командиром «Жемчуга» капитаном 2-го ранга Левицким, человеком крайне монархических убеждений.

Как сложились отношения Домерщикова с этим человеком, под власть которого он попал на «Жемчуге»? Как откликнулся он на выступления команды, на события в городе? И почему бежал из России в годину революционных потрясений?

Архив безмолвствовал.

Глава тринадцатая
В РОССИЮ «МЛАДА» НЕ ВЕРНУЛАСЬ

Дочь Лебедева, Елена Сергеевна Максимович, жила на бывшей Кирочной улице (ныне Салтыкова-Щедрина), в том самом доме и в комнатах той самой квартиры, где прошли детство, юность и первые годы семейной жизни Екатерины Николаевны. Выстроенное в дворцовом стиле пятиэтажное здание отличалось от соседних построек великолепной лепниной, могучей аркой, наподобие триумфальной, некогда роскошными парадными, на площадки которых выходили матовые окна холлов огромных квартир. Дом был перенасыщен прошлым; я слегка проник в историю лишь одной квартиры, но каждая дверь, каждая ступень, каждое окно голосили немо: «Послушай, что я тебе расскажу!» От этого избытка памяти дом, казалось, готов был треснуть, и штукатурка кое-где в самом деле уже начала лопаться.

Елена Сергеевна долго вела меня просторными коридорами пространной квартиры, где кроме ее домочадцев жили еще несколько семей – невидных и неслышных в недрах дворянских апартаментов.

Под старинным резным торшером с шелковым колпаком я разложил фотографии Домерщикова и вкратце рассказал

все, что мне удалось о нем узнать. Елена Сергеевна откликнулась на мой поиск всей душой. Она стала открывать какие-то шкафчики, извлекать из них коробочки, альбомы, бумаги. У меня запрыгало сердце…

– Когда умерла Екатерина Николаевна, – рассказывала по ходу дела Максимович, – мне позвонила женщина, которая ухаживала за ней в доме престарелых…

– Таисия Васильевна?

– Нет, Нина Михайловна… Она взяла на себя весь труд по уходу за Екатериной Михайловной, и именно ей было отписано все имуще ство Домерщиковых: мебель карельской березы, портреты, книги…

– У вас есть ее адрес?

– К сожалению, нет… Она мне позвонила и предложила взять что-нибудь на память о Екатерине Николаевне. Я приехала на Скороходова, но там почти ничего не было. Мебель вывезли, а на полу валялось вот это…

Максимович развернула пергаментной жесткости лист, сложенный вчетверо. В левом верхнем углу рядом с затушеванным двуглавым орлом бледнела фотокарточка Домерщикова в морской форме, прихваченная по углам четырьмя зелеными печатями. «Российское посольство въ Римъ», – прочитал я по кругу. Передо мной лежал заграничный паспорт Домерщикова, выданный ему в Риме 5 апреля 1917 года.

В развернутом виде этот диковинный документ мог накрыть многотиражную газету; на внутренней стороне его

текст повторялся по-французски, с той лишь разницей, что воинское звание «Мишеля Домерчикова» переиначивалось на французский же манер: «капитан корвета».

Из дневника Иванова-Тринадцатого я знал, что после гибели «Пересвета» остатки спасенного экипажа были отправлены во Францию и в Италию на суда, купленные для русского флота. Значит, Домерщиков попал в Специю (это явствовало из консульской отметки) и там был назначен командиром корабля. Я мог судить об этом не только по паспорту, но и по фотографии, которую Елена Сергеевна нашла в комнате на Скороходова. То был уникальный снимок – я и предполагать не мог о его существовании! По нему одному можно было прочитать целую страницу из загадочной жизни…

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *На меня смотрел пристально и строго тридцатипятилетний кавторанг с идеальным пробором. Белые брюки, темная тужурка, твердый накрахмаленный воротничок. Погон нет: к лету семнадцатого их уже отменили и ввели, как у англичан, нарукавные шевроны с «бубликом». Три нашивки – капитан 2-го ранга. Он стоит, опершись одной рукой на стол, заваленный картами и штурманскими инструментами, другой – облокотившись на колено.*

Глядя на него, вспоминалась песенка о неулыбчивом капитане: «Капитан, капитан, улыбнитесь… Ведь улыбка – это флаг корабля… Раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул…» Но он и в самом деле уже не раз тонул и не раз по-

гибал.

Резкие складки легли у губ. Лицо человека, познавшего удары судьбы – и какие… А впереди? Впереди продолжение похода на Север, прерванного взрывом у Порт-Саида, впереди еще самое опасное – прорыв через зоны действия германских субмарин, впереди Атлантика и Северный Ледовитый. Дважды его уже спасали из воды – тонущего, полуживого от холода. Повезет ли в третий раз?

«Капитан, капитан, улыбнитесь!»

Капитан не улыбался…

Специя. Май 1917 года

В Специи командиру вспомогательного крейсера «Млада» было не до улыбок. Генмор через своего морского агента в Риме Врангеля требовал от Домерщикова ускорить ремонт, перевооружение судна и выходить на Север. Но команда, только что пережившая гибель «Пересвета», не хотела испытывать судьбу в Атлантике. К тому же матросы были недовольны тем, что морское ведомство затянуло выплату жалованья и выдачу нового обмундирования.

Морской агент телеграфировал в Петроград: «Команда «Млады» сильно поизносилась и от англичан в Порт-Саиде получила лишь по одной смене платья и белья да по одной паре сапог».

Офицеры тоже роптали.

«18 августа 1917. В Генмор – из Специи.

Ввиду близости ухода и необходимости обмундирования

за границей, ибо на Севере сделать это невозможно, прошу ускорить разрешение вопроса о размере вознаграждения за погибшее имущество офицеров. Домерщиков».

Но чиновники Генмора будто и не получали этих тревожных телеграмм. Из Петрограда шло одно и то же: «Ускорить ремонт, ускорить вооружение, ускорить выход в море».

Спустя девять дней Домерщиков сдал «Младу» знаменитому полярному первопроходцу капитану 1-го ранга Федору Матисену, который в октябре 17-го приведет ее в Белфаст, где она навсегда и останется.

В Россию мятежные младовцы возвращались по сухопутью. Морской генеральный штаб остался очень недоволен «либеральничаньем» командира посыльного судна, тем, что Домерщиков не смог «обуздать распоясавшуюся команду». По возвращении в Петроград он был снижен на ступень в воинском звании – из кавторанга снова стал старшим лейтенантом – и в этом чине в ноябре семнадцатого года был «отчислен из резерва морского ведомства». Приказ этот, заготовленный еще в канун Октябрьского переворота, бюрократическая машина Адмиралтейства «провернула» по инерции в первые дни советской власти. Список моряков, увольняемых с флота, подписали управляющий Морским министерством «первый красный адмирал» Иванов и народный комиссар по морским делам Дыбенко. Если бы они знали, что от службы отстраняется офицер, относившийся к своей революционной команде «с тактом и пониманием», фамилию Домер-

щикова наверняка бы вычеркнули из этого списка. Но они не знали, и это роковое обстоятельство отлучило моего героя от военного флота на двадцать лет…

Вот что стояло за старой фотографией, найденной Еленой Сергеевной в осиротевшей комнате.

– Вместе с этой фотографией я нашла еще одну.

Елена Сергеевна положила передо мной желтоватый снимок на паспарту из плохонького, рыхлого картона. Я вздрогнул: это была та фотография, которая в досье Палёнова имела достоинство козырного туза. Домерщиков позировал фотографу в форме английского офицера – френч, перетянутый портупеей, бриджи… Стоп! На полях паспарту слабая карандашная надпись: «Порт-Саид, 17». Так вот в чем дело! И как же я раньше не догадался! Лихорадочно роюсь в портфеле, достаю ксерокопию дневника Иванова-Тринадцатого. Листаю. Глава «После катастрофы»: «Англичане обмундировали спасенную часть команды в английское солдатское платье, снабдили лагерным имуществом: палатками, одеялами, циновками, взяли на довольствие…»

Вот уж действительно, ларчик открывался просто! Ну как было не сфотографироваться в столь экзотической форме: русский моряк в мундире английского пехотинца! Мог ли он подумать, что этот шуточный почти снимок будет использован против него как одно из главнейших доказательств его участия в чудовищном преступлении?

Так в досье Палёнова была пробита вторая брешь: Домер-

щиков не был ни дезертиром, ни офицером английской армии!

– Вот и все, что мне досталось от Екатерины Николаевны, – развела руками Максимович.

Я был удивлен, что осталось хоть это… Поразительно, что эта женщина, весьма далекая от истории флота и архивных розысков, но тем не менее подобравшей с пола старые «бумажки» и фото, сохранила частицу жизни почти неведомого ей человека. Она поступила как истинная интеллигентка, и благодарить ее за это было бы бестактно.

– Значит, главная часть семейного архива Домерщиковых попала к той женщине, которая ухаживала за Екатериной Николаевной в доме престарелых?

– У Нины Михайловны, – уточнила Максимович.

Я прозвонил всю цепочку ленинградских телефонов, и – уж так мне везло в тот день – сестра соседки Домерщиковых по «эпроновской» квартире Татьяна Павловна Беркутова отыскала номер какой-то женщины, чей зять знает адрес Нины Михайловны. Зять сообщил заветный адрес и тут же предупредил, что у Нины Михайловны большая беда. Поздним вечером она возвращалась из сберкассы, ее подкараулил грабитель, ударил молотком по затылку… В общем, рана зажила, но ее мучают головные боли, у нее провалы в памяти, и вообще ей вредно перенапрягаться, вспоминать, волноваться… Сейчас она уехала к родственникам в Саратов. В Ленинград вернется не раньше чем через месяц.

Я поблагодарил своего собеседника, посочувствовал пострадавшей женщине и искренне пожалел, что на тупую башку грабителя, наверное, никогда не опустится стальной молоток.

До отхода «Красной стрелы» еще есть время заглянуть в архив.

Когда-то для меня это слово звучало так же мертво, как «кладбище», а люди, которые там работали, напоминали этакого пронырливого старичка, «веселого архивариуса» из популярной радиопередачи: «Для вас ищу повсюду я истории забавные…»

Теперь знаю: архив – пороховой погреб истории. В толстостенных хранилищах, за тяжелыми стальными дверями коробки с документами стоят на стеллажах, как снаряды в корабельных артпогребах. Мне показалось – грянул самый настоящий взрыв, когда я открыл тоненькое «Судное дело лейтенанта Домерщикова». Кронштадтский военно-морской суд приговаривал моего героя к «отдаче в исправительное арестантское отделение на два года и четыре месяца с исключением из службы и лишением воинского звания, чинов, ордена Св. Станислава III степени, дворянских и всех особенных прав и преимуществ» за – я глазам своим не поверил! – «за непополненную растрату 22 054 рублей 761/2 копеек вверенных ему по службе денег и учиненный с целью избежать суда за эту растрату побег со службы»…

Как, Михаил Домерщиков – обыкновенный растратчик?!

Лучше бы я не находил этих бумаг! Лучше бы на этом месте биографии героя навсегда осталось бы белое пятно… Мне не хотелось верить «Судному делу». Но слова из песни, а тем более из документа, не выбросишь…

Образ Домерщикова как-то сразу поблек в моих глазах. Напрашивался и другой горький вывод: человек, промотавший корабельные деньги, мог вполне стать героем досье господина Палёнова.

Но что он сделал с этими двадцатью двумя тысячами? Прокутил в ресторанах? Проиграл в карты? Присвоил? Ни на один из этих вопросов я не мог сказать себе «да», и вовсе не потому, что не знал точно, как именно распорядился он этой суммой, а потому, что не верил, что такой человек, как Михаил Домерщиков, – образ его сложился прочно! – способен на бесчестные поступки. Не верил, и все тут.

Ленинград. Март 1986 года

Я с нетерпением дождался возвращения Нины Михайловны. Созвонился с ней и, узнав, что она чувствует себя более или менее сносно и может меня принять, отправился на Каменный остров с тайной надеждой, что это последний пункт моей гонки за архивом Домерщикова. Надежду эту подкреплял и вид дома – старинной постройки «под крепость», в таких стенах старые бумаги приживаются. И камин, переделанный в печь, обнадеживал меня, и потемневшая бронза люстры, и обе хозяйки комнаты – пожилая дочь и престарелая мать, одна – инженер-рентгенолог, другая – физик-педагог,

да и весь дух старой, петроградской еще, квартиры – все, все сулило надежду на успех. Но… не может же везти бесконечно.

– Все бумаги Екатерина Николаевна сожгла перед отъездом в дом престарелых, – огорошила меня Нина Михайловна. – Лично у нас никаких дневников, писем, документов и даже фотографий не осталось. Мебель хорошая была, старой работы, карельская береза… Трюмо, шкаф, бюро с маленькими ящичками. Да… Единственное, что осталось у нас от Екатерины Николаевны, так это вот этот чемоданчик.

Передо мной раскрыли ветхий чемоданчик, вроде нынешних «кейсов», блеснули безделушки: хрустальные подставки под ножи и вилки, серебряная ложечка, медная пепельница работы Фаберже с вязью «Война 1914 год», гипюровая вставочка с блестками, коробочка из-под сигар «Георгъ Ландау» со стеклярусом, бронзовые гномики на куске полевого шпата…

Мир вещей человека – это слепок его души. Передо мной лежали осколки этого слепка. И здесь, как и в бывшей квартире Екатерины Николаевны на Кирочной, отлетевшая ее жизнь немо продолжалась в этих вещицах…

– У нас больше ничего нет…

– Никаких бумаг и фотографий?

– Никаких…

– А в мебели, в бюро или в шкафу, ничего не было? Вы ничего не находили?

Дочь с матерью переглянулись.

– А мы особенно и не осматривали… Может, что и было…

Я не удержал горького вздоха и стал прощаться.

– Конечно, – рассуждал я вслух, – нет смысла искать эту комиссионку… Адреса покупателей не регистрируют. Да и кто помнит, какую мебель привозили в магазин десять лет назад…

– Знаете что! – вдруг всполошилась мать Нины Михайловны. – Ведь в магазин ушла только часть мебели. А бюро, шкаф и трюмо были проданы на киностудию «Ленфильм» как реквизит. У меня, кажется, и телефон этой женщины сохранился… Вот он: Елизавета Алексеевна Тарнецкая…

Телефон старый, шестизначный.

Ни на что не надеясь, так, для сознания, что сделано все, что могло быть сделано, выясняю в справочной службе, которой за эти дни мой голос наверняка надоел, новый номер Тарнецкой, звоню…

– Мебель карельской березы? Да, есть у нас такая – шкаф, кресло, трюмо. Все это снималось в фильме «Звезда пленительного счастья» – о декабристах. Будете смотреть, обратите внимание – Наталья Бондарчук сидит именно в том кресле, какое вас интересует.

– Меня не кресло интересует… Знаете, в старинной мебели мастера иногда устраивали потайные ящички. Нажмешь на штифтик, ящик выскакивает, а в нем – бумаги.

Я думал, собеседница моя рассмеется, но она ответила очень серьезно:

– Не знаю, как насчет ящичков, но бумаги в шкафу были – целая папка. Зеленого цвета. И бумаги, и фотографии каких-то моряков…

– Она сохранилась?!!

– Ой, боюсь, что нет… Скорее всего, нет. Ведь лет десять почти прошло. Нет. Я сама потом искала ее. Выбросили. К нам ведь часто и книги старинные попадают, и бумаги. Накопится порядочно – выбросят. Или в макулатуру сдадут. Девчонки у нас молодые работают, для них это все – хлам. А зеленую папку я помню. Старинного вида. Она тоже в этом же фильме снималась. Ее даже набивать ничем не надо было. Пухлая.

– Вы хоть просмотрели эти бумаги? – застонал я в трубку.

– А как же! Прочитала все, как роман какой. Писал бывший моряк.

– Не Домерщиков ли Михаил Михайлович?

– Да. Он самый. Я даже домой ту папку носила, отцу читать. Он там много фамилий знакомых нашел…

– Ваш отец моряк?

– Нет. Но с кораблями был связан. Он специалист в области радиоантенн. На первом искусственном спутнике Земли его антенны стояли! Может быть, слышали – Алексей Александрович Тарнецкий?

– Нет, к сожалению, не слышал… А вы не припомните, о

чем шла речь в этих бумагах?

– Точно сейчас уже не скажу… О японской войне, о кораблях, о походах… Но одно письмо мне очень запомнилось. Оно было адресовано Сталину. Домерщиков писал ему о своей тяжелой судьбе, о том, что он, бывший морской офицер, остался верен своей Родине, не покинул ее в революцию и хотел бы применить свои знания и опыт на пользу народу, но ему всюду отказывают в месте… Он остался почти без средств к существованию. Письмо длинное, складное, написано литературно… Самое поразительное, что на нем черным карандашом – это я помню хорошо – была наложена резолюция Сталина: «Товарищу наркому такому-то… Прошу разобраться и оказать содействие». Фамилия наркома польская. Год был проставлен не то тридцать шестой, не то тридцать седьмой… Да, интересной судьбы человек этот ваш Домерщиков…

Глава четырнадцатая
ТАНГО СОЛОВЬЯ

Москва. Март 1986 года

Я уезжал в Москву с ощущением безмерной усталости. Должно быть, нечто подобное испытывают марафонцы, сошедшие с многокилометровой дистанции перед самым финишем… Все тщетно… Зеленой папки нет. Я опоздал, не успел выхватить ее из равнодушных рук… Начать бы поиск на год раньше. Теперь же следствие по делу «Пересвета» можно закрывать. Оборвалась последняя нить. Даже не оборвалась, а просто привела к пустоте, к черному провалу, к кучке пепла, к грудке измельченного бумажного сырья, в которую превратились дневники старшего офицера «Пересвета»…

Я стал перебирать всех, кто мог, хотя бы намеком, объяснить историю с растратой казенных денег. Еникеев? Он далеко, в Тунисе, да и жив ли? К тому же жизнь Домерщикова он знал в самых общих чертах.

Палёнов? О как бы он обрадовался еще одному факту, работающему на его версию!

Племянник, Павел Платонович? Он был бы обескуражен, когда б я спросил его об этом, и только…

Кротова? Как же мне сразу не пришло это в голову! Еще тогда, когда я уходил от нее, у меня было такое ощущение,

что рассказала она далеко не все, что знала. Да и с какой стати исповедоваться ей перед человеком, которого видит впервые!

В один из субботних дней я заехал за Марией Степановной на такси и пригласил ее в те самые «Столешники», куда она отнесла свои фотографии. Кротова страшно взволновалась, как всякая женщина, которой за полчаса до бала объявили о выходе в свет.

В кафе мы спустились в подвальный зал «Москва и москвичи». Здесь на каждом столике горели свечи, а разговор при свечах совсем не то что беседа на солнцепеке или под электролампочкой…

Я рассказал о «Судном деле», о двадцати двух злополучных тысячах, о мучивших меня вопросах…

– Как? – удивилась Мария Степановна. – Неужели вы об этом ничего не знаете? Мне казалось, вы знаете о Михаиле Михайловиче все… Разве в прошлый раз я ничего не сказала?

– Нет, нет и еще раз нет!

– Ну тогда успокойтесь: я вам сразу скажу – те деньги он не прокутил и не проиграл. История довольно необычная, я считаю ее просто трогательной, но это уже дамские сантименты… А вот что было. Тогда, в девятьсот шестом, во Владивостоке случилось примерно то же, что в Кровавое воскресенье в Санкт-Петербурге. Войска стреляли в народ. Было много жертв. И в городе был создан комитет помощи по-

страдавшим. Вот туда-то Михаил Михайлович и отнес эти деньги. На «Жемчуге» он был ревизором, и ключ от корабельной кассы хранился у него… Понимаете, он был молод – двадцать четыре года! – он только что пережил позор Цусимы, позор бегства корабля в Манилу, фактически сдачу в плен, ведь интернирование – это сдача на милость другого государства. Когда же он увидел, как царские войска стреляют в народ, тут, как говорится, чаша переполнилась. Он говорил, что ему было стыдно носить на плечах офицерские погоны. Многие стрелялись… А он решил спасти честь корабля хотя бы таким образом – передал корабельную кассу как взнос в пользу жертв революции. Он как бы оштрафовал царское правительство на эти двадцать две тысячи, вернув их народу.

Конечно же, его отдали под суд. Но делу не стали придавать политическую окраску. Объявили его заурядным мотом. Подобные растраты на царском флоте случались нередко. Ну а он бежал из-под стражи, не дожидаясь суда неправедного. Бежал, спасая свою честь. Ему удалось пробраться на судно, идущее в Йокогаму, оттуда он прибыл в Шанхай, а из Шанхая в Австралию, зарабатывать на хлеб насущный… Так что насчет Михаила Михайловича черных мыслей не держите. Это был в высшей степени достойнейший человек.

Официант сменил сгоревшую свечу. Разговор наш длился долго…

Ленинград. 21 июня 1941 года

В этот субботний вечер ресторан гостиницы «Европейская» был полон. Летний ветерок колыхал шелковые маркизки на высоких окнах бельэтажа. Играл эстрадный оркестр. Безмятежно тенорили саксофоны, подражая фиоритурам соловья. Молодые флотские командиры, с только что нашитыми на рукава лейтенантскими галунами, отмечали, как видно, свой выпуск. Довольно смело, но не очень умело водили они своих подруг в танго.

И когда из-за своего столика поднялась немолодая пара, он – высокий, густобровый, в белом флотском кителе без нашивок, она – статная, не утратившая следов былой красоты дама в вечернем платье, и начали танец плавно, легко, уверенно – с красивыми проходами, быстрыми поворотами, четкими шассе влево, вправо, – все расступились, освобождая место, а потом, с последним па классического танго, зааплодировали ему и ей, чуть запыхавшимся от стремительных движений. Но кто-то фыркнул им в спину:

– Видать, из бывших…

Да, о своей жизни они могли говорить в прошедшем времени. Во всяком случае, седобровый человек в белом кителе. Жить ему оставалось чуть больше шести месяцев. Знал ли он это? Предчувствовал? Говорят, люди, много испытавшие, страдавшие, способны предугады вать свое будущее. Этот человек пережил немало: три войны, две рево люции, эмиграцию, гибель двух кораблей, два суда, ссылку, потерю

семьи, но и он, наверное, не мог представить себе тогда, сидя за обильно накрытым столиком, что очень скоро будет умирать от голода.

И женщина в вечернем платье невесела. О чем она грустит? Вспоминает, как двадцать лет назад она королевой вступала под своды этого зала и музыканты, завидев ее, вставали и стоя исполняли ее любимый марш? Или женское сердце-вещун подсказывает, что этот вечер – ее последний выход в свет, что это прощание с едва наладившейся, счастливой, мирной жизнью?

Через несколько часов начнется война… Ах, как беззаботно заливаются саксофоны, как будто торопятся допеть свою беспечальную песню…

С первых же дней Великой Отечественной ЭПРОН вольется в состав Военно-Морского Флота, и бывший младший артиллерист «Авроры» и «Олега», командир минно-подрывного взвода Дикой дивизии, старший офицер «Пересвета», командир «Млады» и капитан «Рошаля» вступит вместе с коллегами-эпроновцами в свою четвертую войну – под сень тернового венца блокады…

…Новоиспеченные лейтенанты – шумные, радостные, щеголеватые – сдвигали столы. Как скромны их новенькие кители, ни эполет, ни шитья – все в духе времени: Рабоче-Крестьянский Красный Флот.

Грубы их руки, проще манеры, иная речь… Но выпускались-то они из стен все того же Морского корпуса, правда,

переименованного теперь в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе.

Домерщиков давно не заглядывал в альма-матер, однако слышал, что «Звериный коридор» с портретами флотоводцев по-прежнему зовется «Звериным» и так же, как в его времена, никто не смеет ступить в Компасном зале на инкрустированную в паркете картушку… Вот этот высокий худой фрунзак похож на Ларису, как звали в корпусе его закадычного дружка гардемарина Ларионова, а этот, с чернявыми усами, вылитый Попка-Павлинов. Где он теперь?

Как, в сущности, все было недавно, если и этим лейтенантам идти на те же корабли, которые он, Домерщиков, прекрасно помнил под Андреевским флагом. Быть может, кто-то из них попадет на старушку «Аврору». Или на бывший «Гангут», ныне линкор «Октябрьская революция», или на один из «Новиков», кои прекрасно прижились на новом флоте борт о борт с современными кораблями.

Ага, они заказывают музыку. Ну-ка, ну-ка, что поют нынче «красные офицеры»?

Штормовать в далеком море
Посылает нас страна…

Скромно, скромно…
Нет, их курс выпускался по-другому.
Санкт-Петербург. Декабрь 1901 года

Мела пурга. Ах, какая пурга мела в ту зиму…

Она примчалась из-за ледяных скандинавских гор, с сопок Лапландии, с утесов Новой Земли…

Пурга неслась по Невскому осмысленно и деловито. Она тушила плохо закрытые фонари. Курилась над трубами недостроенной «Авроры», набивала белый порох в жерла адмиралтейских мортир и рассыпала снежную крупу перед бронзовыми орлами Зимнего.

Словно заботливый конюх, накрывала она белыми попонами крупы медных коней – и петровского жеребца, вздыбленного на Гром-камне, и тех, что плясали на Аничковом мосту, и тех, что скакали с арки Главного штаба…

Пурга покрывала желтоватый невский лед снежными застругами. Набивала белым сыпучим прахом урны на колоннах ограды Летнего сада.

Под белую панихиду той знатной пурги выпускались мичманы Цусимы…

Они ждали производства, как невесты венца. Да и хлопоты с шитьем офицерской формы напоминали свадебные заботы. Еще с весны портные и агенты обмундировочных мастерских заваливали дортуары старшей гардемаринской роты мундирами, сюртуками, кителями, шинелями…

Морская форма – черное с золотом: вечный траур и вечный парад…

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«В батарейной палубе появился тяжело раненный младший штурман Ларионов. Его труд-*

но было узнать: тужурка залита кровью, с одного погона сорвана лейтенантская звездочка, левая рука на перевязи, голова и лицо забинтованы, открыт только правый глаз.

В волосах колтун из слипшейся крови и угольной пыли. Нос сломан, верхняя губа разорвана».

…Каждый вечер выпускники теснились перед зеркалом разодетые, как на маскараде, во все двадцать два варианта флотской формы: в зимнюю, летнюю, парадную, дворцовую, визитную, караульную, строевую-служебную, походную…

Кроме того, надо было знать, что и в каком сочетании надевать на балы и траурные церемонии, на приобщение к Святым Тайнам и на судебные заседания, в чем присутствовать при спуске кораблей и при выносе Святой Плащаницы, в чем идти в десант и в чем под венец, в чем выходить на вахту и во что облачаться при стоянке на якоре… Надо было знать многосложную иерархию орденов и медалей, знать, в каких случаях разрешено ношение белых шаровар, башлыка, галош и наушников…

Но вот все готово, пригнано, подогнано, отутюжено, накрахмалено…

В день производства – 5 декабря – новоиспеченные мичманы, в парадных треуголках, взбудораженно-радостные, толпились в аванзале квартиры морского министра. Еще слышны в шумном говоре корпусные прозвища – Заклепка, Дворник, Адашка, Эйч-Пейч, Индюк, Э-э-э-эрмингельд, Мураевка, но в руках у каждого свернутый в трубочку при-

каз о производстве и распределении по морям и экипажам. И у каждого горит на эполетах одинокая мичманская звездочка – для кого-то путеводная, для кого-то погребальная…

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«Лейтенант Дурново, привалившись к стенке, сидел неподвижно, согнутый, словно о чем-то задумался, но у него с фуражкой был снесен череп и жутко розовел застывающий мозг… Лейтенант Гирс валялся с распоротым животом…*

…Вид лейтенанта Постельникова был ужасен: весь майский костюм его был сплошь покрыт кровью; лица даже нельзя узнать. Ему в щеку попал осколок, выбил зубы, раздробил челюсть, и он не мог говорить. У него была перебита рука, но он не покидал свой плутонг».

Шумно и весело в аванзале квартиры министра.

Пока не грянула команда, назначаются рандеву и выбираются рестораны: у Донона, у Кюба, у Медведя…

– Господа офицеры!

Замерли стихшие шеренги. В дверях плывет, рябит, сверкает густое адмиральское золото: морской министр, директор Морского корпуса, начальник бригады крейсеров, штабная свита.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«После поздравления с производством и восторженных криков „ура“, – вспоминал мичман Б. Арский, – мы все мигом вылетели, как птички из клетки, на Адмиралтейскую площадь, гремя палашами по каменной мостовой. Мы лихо рассаживались по „извозцам“, сто-*

явшим длинной вереницей у подъезда министерства. В этот вечер мы были героями дня и покорителями дамских сердец Петербурга. Все, казалось, смотрели на нас, и все улыбались нам. Солдаты и городовые и те, казалось, как-то особенно молодцевато отдавали нам честь. С лихо наброшенными николаевскими шинелями мы гарцевали на лихачах по улицам столицы…»

Через три-четыре года за эти золотые деньки им пришлось платить по самому высокому счету – кровью, увечьями, жизнью…

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«И вторично лейтенант Гирс был весь охвачен пламенем. Добравшись до боевой рубки, он остановился в ее проходе, вытянулся и, держа обгорелые руки по швам, четко, как на параде, произнес: „Есть!“ Заметив, что его, очевидно, не узнают и молча таращат на него глаза, он добавил:*

– Лейтенант Гирс!

…На нем еще тлело изорванное платье. Череп его совершенно оголился, были опалены усы, бачки, брови и даже ресницы. Губы вздулись двумя волдырями. Кожа на голове и лице полопалась и свисала клочьями, обнажив красное мясо… Дымящийся, с широко открытыми глазами, он стоял, как страшный призрак, и настойчиво глядел на капитана второго ранга Сидорова, ожидая от него распоряжений…»

Да, их «цусимский выпуск» честно расплатился за те немногие радости жизни, которые успели выпасть на его до-

лю…

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *В последний раз они стояли рядом, мичманы выпуска 1901 года: Кедров, Домбровский, Домерщиков, Зеленой, Ларионов, Павлинов, Щастный, братья Тихменевы, Тыртов, Феншоу.*

Жизнь разметет этот строй не просто по кораблям – по всему свету, по странам и континентам. Этот осядет в Шанхае, тот в Тунисе, этот не покинет Родины, тот застрелится на чужбине.

Имена многих из них войдут в историю отечественного флота. Одни будут выбиты на ее страницах золотом, другие – вытравлены чернью.

Пока еще они все в одной шеренге. Они смотрят в будущее с надеждой оперенной юности. О счастливое неведение грядущего!

Я вглядываюсь в их лица с высоты своего времени – из их далекого будущего. Легко быть оракулом, глядя в прошлое… Я могу вызвать их из строя и каждому объявить его судьбу, как только что объявили им назначения на моря и корабли.

Мичман Кедров!

Вас ждет блестящая карьера и тусклый финал. Адмирал Макаров выберет вас за ясный ум и расторопность в личные флаг-офицеры. Вам повезет: в день гибели Макарова на «Петропавловске» вы уйдете в поход на эсминце «Боевом». Вам повезет еще не раз. В день бунта на линкоре «Ган-

гут» вы окажетесь на берегу. Вы первым из выпуска наденете контр-адмиральские погоны, а к ним – аксельбант флигель-адъютанта. Но не выпадет на вашу долю ушаковских викторий… И ваш второй – вице-адмиральский – орел слетит на погоны с терновым венцом вместо державы. Вы получите этот чин в награду от Врангеля за невиданную в истории спасательную операцию: свыше полутораста тысяч русских людей – белых солдат, казаков, офицеров, священников, чиновников, инженеров, артистов, писателей, их жен и детей – увезут из Крыма ваши корабли от расправ озверевших победителей. А вам вести свою эскадру в последний поход – в Северную Африку, во Французский Тунис, в Бизерту, ставшую корабельным кладбищем Черноморского флота.

В двадцать втором вы покинете эскадру изгнанников и переберетесь в Париж, где, на удивление всем, сядете на студенческую скамью в институте железнодорожных инженеров…

В сорок пятом вы не успеете получить советский паспорт, чтобы умереть на родине. Смерть придет к вам в Париже 29 октября…

Мичман Домбровский!

Посмотрите на своего соседа справа – мичмана Кедрова. Это с ним, с его белым флотом, вам придется воевать в гражданскую. Это вдогонку его беглой эскадре вы, «красный адмирал», начальник морских сил Черного моря, пошлете подводную лодку. Правда, она не успеет выпустить торпеду по

вашему бывшему однокашнику, и тот уведет свою беглую эскадру в Бизерту…

Быть вам начальником Морского штаба республики и кончить свой век в почете и мире на семьдесят втором году жизни.

Мичман Тихменев!

Быть и вам адмиралом. И вы войдете в историю вместе с флажным сигналом, который поднимет вам в спину эскадренный миноносец «Керчь»: «Позор изменникам России!»

И долго еще будут трепать ваше имя кривдописцы за то, что не поднимется рука затопить в восемнадцатом черноморские корабли – те самые, на которых через два года адмирал Кедров спасет сто пятьдесят тысяч соотечественников, всех, кто предпочел исход в неизвестность насилию и неправде.

Вашей тихой гаванью станет Бизерта. Станет ли пухом сухая земля чужбины?

Мичман Щастный!

Торопитесь жить. До расстрела вам осталось семнадцать лет. А пока вас ждут огненная купель Порт-Артура и фронтовой Балтики, невручение лавры спасителя Балтийского флота и скорбная честь быть «первой жертвой советского правосудия». Но вам успеть еще стать адмиралом. Адмиралом на час. Но на «звездный час»…

Вас расстреляют на Арбате – в подвале Александровского юнкерского училища. Это случится в один из нежных июнь-

ских вечеров восемнадцатого года – в самое летнее солнцестояние. «Время белых ночей и белых фуражек…» Беловерхую фуражку вы приложите к левой стороне груди – чехлом к вскинутым винтовкам, – чтобы попали наверняка. Красные китайцы не промажут, и комиссару Андриевскому не придется добивать вас из маузера. Приедет Троцкий, дабы лично убедиться, что опаснейший враг, хранивший документы о связях большевиков с германской разведкой, мертв. Он прикажет зарыть труп адмирала здесь же, в подвале. Лишь за семь лет до конца века потомки помянут вас добрым словом, Алексей Михайлович Щастный, и отслужат панихиду в ближайшем к месту расстрела храме – Большого Вознесения. Там, где венчался когда-то Пушкин.

Мичман Ларионов!

Жизнь трудная и честная.

Цусима. Кровавый бой на броненосце «Орел», семнадцать осколков в голову и орден на грудь…

Свой белый китель вы будете носить и в Красном Флоте, служа ему как историк, как летописец. Вас пощадят пули, осколки и морская пучина. Страшитесь голода, он оборвет вашу жизнь в блокадном Ленинграде.

Мичман Павлинов!

Забубенная головушка… На «Орле» – орлом. На берегу – гусаром. Жена – красавица. Пил, шутил, командовал миноносцем и в тринадцатом году в номере выборгской гостиницы «покончил счеты с жизнью» выстрелом в лоб.

Доживет за вас, Сергей Павлинов, и дослужит русскому, а затем и советскому флоту младший брат ваш Владимир. И станет он крупным ученым, видным флотским инженером, конструктором электромагнитного трала, это он в девятнадцатом начнет работу, которую завершит в сорок первом Игорь Курчатов, – защиту кораблей от неконтактных мин и торпед…

Мичман Домерщиков!

О вас эта повесть…

А лейтенанты-фрунзаки шиковали: шампанское в серебряном ведерке со льдом, икра в хрустале; в пятый раз они заказывали музыкантам «Танго соловья».

Какие судьбы предвещаны им? Им тоже – платить по счетам. Похоже, им придется еще горше: морское оружие стало не в пример изощреннее, дальнобойнее, убийственнее… Но уж таков удел военного моряка – встречать врага в море, погибать в море, побеждать в море.

Флотская форма: черное с золотом – вечный траур и вечный парад.

Лейтенанты шумно прощались с Ленинградом, они собирались на Север, туда, куда не дошел «Пересвет»…

Человек в белом кителе встал из-за столика и пригласил свою даму к последнему танцу. Саксофон курлыкал беззаботно…

Часть вторая
ВЕРСИЯ ЛЮДЕВИГА

Глава первая
МЛАДШИЙ ШТУРМАН «ОРЛА»

Итак, зеленую папку с письмами и дневниками старшего офицера «Пересвета» можно лишь увидеть… на киноэкране, в фильме «Звезда пленительного счастья», но открыть ее, увы, невозможно.

Значит, надо расстаться с мыслью, что бумаги Домерщикова прояснят тайну гибели «Пересвета». Значит, надо искать другой путь, но какой?

Для начала решил просмотреть все, что написано у нас о «Пересвете». Написано мало, одни и те же факты перекочевывают из книги в книгу, в том числе и версия подрыва броненосного крейсера на германской мине. Самым первым автором этой версии был не кто иной, как командир «Пересвета» Иванов-Тринадцатый, телеграфировавший в Морской генеральный штаб на другой день после катастрофы: «Я почувствовал двойной удар мины, а затем взрыв. Вслед за этим «Пересвет» погиб…»

Иванов-Тринадцатый не допускал и мысли о диверсии,

так как в этом случае вина за гибель корабля целиком ложилась бы на него: не обеспечил охрану крейсера в Порт-Саиде. Другое дело – подрыв на германской мине. Тут всю ответственность несут англичане: это они не протралили как следует фарватер, не организовали должным образом противолодочное прикрытие и т д. Английское адмиралтейство не захотело брать грех на душу и ответило следственной комиссии, что все немецкие мины на подходах к Порт-Саиду были вытралены еще в октябре – ноябре 1916 года и что никаких подводных лодок в конце декабря – начале января в районе гибели «Пересвета» не обнаружено. Зато кайзеровский флот охотно записал на свой боевой счет гибель «Пересвета», и в книге Р. Гибсона и М. Прендергаста «Германская подводная война 1914—1918 гг.» всплыл даже тактический номер немецкой субмарины – U-73, на минах которой мог бы взорваться русский линкор. Из этой книги тактический номер U-73 перебрался в весьма авторитетную монографию К.П. Пузыревского «Повреждение кораблей от подводных взрывов и борьба за живучесть», выпущенную «Судпромгизом» в 1939 году, а уж затем, спустя девять лет, утвердился на страницах академической хроники «Боевая летопись русского флота» как бесспорный факт. Но дело-то в том, что «факт» все же спорный…

Над Москвой грохотали горячие майские грозы, в пыльных бурях, в метелях тополиного пуха.

В самый разгар поисков нагрянул ко мне в гости веселый

«флибустьер» Разбаш, давно уже ставший капитаном 1-го ранга. Мы пили кофе, вспоминали поход в Тунис, Бизерту, Еникеева… Я рассказывал о своих розысках, показывая фотографии Домерщикова.

– Постой, постой! – Разбаш хлопнул себя по коленке. – А ведь я о нем кое-что читал! И о гибели «Пересвета», и о Домерщикове… Попадалась мне в руки такая книга: «Аварии царского флота». Автора не помню. Но издавалась она до войны. Кажется, в Ленинграде.

Разбаш припомнил, что речь в книге шла о диверсии на «Пересвете» и имя Домерщикова упоминалось с весьма лестными для него эпитетами…

Я немедленно позвонил в библиографический отдел библиотеки имени В.И. Ленина. Книга «Аварии царского флота» в каталогах не значилась. Я позвонил в Ленинград, в Центральную военно-морскую библиотеку, но и оттуда не сообщили ничего утешительного.

Разбаш клялся и божился, что название он не перепутал, что книгу он держал своими руками и читал своими глазами. Ее надо искать…

Время шло, книга не находилась, и в конце концов мне стало казаться, что это полумифическое издание так же недосягаемо, как и зеленая папка, погребенная в недрах «Ленфильма».

В тот раз я приехал в Ленинград по делам, никак не связанным с тайной гибели «Пересвета» и с судьбой его старше-

го офицера. Я уже свыкся с мыслью, что поиск мой не удался. В лучшем случае я смог убедить самого себя в том, что венский юрист весьма заблуждается насчет виновника взрыва на «Пересвете». И только.

В праздники на ростральных колоннах пылают факелы. Я выбрался из автобуса на Стрелке, чтобы полюбоваться редкостным зрелищем, и… оказался перед входом в Центральный военно-морской музей. Вдруг вспомнил, что давно собирался сюда, чтобы выяснить, кто такой Леонид Васильевич, которого Домерщиков упоминал в письме к Новикову-Прибою как общего друга, надорвавшегося при устройстве Морского музея.

На служебном входе меня остановил старичок с красно-бело-красной повязкой на рукаве, какую носят на кораблях вахтенные офицеры. Порядки в музее соблюдались флотские.

– Нет никого, – сообщил «вахтенный офицер». – День короткий, все домой разошлись.

На всякий случай он снял трубку внутреннего телефона и позвонил в комнату научных сотрудников. Ему ответили.

– Ваше счастье, – кивнул мне старичок, – Борода на месте.

Вахтер и в самом деле напророчил мне счастье…

Я поднялся на этаж, заставленный стеклянными футлярами с моделями кораблей. Я шел, как Гулливер посреди лилипутской эскадры: справа, слева вздымались то мачты фрегатов, то трубы броненосцев…

Борода, как выяснилось с первого взгляда, была не фамилия научного сотрудника, а его достопримечательность: квадратно остриженная, она росла вперед, отчего походила на кус старинного испанского воротника. Этот высокий немолодой человек назвался Андреем Леонидовичем и представился главным хранителем корабельного фонда музея, то есть флагманом застекленной эскадры.

Я спросил его о том, зачем пришел: не знает ли он, кто из былых сотрудников Морского музея носил имя-отчество Леонид Васильевич.

– Знаю, – улыбнулся главный хранитель. – Ученый секретарь музея Леонид Васильевич Ларионов. – Чуть помедлил и добавил: – Мой отец.

Сообщение это меня ничуть не удивило. За годы поиска подобных совпадений было немало. Я даже уверовал в магические круги, расходившиеся от имени «Пересвета» эдакими кольцами человеческих судеб…

– Тогда фамилия Домерщиков должна вам быть знакома.

– Михаил Михайлович-то? Боже, я помню его прекрасно! Это друг отца. Они учились вместе в Морском корпусе. Выпустились в один и тот же год. Вместе ходили в Цусиму. Только Домерщиков на «Олеге», а отец на «Орле». Оба после революции перешли на сторону советской власти, оба хлебнули лиха в известные годы, но дружбу свою не растеряли… Они и родились в один год, и умерли в одно время – в блокадную зиму сорок второго.

Оба с младых ногтей носили матроски и до седых волос – флотские кители… Жили флотом и ушли из жизни с флотским же девизом: «Погибаю, но не сдаюсь!»

Ларионов горделиво вскинул свою необыкновенную бороду. Я вспомнил «простую русскую фамилию: то ли Ларин, то ли Илларионов»… Тут меня осенило! Уж не Ларионов ли автор моей неуловимой книги?!

– Андрей Леонидович, не попадалась ли вам книга «Аварии царского флота»?

И снова легкая усмешка.

– Почему же не попадалась? Дома у меня хранится. Только это не совсем книга… Отец публиковал свои очерки об авариях различных кораблей в сборнике ЭПРОНа. Кто-то из друзей решил сделать отцу подарок: переплел все его статьи в один сборник с типографски отпечатанным титулом. Таких импровизированных книг было не больше десяти. Так что это действительно сверхредкое издание. Тираж всего десять экземпляров.

Музей закрывался. Ларионов уходил, куда-то спеша. Вопреки всем правилам приличия, я стал напрашиваться в гости. Фамилия Домерщиков – в который раз! – сработала как пароль.

– Если вы хотите увидеть эту книгу непременно сегодня, – Андрей Леонидович смотрит на часы, – и если вас не пугает позднее время – приезжайте в Климов переулок к одиннадцати часам… Я вернусь только-только…

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Андрей Леонидович Ларионов. Хранитель корабельного фонда Центрального военно-морского музея. Более сорока лет занимается тем же, чему посвятил последние годы жизни отец, – служит Истории. Хранит и восстанавливает уникальные модели, пишет статьи в морские журналы, автор десятков интереснейших публикаций. Консультант по вопросам русского судостроения, архивист-исследователь, лектор, пропагандист. Заслуженный работник культуры РСФСР.*

Ларионов живет близ устья Фонтанки, в местах, овеянных музой Гоголя и Блока. Полная луна над застывшей рекой, заснеженные сфинксы Египетского моста, темный и гулкий двор-колодец – все предвещало встречу необыкновенную, и предчувствие на сей раз меня не обмануло. С каждым шагом по лестнице время отступало все дальше и дальше, так что, поднявшись на третий этаж, я вступил в какие-то предреволюционные годы; дверь отворилась, и я попал в квартиру бывшего младшего штурмана эскадренного броненосца «Орел» Леонида Васильевича Ларионова.

Старинная люстра, книжные шкафы, столы, чертежный, обеденный, письменный, диван – почти любая вещь выдавала руку мастеров не нашего века. Морские бронзовые часы, фотографии в рамках, лафитнички, украшенные бело-голубой эмалью андреевских флагов, золоченые корешки книг, благородная кожа столетних фотоальбомов – во всем этом стояло время моих героев, его можно было осязать и слу-

шать, ибо оно пело медным боем корабельных часов, оно отзывалось шелестом страниц, шорохом карт и чертежей, скрипом старого дерева дедовских кресел и дубового паркета. И даже свет, лившийся из-под шелкового колпака затейливого торшера, казался тоже антикварным, пробившимся каким-то чудом из века парусников и пароходофрегатов…

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Леонид Васильевич Ларионов (1882-1942), сын флотского офицера, окончил Морской корпус в 1901 году, участвовал в Цусимском сражении в качестве младшего штурмана эскадренного броненосца «Орел». В бою был тяжело ранен, попал в плен к японцам. По возвращении из Японии работал несколько лет в Ученом отделе Главного морского штаба по научному разбору документов русско-японской войны.*

С 1914 по 1917 год капитан 1-го ранга Ларионов командовал яхтой морского министра «Нева» и состоял при Григоровиче офицером для особых поручений. Так же как и его патрон, Ларионов лояльно встретил советскую власть. Он прослужил на Балтике до двадцать первого года и с окончанием гражданской войны был демобилизован.

Не всем хватило кораблей. Далеко не все морские офицеры, перешедшие на сторону новой власти, смогли найти применение своему опыту и знаниям на флоте, в качестве военспецов. Кораблей у молодой Советской Республики было мало: одни погибли в гражданскую, другие были уведены интервентами, третьи стыли и ржавели в «долговремен-

ном хранении». К тому же готовились новые командиры – из рабоче-крестьянской среды. И бывшие мичманы, лейтенанты, кавторанги устраивались кто как мог: шли в бухгалтеры, учетчики, в учителя, одним словом – в совслужащие.

Домерщикову повезло: он получил работу по специальности, и какую – капитан дальнего плавания на международной линии!

Его однокашнику пришлось много сложнее. Сначала он служил в Упрснабе Северо-Западных областей, затем перешел на работу в Поверочный институт Главной палаты мер и весов СССР. Оттуда судьба забросила его на шесть лет в Сейсмологический институт Академии наук СССР.

В середине тридцатых годов кто-то припомнил ему офицерские погоны, и Ларионов остался без работы. На его попечении были больная мать, жена, пятилетний Адя и престарелая нянька. В эти немыслимо трудные годы, когда деньги приходилось рассчитывать даже на трамвайную поездку, когда покупка пирожного для больного сына образовывала в семейном бюджете ощутимую брешь, Ларионов засел за литературную работу. Он писал «Аварии царского флота» и ежевечерне, по старой штурманской привычке, четким, штурманским же почерком заполнял «Вахтенный журнал» – дневник своей нелегкой сухопутной жизни. Именно в те немилосердные годы он исповедовался дневнику: «Приход революции не был для меня неожиданностью. Мой путь до семнадцатого года был покрыт большими терниями. Труд-

ное детство. Ранняя потеря отца. Цусима. Раны. Плен. Пять лет лечения. После плена следствие и суд над Небогатовым. Бедствование без денег. Меня никто не тянул. Всей карьерой обязан сам себе. Но подлостей не делал и подлизыванием не страдал. В 1916 году к 1 декабря заплатил все долги и 5 декабря попал в капитаны 1-го ранга. С 1917 по 1935 год я честно служил и работал, испытывал много лишений, и холод, и голод. Временами работал день и ночь. Высшей радостью были достижения Союза. Только социализм мог их дать. С точки зрения морской: освоение Арктики – мечта отца и моя, – флот, поставленный на исключительную высоту».

И только в 1937 году потомственный моряк смог снова связать свою судьбу с военным флотом: ему предложили принять участие в реконструкции музея РККФ. И хотя Ларионов считался обыкновенным совслужащим, он, как и Домерщиков в ЭПРОНе, с превеликой радостью облачился в белый китель и беловерхую фуражку, сохраненные с незапамятных времен…

Была у него в те сухопутные годы великая отрада – дружба с Новиковым-Прибоем…

Глава вторая
ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ «ЦУСИМЫ»

Нет такой библиотеки в стране, нет такого моряцкого дома, где бы не стояла на книжной полке «Цусима» Новикова-Прибоя.

Это не просто роман, беллетристика… Это литературный памятник русским морякам, сложившим головы на Тихом океане. Это хроника небывалой морской трагедии, это реквием по Второй Тихоокеанской эскадре, это, наконец, энциклопедия матросской жизни.

В лице Новикова-Прибоя безликая, бессловесная матросская масса, какой она представала с высоты командирских мостиков, обрела в печати свой зычный голос. Заговорили корабельные низы – кубрики, кочегарки, погреба… И мир спустя четверть века после Цусимского сражения узнал о нем, может быть, самую главную правду.

В 1932 году вышла в свет первая книга романа Новикова-Прибоя «Цусима»1. Она сразу же стала событием в молодой советской литературе, и имя автора ее, до той поры малоизвестного литератора, матроса-самоучки, зазвучало вместе с именами зачинателей пролетарской литературы: Серафимовича, Фурманова, Всеволода Вишневского…

«Цусиму» заметили не только в нашей стране, но и за рубежом. Даже обычно ядовитые белоэмигрантские морские

журналы невольно отметили. «Бесспорная ценность этого произведения, – писал в Праге бывший сослуживец баталера Новикова по «Орлу» князь Я. Туманов2, – в том, что оно единственное, написанное не обитателем офицерской кают-компании, а человеком, проделавшим знаменитый поход в командном кубрике и носившим в то время матросскую фуражку с ленточкой… Хорошим литературным русским языком автор живо и красочно описывает незабываемый поход Второй эскадры от Кронштадта до Цусимы… Книгу эту следует прочесть всем морским офицерам. Это человеческий документ, написанный искренне и правдиво».

Книги как факелы. Одни еле чадят, другие ярко пылают. Тут все зависит от того, чем заправлен этот светоч – правдой, талантом или гуманизмом… «Цусима» – из того редкого разряда книг, что не только светят, но и греют. Она, как добрый костерок, собирала вокруг себя людей, объединяла их, связывала, роднила… Участники похода Второй Тихоокеанской эскадры – а их, уцелевших, насчитывалось в тридцатые годы несколько тысяч, – разбросанные по всей бескрайней стране, они стали искать друг друга, списываться, съезжаться… Старые моряки как бы воспрянули духом. В романе развертывалась ярчайшая панорама матросского мужества. Впервые к ним, комендорам, кочегарам, гальванерам, минерам, сигнальщикам, машинистам, рулевым злосчастной эскадры, применялось слово «герой». И если раньше они стыдились того, что были цусимцами, то с выходом

«Цусимы» на них стали смотреть иными глазами. Их, седоусых, изрубленных осколками японских снарядов, наглотавшихся ядовитых газов шимозы, но стоявших в своих рубках, погребах и башнях до последнего выстрела последнего уцелевшего орудия, стали приглашать в школы, в цехи, на корабли, в библиотеки, стали слушать их рассказы, стали печатать их воспоминания.

Книга Новикова-Прибоя обернулась для них как бы свидетельством о реабилитации. Они писали Алексею Силычу благодарственные письма, они приезжали к нему на квартиру в Кисловский переулок, чтобы пожать руку, потолковать о пережитом, поделиться памятью… Они увидели в своем Силыче нового флагмана и порой обращались к нему даже с житейскими просьбами. Жилище писателя в доме по Кисловскому переулку превратилось в своего рода штаб-квартиру ветеранов всех трех тихоокеанских эскадр.

К этому матросскому костерку потянулись и бывшие офицеры-цусимцы. Не все, разумеется, лишь те, с кого жизнь сбила сословный гонор, заставила по-новому взглянуть на мир. Первыми откликнулись соплаватели по «Орлу»: корабельный инженер В.П. Кос тенко, бывший старший офицер К.Л. Шведе, бывший младший штурман лейтенант Ларионов. Много интересного об отряде крейсеров смог рассказать Новикову-Прибою и младший артиллерист «Олега» Домерщиков. Все они не раз бывали в квартире писателя на Кисловке. Алексей Силыч по-особому дорожил их дружбой.

Они, бывшие офицеры, как бы приоткрывали ему те двери, в которые баталер Новиков не был вхож: двери кают-компаний и флагманских салонов, штурманских и боевых рубок. Безусловно, это расширяло панораму романа, делало ее полнее, объемнее… Кроме того, они консультировали его как специалисты в области морской тактики, артиллерии, навигации, корабельной техники, помогали заметить неточности и исправить их.

Я держал в руках томики «Цусимы» самого первого издания. Новиков-Прибой прислал их в Ленинград Ларионову, чтобы тот прочитал их строгим глазом. Судя по заметкам на полях, чтение было и строгим, и доброжелательным. Почти все ларионовские поправки автор учел в последующих изданиях. Потом в предисловии Новиков-Прибой напишет: «Я мобилизовал себе на помощь участников Цусимского боя. С одним я вел переписку, с другим неоднократно беседовал лично, вспоминая давно минувшие переживания и обсуждая каждую мелочь со всех сторон. Таким образом, собранный мною цусимский материал постепенно обогащался все новыми данными. В этом отношении особенно большую пользу оказали мне следующие лица: корабельный инженер В.П. Костенко, Л.В. Ларионов, боцман М.И. Воеводин, старший сигнальщик В.П. Зефиров и другие». Среди этих «и другие» был, разумеется, и Домерщиков, который не раз наведывался на Кисловский и к которому тоже приезжал в гости на Скороходова Новиков-Прибой.

Надо заметить, что отношения именитого писателя со своими бывшими начальниками были по-мужски прямыми, без панибратства и снисходительности. Да, они все прекрасно понимали, что некогда нижний чин стоит теперь на социальной лестнице неизмеримо выше каждого из них, и все же обращались к нему без заискивания, без горечи ущемленной гордыни. Они писали ему просто и уважительно, как все: «Дорогой Силыч!…» Силыч тоже не льстил однопоходникам, героям романа, держась правила – дружба дружбой, а правда правдой. Он ничего не менял в своей матросской памяти в угоду добрознакомству. И в тексте тоже ничего не менял. Наверное, бывшему старшему офицеру Шведе (в «Цусиме» он назван Сидоровым) не очень-то было приятно читать о себе такие строки: «Старший офицер у нас… танцор и дамский сердцегрыз, каких мало. Вид имеет грозный… а никто его не боится…» Однако у Константина Леопольдовича хватило понимания и достоинства, чтобы не впадать в амбициозность, их переписка и встречи продолжались как ни в чем не бывало.

От пламени «Цусимы» загорелись новые книги.

Весной 1935 года постучался к Новикову-Прибою ярославский речник Александр Васильевич Магдалинский, назвался бывшим рулевым боцманматом крейсера «Олег» и был принят радушно, как и все однопоходники. И конечно же, старый моряк не думал тогда, что входит не только в стены новиковского дома, но вступает в роман как один из бу-

дущих его героев.

С легкой руки Силыча Магдалинский написал и выпустил в свет свои воспоминания о походе – «На морском распутье». Должно быть, бывший боцманмат не сразу поверил в такое чудо: на обложке всамделишной книги стояло его имя.

И мемуары другого однопоходника Новикова-Прибоя – корабельного инженера Костенко – «На «Орле» в Цусиме» – тоже вышли не без влияния «силового поля» знаменитого романа.

Но, пожалуй, никто так ревностно, искренне и бескорыстно не следил за творчеством Новикова-Прибоя, не откликался так чутко на малейшую его просьбу, как Ларионов. Только в период работы писателя над второй частью «Цусимы» он послал ему сто семнадцать писем с собранными им записками матросов и офицеров «Орла» о бое. Он жил этим романом, ибо в нем воскрешалась его молодость, его лучшие годы, героический всплеск его судьбы. Он и сейчас живет – в нем, на его страницах.

Вот мы видим его на палубе горящего «Орла»: два матроса ведут тяжело раненного младшего штурмана в перевязочный пункт.

Вот, узнав о сдаче броненосца японцам, он поднимается с лазаретной койки и, превозмогая боль, идет выполнять свой последний служебный долг: «Два матроса вели его под руки, а перед ним, словно на похоронах, торжественно шагал сигнальщик, неся в руках завернутые в подвесную парусиновую

койку исторический и вахтенный журналы, морские карты и сигнальные книги. В койку положили несколько 75-миллиметровых снарядов, и узел бултыхнулся через орудийный порт в море. Это произошло в тот момент, когда неприятельский миноносец пристал к корме «Орла».

И, наконец, едва ли не самый волнующий эпизод романа, во всяком случае, мне он памятен со школьных лет, когда я впервые прочитал «Цусиму». Умирающий командир «Орла» капитан 1-го ранга Юнг еще не знает, что на броненосце хозяйничают японцы, что спущен Андреевский флаг, что броненосец вражеские эсминцы конвоируют в ближайший японский порт, что у дверей его каюты стоит японский часовой. Но он догадывается, что на корабле что-то не так… Он зовет к себе не старшего офицера, замещающего его, а младшего штурмана Ларионова, сына покойного друга.

Раненый лейтенант вторично покидает лазаретную койку, два матроса под руки ведут его к командирской каюте.

«Юнг, весь забинтованный, находился в полусидячем положении. Черты его потемневшего лица заострились. Правая рука была в лубке и прикрыта простыней, левая откинулась и дрожала. Он пристально взглянул голубыми глазами на Ларионова и твердым голосом спросил:

– Леонид, где мы?

Нельзя было лгать другу покойного отца, лгать человеку, так много для него сделавшему. Ведь Ларионов вырос на его глазах. Командир вне службы обращался с ним на «ты», как

со своим близким. Юнг только потому и позвал его, чтобы узнать всю правду. Но правда иногда жжет хуже, чем раскаленное железо. Зачем же увеличивать страдания умирающего человека?…

Ларионов, поколебавшись, ответил:

– Мы идем во Владивосток. Осталось сто пятьдесят миль.

– А почему имеем такой тихий ход?

– Что-то «Ушаков» отстает.

– Леонид, ты не врешь?

Ларионов, ощущая спазмы в горле, с трудом проговорил:

– Когда же я врал вам, Николай Викторович? – И, чтобы скрыть свое смущение, штурман нагнулся и взял командира за руку. Она была холодная, как у мертвеца, но все еще продолжала дрожать. Смерть заканчивала свое дело».

Уверен, если бы кто-то из кинематографистов отважился бы экранизировать «Цусиму», лейтенант Ларионов был бы одним из главных героев фильма.

Андрей Леонидович щелкнул замочком кожаного альбома…

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Два мичмана в шинелях и фуражках. Высокий, костистый, с удлиненным лицом – Ларионов; густобровый, крутоусый – Павлинов. Оба из одного выпуска, с одного корабля, оба из одного романа: «Неожиданно перед амбразурами ярко вспыхнуло пламя, и раздался страшный грохот. Несколько человек в башне упали. Лейтенант Павлинов согнулся и долго поддерживал руками кон-*

туженную голову, словно боялся, что она у него отвалится. А когда осторожно повернулся назад, чтобы взглянуть на людей… то на его чернобровом лице изобразилось радостное удивление, – он был жив». Снимок сделан в 1904 году, видимо, в Либаве, перед выходом эскадры на Дальний Восток. Лица – мальчишечьи, несмотря на погоны и кокарды, припухлые губы, голые щеки. Но глаза – в них будто отблески Цусимы, печально-настороженные взгляды, грустные сочетания неокрепшего мужества и твердой решимости: «Свой долг мы выполним сполна». Ларионов – в боевой рубке, Павлинов – в броневой башне стояли до конца. Снимок второй отделен от предыдущего тридцатью шестью годами. Из-под полей соломенной шляпы – уверенный взгляд Новикова-Прибоя. Из-под козырька флотской фуражки – иронический прищур. Седые усы, белый китель, худое лицо со следами ранений – Ларионов.

Признанный писатель и безвестный музейный работник. Бывший матрос и бывший офицер. Два пожилых человека на склоне жизни. Оба немало повидали и испытали на своем веку. Оба честно потрудились. Написан роман. Создан музей. Выросли дети. Подбиты итоги. Оба спокойны и мудры. Оба готовы перешагнуть последнюю черту. Она не за горами. В сорок втором умрет от голода в блокадном Ленинграде Ларионов. Всего на два года переживет своего товарища Новиков-Прибой.

Андрей Леонидович боготворил отца. Это было видно и

по тому, как бережно хранил он отцовские бумаги, фотографии, вещи, и по тому, как говорил о нем… Я даже забыл, зачем пришел сюда.

Ларионов извлек из ящика стола пару лейтенантских погон, почерневших от пороховых газов, с одного из них осколком японского снаряда была сорвана звездочка… Он положил рядом кожаный футлярчик, раскрыл его и достал прокопченный надтреснутый костяной мундштук.

– Эта вещица принадлежала командиру «Орла» капитану 1-го ранга Юнгу… После его смерти отец взял мундштук на память. Юнг был другом его отца, моего деда.

Андрей Леонидович достал длинный кожаный футляр. Я следил за ним как завороженный. Он откинул колпачок-крышку, синевато блеснули линзы.

– Сигнальщики подобрали и принесли отцу его подзорную трубу. Она валялась в боевой рубке среди осколков дальномера…

Я заглянул в окуляр почти новенькой, английской работы трубы. О, если бы можно было увидеть все, что преломлялось в ее стеклах!…

– С ней связана любопытная история. Из лагеря русских военнопленных просматривалась военная гавань, куда японцы привели изрешеченный «Орел». Инженер Костенко – в «Цусиме» он выведен как Васильев – взял у отца подзорную трубу и, прячась в кустах, стал изучать и зарисовывать пробоины в борту броненосца. Разумеется, он рисковал, но

ему как кораблестроителю важно было знать уязвимые места «Орла». Потом ему пригодилось это в практической работе.

А вот, собственно, то, что вы так долго искали.

Андрей Леонидович осторожно вытащил из шкафа переплетенный сборник отцовских очерков. «Аварии царского флота»! Да, конечно, это нельзя было назвать книгой в строгом смысле слова. Полусамодельное издание – без выходных данных, без сквозной нумерации страниц – представляло собой сброшюрованные журнальные тетрадки. То была скорее мечта о книге, чем сама книга, прообраз ее, макет… Но я сразу же забыл об издательских несовершенствах, едва перелистал страницы, едва вчитался в первые абзацы… Очерки об авариях и катастрофах кораблей царского флота были написаны живо, образно, почти мемуарно; язык выдавал человека слегка саркастического, но глубоко знающего историю флота, его людей, подоплеку каждого случая…

Бронзовые морские часы пробили в полутемной гостиной час ночи. Я встал из-за стола, заваленного альбомами, дневниками, газетными вырезками.

– Вот что, – сказал мне на прощание Андрей Леонидович, – попытайте-ка вы завтра счастья в отделе рукописей нашей Публички. Там хранится большая часть отцовского архива. Могут быть любопытные находки. А книгу возьмите с собой. Прочтите не спеша.

Я уходил не из квартиры, а покидал борт броненосца «Орел», незримо пришвартованного к одному из ленинград-

ских домов.

Глава третья
«В ДОМИКЕ БЛИЗ БУДДИСТСКОГО ХРАМА…»

Спать в ту ночь я так и не смог. Включил лампу на прикроватной тумбочке и стал читать прямо в постели.

Гибели «Пересвета» была отведена в ней целая глава. Первым делом я отыскал в тексте фамилию Домерщикова. Она упоминалась много раз, и во всех случаях можно было судить о героическом поведении старшего офицера во время катастрофы. Ларионов подчеркивал, что еще при стоянке в Порт-Саиде, когда «всевозможные поставщики, преимущественно арабы, осаждали броненосец целый день, старшему офицеру приходилось вести с ними неустанную борьбу, что было нелегко, так как установить контроль было очень трудно из-за общей неналаженности дисциплины всего состава».

Ларионов подтверждал и рассказ Еникеева о том, что от Владивостока до Порт-Саида «Пересвет» дошел почти без спасательных средств. Спасательные пояса старший офицер достал из запасов англичан, с разрешения английского адмирала, в Порт-Саиде…

«Когда основание носовой башни стало входить в воду, старший офицер скомандовал «Прыгать всем за борт!» Он строго наблюдал, чтобы, по возможности, прыгали отдель-

ными шеренгами и попавшие в воду скорей отплывали от тонущего броненосца, не мешая друг другу. Французское командование впоследствии отметило, что благодаря распорядительности старшего офицера «Пересвета» спаслось так много команды».

Но самой счастливой находкой была едва заметная, набранная нонпарелью сноска: «Бывший старший офицер Домерщиков, узнав в Специи, что есть слухи, направленные против Ренштке, специально приезжал в Брест и, узнав историю с термографом, рассказал матросам, как он возвращал в Порт-Саиде Ренштке сигнальный ящик для залповой стрельбы, который он брал в кают-компанию. Но Домерщикову рассеять подозрения не удалось».

Я вскочил с постели и в чем был зашагал по номеру. Эта крохотная, в четыре строки, сноска ставила большой жирный крест на всей версии Палёнова. Если бы старший офицер действительно был английским агентом и стремился прикрыться немцем Ренштке, то зачем же ему было приезжать в Брест и рассеивать подозрения насчет старшего артиллериста? Куда как проще поддержать стихийное мнение команды. Но Домерщиков не мог допустить, чтобы на имя честного офицера падала черная тень. Мертвые сраму не имут, но им и не защитить своей чести.

Утром, по совету Андрея Леонидовича, я отправился в Публичную библиотеку.

Стояла поздняя осень, но снега еще не было. Порывистый

балтийский ветер гонял по сухим, подмерзшим улицам последнюю пыль и первые белые крупинки.

В читальном зале отдела рукописей я тихо порадовался тому, что бумаги Ларионова не исчезли в блокаду. Ведь хватило у кого-то сил, душевных и физических, дотащить в Публичную библиотеку саночки, груженные стопками папок и общих тетрадей.

Это был образцовый личный архив моряка-историка: гардемаринские тетради, письма, черновики, газетные вырезки, рукописи, гранки, фотографии, «вахтенные журналы» – дневники располагались по годам и рубрикам. Обширный и разнообразный «фонд» Ларионова наводил на мысль, что Леонид Васильевич умер только наполовину, исчезла лишь его телесная оболочка, сам же он, как и до войны, по-прежнему мог рассказывать, уточнять, консультировать, советовать, подсказывать с листков, исписанных четким штурманским бисером. Я чуть не поблагодарил его вслух, когда в одном из дневников наткнулся на запись, озаглавленную «Как я собирал сведения о гибели эскадренного броненосца «Пересвет». Привожу ее полностью: «В марте 36-го года я работал над сборником. На похоронах Сакеллари1 узнал о юнкере2 Людевиге. В «Морском сборнике» дали справку. (В 1918 году Людевиг представлял туда статью, но она не пошла.)

Через яхт-клуб узнал адрес. Старая Деревня, Гороховская, 8, кв. 1. Написал Людевигу. Тот позвонил и пригласил. Живет он в скромном деревянном домике близ буддистского

храма. Освещение – керосиновая лампа без абажура. На дверях надпись: «Злая собака». Был очень любезен, подробно все рассказал, я записывал до одного часа ночи. Он увлекся воспоминаниями. К офицерскому персоналу самое отрицательное отношение. Культурный и очень начитанный человек, знает языки. 25.03.36 г.».

Фамилия Людевига показалась мне знакомой. Ну конечно же, она не раз попадалась мне в ларионовской книге. Я быстро отыскал нужные места: «Свидетель всего описанного матрос-охотник Н.Ю. Людевиг пробыл в воде 21/2 часа… В состав следственной комиссии был введен и матрос-охотник Н.Ю. Людевиг… К сожалению, ввиду отсутствия возможности получить полный материал следствия, приходится пока базироваться главным образом на воспоминаниях одного из членов комиссии Н.Ю. Людевига».

Я вот о чем сразу подумал. Коль скоро глава о «Пересвете» написана Ларионовым в основном со слов Людевига, значит, тот, при самом отрицательном отношении к офицерскому персоналу, все же нашел для Домерщикова добрые слова, оценил его объективно.

Надо ли говорить, что поиск мой сразу же устремился в новое русло. Конечно, я не рассчитывал отыскать самого Людевига. Но что, если на Гороховской, 8, живет кто-то из его родственников? Что, если его сын или дочь сохранили отцовские бумаги столь же любовно, как это сделал Андрей Леонидович? Наконец, не исключена возможность, что и сам

Людевиг еще жив. Юнкеру флота – хорошо бы узнать точно, кто он, матрос-охотник или юнкер флота, – в шестнадцатом году могло быть лет восемнадцать – двадцать. Значит, сейчас ему восемьдесят семь – восемьдесят восемь. Возраст отнюдь не рекордный…

Ловлю на Невском такси и мчусь в Старую Деревню по адресу, подсказанному Ларионовым. Вот и буддистская пагода посверкивает позолотой колеса Сансары. Увы, вокруг только новостройки, никаких «скромных деревянных домиков»… Как-никак, а прошло ровно полвека с того вечера, как в дверь Людевига постучался высокий худой человек с выправкой флотского офицера.

Попытать счастья на телефонной «рулетке»? Кажется, ленинградское «09» уже знает меня по голосу. Во всяком случае, к просьбе сообщить телефон любого ленинградца с фамилией Людевиг отнеслись без обычных в таких случаях возражений.

– Людевигов у нас нет.

– Ни одного? – уточняю я со слабой надеждой, что дежурная была невнимательна.

– Ни одного, – бесстрастно подтверждает телефонная трубка. – Есть только Людевич.

– Прошу вас телефон Людевича. Тут возможна опечатка…

Интуиция не подвела меня – номер в самом деле принадлежит не Людевичу, а Людевигу. Приятный юношеский го-

лос поясняет:

– Нашу фамилию часто искажают… Людевиг с «Пересвета»? Да, это наш очень далекий родственник – Николай Юльевич. Нет ли более близких? Сейчас уточню, не вешайте трубку… Папа говорит, что в Москве живет кто-то из Людевигов, только он носит другую фамилию. Это пианист из оркестра Светланова…

Делаю пометку в блокноте и еду в гостиницу перевести дух.

Снова заглядываю в свою «лоцию». Ларионов пишет: «В июле 1917 года большая часть команды «Пересвета» прибыла в Петроград, а часть в Архангельск. У власти стояло Временное правительство, по распоряжению которого была образована особая следственная комиссия для завершения следствия по делу «Пересвета». В состав комиссии был введен и матрос-охотник Н.Ю. Людевиг. Эта комиссия собрала 400 показаний матросов и офицеров…»

Эх, заглянуть бы сейчас хоть в одно такое показание… Неужели все эти документы ушли за границу? В досье Палёнова? Похоже, что не все. «В феврале 1918 года работы следственной комиссии были ликвидированы, а материалы ее направлены прокурору Республики в Москву». И путеводная сноска: «Приказ по Походному штабу Морского министерства. В Петрограде, ноября 29 дня 1917 года, № 49».

Материалы следственной комиссии были направлены в Москву. Значит, искать надо в столичных архивах. В каком

именно? Набираю код Москвы, затем телефон историко-архивного института: «Где могут храниться такие-то документы?» Ответ краток и точен: «Только в Ленинграде. В ЦГА ВМФ».

Глава четвертая
ВЗРЫВЫ ПО НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ПРИЧИНАМ

Ленинград. Ноябрь 1984 года

На Дворцовой площади войска Ленинградского гарнизона готовились к ноябрьскому параду. Сквозь толстые стены архива прорывались звуки военной музыки. Мне хотелось ей подпевать: на рабочем столе лежала алюминиевая кассета, а в ней – широченный рулон микрофильма с материалами следственной комиссии… Протягиваю пленку через линзы проектора, и на экране бегут то корявые каракули матросских показаний, то ровные строчки офицерского почерка, то выцветшие машинописные строки… Всматриваюсь, вчитываюсь до рези в глазах… Листки из тетрадей, блокнотов, бюваров… В ушах моих стоял хор голосов. Голоса спорили, перебивали друг друга, торопились поделиться пережитым. До чего же по-разному могут воспринимать люди одно и то же событие! Одни утверждали, что слышали два взрыва, другие насчитывали три, слитых вместе, третьи ощутили лишь один мощный удар в районе носовой башни. С трудом верилось, что все они были очевидцами одного и того же взрыва. Но в том-то и дело, что очевидцами, то есть людьми, лично видевшими гибельный взрыв «Пересвета», были немногие.

Большая часть команды находилась под палубой крейсера, в башнях и казематах. И в разных частях корабля взрыв воспринимался по-разному…

Многие сходились на том, что водяного столба, какой встает при взрыве плавучей мины или при ударе в борт торпеды, не было. Да и сам звук мало чем напоминал грохот минного тротила. Один из очевидцев описал его так: «Будто вспыхнула сразу большая-пребольшая коробка спичек».

Среди сотен письменных свидетельств мне попался машинописный лист, адресованный матросом-охотником Людевигом не кому-нибудь, а лично морскому министру. Я поразился дерзости матроса, обращавшегося через головы всех своих многочисленных начальников к главе морского ведомства, но, прочитав документ до конца, понял, в чем дело. Команда «Пересвета» выбрала матроса Людевига своим полномочным представителем и поручила ему, как наиболее грамотному, довести до сведения министра все странные обстоятельства гибели корабля, а также изложить министру матросские жалобы. Судя по письму, Людевиг оправдал доверие пересветовцев. Докладная записка была изложена языком интеллигентного человека – ясно, аргументированно, проникновенно.

В своем письме Людевиг убеждал морского министра в том, что гибель «Пересвета» была не просто «неизбежной на море случайностью». Корабль погубила чья-то злая воля, черная рука. Чья? От имени живых и погибших Людевиг

просит министра сделать все, чтобы установить истину.

Прибыв в начале июля в Петроград, матрос-делегат направился в военную секцию Совета рабочих и крестьянских депутатов. У военной секции хлопот полон рот, прошлогодние дела ее интересовали мало, но все же снабдили настырного матроса адресом канцелярии морского министра и нужными телефонами. Людевиг добился приема, но принял его не морской министр, а помощник – капитан 1-го ранга Дудоров. Все же матрос-охотник выполнил поручение команды: была наряжена при военно-морском прокуроре следственная комиссия для выяснения обстоятельств покупки, плавания и гибели крейсера «Пересвет». Возглавил ее член Петроградской думы И.Н. Денисевич. Вошли в нее представители от Морского генерального штаба – лейтенанты Мелентьев-второй и Кизеветтер (однокашник Домерщикова), представители Петроградского Совета депутатов Анилеев и Овсянкин, а также два делегата от команды «Пересвета» – матрос-охотник Людевиг и минный машинист Мадрус.

Комиссия начала работу с допроса бывшего морского министра адмирала Григоровича и его помощника графа Капниста. Вопрос был поставлен в лоб: «Знали ли вы о скверном состоянии судов, купленных у Японии?» Григорович ответил уклончиво: дескать, «Варяг», «Чесму» и «Пересвет» принимала авторитетная комиссия, она пусть и несет всю полноту ответственности.

Вызывали на допрос и бывшего начальника МГШ адми-

рала Русина, но он поспешно отбыл в Крым…

Тем же летом из Парижа в Порт-Саид выехала еще одна комиссия, которую возглавлял бывший свитский контр-адмирал крутоусый красавец С.С. Погуляев. Ее члены должны были опросить тех матросов, которых оставили дожидаться судоподъемных работ. Миссия Погуляева заключалась еще и в том, чтобы заставить англичан ускорить осмотр водолазами затонувшего «Пересвета». Тогда бы удалось решить главное: наскочил ли крейсер на плавучую мину или его погубила «адская машина»? Однако англичане, сославшись на «трудное положение в Палестине», водолазов так и не выделили.

Во французском городе Иере, где находилась большая часть спасенной команды, работала третья следственная комиссия под руководством младшего артиллериста «Пересвета» лейтенанта Смиренского.

Наконец, в Архангельске опрашивала возвращавшихся на Родину пересветовцев четвертая следственная комиссия…

Больше всего меня интересовало, что же показал сам командир «Пересвета» капитан 1-го ранга Иванов-Тринадцатый. Трижды просмотрев весь рулон микрофильма, я так и не обнаружил ни одной его объяснительной записки. Зато наткнулся на телеграмму, посланную председателем комиссии русскому морскому агенту в Египте капитану 1-го ранга Макалинскому: «Срочно ускорьте отъезд Иванова-Тринадцатого в Петроград». Телеграмма была отбита в июне, но

только в середине августа Иванов-Тринадцатый, сдав остатки команды под начало Макалинского, отправился на Родину. Путь он выбрал не самый близкий – вокруг Азии во Владивосток. Он явно не спешил предстать перед столом следственной комиссии. В Москву он прибыл где-то в октябре, остановился у родственников, а затем инкогнито выехал в Петроград. Его разыскивали, его ждали…

В дневнике он объяснил свою неявку: «По моему прибытию в Россию политические события развернулись так, что попасть в Петроград и явиться по начальству я уже не имел возможности». Но это всего лишь отговорка. Бланк с криво наклеенной телеграфной строчкой утверждает обратное:

«По сведениям комиссии, капераг Иванов-Тринадцатый находился в Петрограде 19 января 1918 года». Кто-то его узнал на улице и сообщил в комиссию…

Если бы Иванов-Тринадцатый действительно был уверен, что «Пересвет» наскочил на германскую мину, он со спокойной душой (вина на англичанах) держал бы ответ перед следствием. Но он-то хорошо видел с мостика, что никакого водяного столба не было, как не мелькала в волнах и головка перископа. Взрыв был внутренний!

К этому же выводу, итожа главу о «Пересвете», приходит и Ларионов: «Таким образом, во Франции, в Петрограде и Архангельске в разное время были даны три показания матросов, наводящие на мысль о возможности гибели «Пересвета» от заложенной, по указанию немцев, в день его ухо-

да из Порт-Саида «адской машинки». Обстоятельства взрывов перед гибелью «Пересвета» до известной степени подтверждают это предположение: сначала взрыв без сильного звука, как бы в районе тринадцатого погреба, затем большой взрыв у носовой десятидюймовой башни».

Сегодня – в век ядерного, лазерного, космического оружия – слова «адская машинка» вызывают ироническую улыбку: эдакий допотопный атрибут старомодного детектива. Впрочем, это устрашающе-обывательское «адская машинка» на языке военных документов именовалось вполне современно – «взрывное устройство замедленного действия». А вот и фотография этого полумифического и тем не менее – увы – реального устройства: черные патроны с винтовой крышкой упакованы в гнезда аккуратного ящичка. Ничего «адского» и «дьявольского». Фотография опубликована в солидной монографии бывшего офицера русского флота К.П. Пузыревского «Повреждения кораблей от артиллерии…», изданной ленинградским Судпромгизом в 1940 году.

Цепь таинственных взрывов, или, как осторожно называли их специалисты, «взрывы от неустановленных причин», началась, пожалуй, 30 октября 1915 года – с гибели английского крейсера «Нэтел». Крейсер стоял на якоре посреди гавани Кромарти, как вдруг между четвертой трубой и кормовым мостиком взметнулся столб пламени. Через минуту-другую взорвался кормовой артпогреб десятидюймовых

снарядов. «Нэтел» затонул очень быстро, унеся с собой на дно гавани почти весь экипаж, в котором насчитывалось семьсот четыре человека.

Как пишет о том Пузыревский, «анализируя причины его гибели, англичане предполагали, что «Нэтел» стал жертвой атаки подводной лодки, но произведенное расследование признало причиной катастрофы взрыв боевого запаса. Точно установить причину взрыва не удалось».

Эта трагедия так бы и осталась в анналах британского адмиралтейства как прискорбный случай, если бы нечто подобное не повторилось на итальянском линейном корабле «Леонардо да Винчи», стоявшем на внутреннем рейде Тарантской гавани. В ночь на 3 августа 1916 года все, кто находился в нижних палубах, почувствовали сотрясение корабля. Одним показалось, что вытравили якорь-цепь, другим – что прогремел гром августовской грозы. Первыми забеспокоились офицеры, так как вблизи их кают из кормовой 120-миллиметровой батареи повалил едкий дым. Командир линкора бросился к месту происшествия и увидел, что дым заполнил все помещения в районе пятой башни главного калибра. Он приказал немедленно затопить погреба башни, но пожар не унимался. Пламя выбивалось из люков и всех подпалубных отверстий. Команда засовывала пожарные шланги в горловины вентиляторов, но и пожар распространялся с ужасающей быстротой. Скрепя сердце командир приказал всем покинуть кормовую часть корабля, а сам, надев противодым-

ную маску, ринулся под палубу, чтобы понять, что происходит. Не прошло и шести минут после появления пламени, как раздался мощный взрыв. Матросы и офицеры, успевшие выбраться наверх, полетели за борт. Тогда и все остальные стали бросаться в воду и отплывать от пылающего корабля. «Леонардо да Винчи» медленно оседал на корму, кренясь на левый борт. За четверть часа до полуночи он перевернулся кверху килем и затонул на глубине десяти метров. Погибла почти четверть команды – 218 человек.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Во всю длину сухого дока вытянулась туша опрокинутого корабля. Не спасли линкор от гибели ни броневой пояс, толщиной четверть метра, ни «чертова дюжина» двенадцатидюймовых орудий, ни сорокакилометровая (22 узла) скорость…*

Пока специалисты ломали голову над причиной взрыва, спустя полторы недели после гибели «Леонардо», по необъяснимому совпадению в один и тот же день (11 августа 1916 года), с разницей в полчаса, прогремели взрывы на русском пароходе «Маньчжурия» и бельгийском «Фрихандель». Первый стоял в порту Икскюль, второй – у пристани в Якобстаде (Швеция). Оба судна, несмотря на пробоины, удалось удержать на плаву, и это помогло сразу же установить причины взрывов. И на «Маньчжурии», и на «Фриханделе» сработали «адские машинки». На русском пароходе взрывной заряд был заложен у левого борта на дне трюма, сзади переборки машинного отделения; на бельгийском – подвешен на мед-

ной проволоке под трапом в двух метрах от машинного отделения. Взрыву предшествовало своеобразное шипение.

Странно, что обе эти диверсии не всполошили контрразведку стран Антанты: ведь взрывались-то корабли флотов, воюющих против Германии и ее блока. Воистину, пока гром не грянет…

Гром грянул 7 октября 1916 года в Северной бухте Севастополя. Взорвался новейший и крупнейший корабль русского флота – линкор «Императрица Мария»…

7 октября в 6 часов 20 минут матросы, находившиеся в каземате № 4, услышали резкое шипение, идущее из погребов носовой башни главного калибра. Вслед за тем из люков и вентиляторов, расположенных в районе башни, вырвались клубы дыма и пламени. До рокового взрыва оставалось две минуты… За эти сто двадцать секунд один из матросов успел доложить вахтенному начальнику о пожаре, другие раскатали шланги и стали заливать водой подбашенное отделение. Но катастрофу уже ничто не могло предотвратить.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА *(старший флагманский офицер минной дивизии Черного моря капитан 2-го ранга А.П. Лукин): «В умывальнике, подставляя головы под краны, фыркала и плескалась команда, когда страшный удар грохнул под носовой башней, свалив с ног половину людей. Огненная струя, окутанная ядовитыми газами желто-зеленого пламени, ворвалась в помещение, мгновенно превратив царившую здесь только что жизнь в груду мертвых, сожженных*

тел…

Страшной силы новый взрыв вырвал стальную мачту. Как катушку, швырнул к небу броневую рубку (25 000 пудов). Взлетела на воздух носовая дежурная кочегарка. Корабль погрузился во тьму.

Минный офицер лейтенант Григоренко бросился к динамо, но смог добраться только до второй башни. В коридоре бушевало море огня. Грудами лежали совершенно обнаженные тела.

Взрывы гудели. Рвались погреба 130-миллиметровых снарядов.

С уничтожением дежурной кочегарки корабль остался без паров. Нужно было во что бы то ни стало поднять их, чтобы пустить пожарные помпы. Старший инженер-механик приказал поднять пары в кочегарке № 7. Мичман Игнатьев, собрав людей, бросился в нее.

Взрывы следовали один за другим (более 25 взрывов). Детонировали носовые погреба. Корабль кренился на правый борт все больше и больше, погружаясь в воду. Вокруг кишели пожарные спасательные пароходы, буксиры, моторы, шлюпки, катера…

Последовало распоряжение затопить погреба второй башни и прилегающие к ним погреба 130-миллиметровых орудий, чтобы перегородить корабль. Для этого нужно было проникнуть в заваленную трупами батарейную палубу, куда выходили штоки клапанов затопления, где бушевало

пламя, клубились удушливые пары и каждую секунду могли сдетонировать заряженные взрывами погреба.

Старший лейтенант Пахомов (трюмный механик) с беззаветно отважными людьми вторично ринулся туда. Растаскивали обугленные, обезображенные тела, грудами завалившие штоки, причем руки, ноги, головы отделялись от туловищ. Пахомов со своими героями освободили штоки и наложили ключи, но в этот момент вихрь сквозняка метнул в них столбы пламени, превратив в прах половину людей. Обожженный, но не сознающий страданий, Пахомов довел дело до конца и выскочил на палубу. Увы, его унтер-офицеры не успели… Погреба сдетонировали, ужаснейший взрыв захватил и разметал их, как осенняя вьюга опавшие листья…

В некоторых казематах застряли люди, забаррикадированные лавой огня. Выйди – сгоришь. Останешься – утонешь. Их отчаянные крики походили на вопли безумцев. Некоторые, попав в капканы огня, стремились выброситься в иллюминаторы, но застревали в них. По грудь висели над водой, а ноги в огне.

Между тем в седьмой кочегарке кипела работа. Зажгли в топках огни и, выполняя полученное приказание, подымали пары. Но крен вдруг сильно увеличился. Поняв грозящую опасность и не желая подвергать ей своих людей, но полагая все же, что нужно поднимать пар – авось пригодится, – мичман Игнатьев крикнул:

– Ребята! Топай наверх! Ждите меня у антресолей. Понадобитесь – позову. Я сам перекрою клапана.

По скобам трапа люди быстро вскарабкались наверх. Но в этот момент корабль опрокинулся. Только первые успели спастись. Остальные вместе с Игнатьевым остались внутри… Долго ли жили они и чего натерпелись в воздушном колоколе, пока смерть не избавила их от страданий?

Много позже, когда подняли «Марию», нашли кости этих героев долга, разбросанные по кочегарке…»

Всего на линкоре погибло 216 человек, ранено и обожжено 232.

О трагедии на «Императрице Марии» написаны книги: роман Сергеева-Ценского «Утренний взрыв», «Арбатская повесть» Елкина…

Спустя месяц после катастрофы в Севастополе, 8 ноября 1916 года, в 13 часов, в Архангельском порту прогремел взрыв еще большей силы, чем на злосчастной «Марии». Взлетел на воздух «по неизвестной причине» транспорт «Барон Дризен», груженный по горловины трюмов полутора тысячью тонн тротила, бездымного пороха, мелинита. Обломки судна разлетелись так далеко, что их находили потом даже на путях железной дороги.

Немногие уцелевшие свидетели рассказывали, что предвестником взрыва был хлопок, напоминавший выстрел из охотничьего ружья.

Стихия огненного удара (по мощи своей в десятую часть

атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму) убила, обожгла, искалечила 810 человек, уничтожила три судна и столько же плавкранов, пять паровозов, причинила огромные разрушения береговым постройкам.

Рассуждая о причинах гибели «Барона Дризена», Пузыревский не исключает «диверсионный акт со стороны германских тайных агентов с целью экономического и военного ослабления своего противника».

В ноябре 1916 года итальянская контрразведка, пришедшая в себя после взрыва «Леонардо да Винчи», напала «на след большой шпионской германской организации, – как пишет Пузыревский, – во главе которой стоял видный служащий папской канцелярии, ведавший папским гардеробом. Был собран большой обвинительный материал, по которому стало известно, что шпионскими организациями на кораблях производились взрывы при помощи особых приборов с часовыми механизмами с расчетом произвести ряд взрывов в разных частях корабля через очень короткий промежуток времени, с тем чтобы осложнить тушение пожаров».

В журнале «Морские записки», издававшемся в Нью-Йорке Обществом бывших офицеров императорского флота, в номере за 1961 год, я обнаружил любопытную заметку, подписанную так: «Сообщил капитан 2-го ранга В. Р.»

«До сих пор необъяснима катастрофа – гибель линкора «Императрица Мария». Необъяснимыми были и пожары на ряде угольщиков на пути из Америки в Европу, до

тех пор пока причину их не установила английская разведка. Их вызывали немецкие «сигары», которые немцам, очевидно, имевшим своих агентов, проникавших в среду грузчиков, удавалось подбросить при погрузке. Этот сигарообразный дьявольский прибор, заключавший в себе и горючее, и воспламенитель, зажигавшийся током от электроэлемента, приходившего в действие как только кислота разъедала металлическую мембрану, преграждавшую доступ кислоте элемента. В зависимости от толщины пластинки это случалось через несколько часов или даже несколько дней после того, как «сигара» была установлена и подброшена. Я не видел чертежа этой чертовой игрушки. Помню только, что говорилось о выходившей из острия «сигары» струе пламени, на манер бунзеновской горелки.

Довольно было одной «с толком» поставленной в подбашенное отделение «сигары», чтобы прожечь медную кокору полузаряда. На «Марии» работали заводские мастеровые, но, надо думать, проверка и контроль были не на высоте… Так что мысль о немецкой «сигаре» сверлила мозги… И не у меня одного.

Через 15-20 лет после этого памятного дня мне пришлось сотрудничать в одном коммерческом деле с немцем, милым человеком. За бутылкой вина мы вспоминали старое, времена, когда мы были врагами. Он был уланский ротмистр и в середине войны был тяжело ранен, после чего стал неспособным к строевой службе и работал в штабах в Берлине. Слово

за слово, он рассказал мне о любопытной встрече.

«Знаете ли вы того, кто только что вышел отсюда?» – спросил его однажды сослуживец. «Нет. А что?» – «Это замечательный человек! Это тот, кто организовал взрыв русского линкора на Севастопольском рейде». «Я, – ответил мой собеседник, – слышал об этом взрыве, но не знал, что это было делом наших рук». – «Да, это так. Но это очень секретно, и никогда не говорите о том, что вы от меня услышали. Это герой и патриот! Он жил в Севастополе, и никто не подозревал, что он не русский…»

Да, для меня после того разговора сомнений больше нет. «Мария» погибла от немецкой «сигары»! Не одна «Мария» погибла в ту войну от необъяснимого взрыва. Погиб также и итальянский броненосец «Леонардо да Винчи», если память не изменяет мне».

Эту версию как бы продолжает уже упоминавшийся кавторанг А. Лукин в своей книге «Флот», вышедшей в Париже в 1931 году на русском языке:

«Летом 1917 года секретный агент доставил в наш Морской генеральный штаб несколько небольших металлических трубочек. Найдены они были среди аксессуаров и кружевного шелкового белья очаровательного существа… Миниатюрные трубочки-«безделушки» были направлены в лабораторию. Они оказались тончайше выделанными из латуни химическими взрывателями. Выяснилось, что точь-в-точь такие трубочки были найдены на таинственно взорвав-

шемся итальянском дредноуте «Леонардо да Винчи». Одна не воспламенилась в картузе в бомбовом погребе. Вот что по этому поводу рассказал офицер итальянского морского штаба капитан 2-го ранга Луиджи ди Самбуи: «Следствие с несомненностью установило существование некой тайной организации по взрыву кораблей. Нити ее вели к швейцарской границе. Но там их след терялся. Тогда решено было обратиться к могущественной воровской организации – сицилийской мафии. Та взялась за это дело и послала в Швейцарию боевую дружину опытнейших и решительнейших людей. Прошло немало времени, пока дружина путем немалых затрат средств и энергии наконец напала на след. Он вел в Берн, в подземелье одного богатого особняка. Тут и находилось главное хранилище штаба этой таинственной организации – забронированная, герметически закрытая камера, наполненная удушливыми газами. В ней сейф…

Мафии приказали проникнуть в камеру и захватить сейф. После длительного наблюдения и подготовки дружина ночью прорезала броневую плиту. В противогазных масках проникла в камеру, но за невозможностью захватить сейф взорвала его. Целый склад трубочек оказался в нем».

Журнал журналом, книга книгой, но вот перед моими глазами на экране архивного проектора телеграмма № 2784/12 от 6 марта 1917 года.

«Нагенмору от агенмора в Риме.

Источник-4.

Кража документов австрийской шпионской организацией в Цюрихе была совершена наемными ворами-специалистами, нанятыми итальянской контрразведкой. Найдена целая сеть шпионажа в Италии, где участвовали почти исключительно итальянцы, среди которых много ватиканских. Найдены следы организации взрывов на «Бенедетте Брине» и «Леонардо да Винчи» и готовящихся еще на двух. Взрывы были совершены итальянцами при помощи особых приборов с часовым механизмом, работающих с расчетом произвести ряд взрывов в разных частях корабля через короткие промежутки времени, чтобы затруднить тушение пожаров. Указание на хранение документов в Цюрихе было получено еще при первом раскрытии части шпионажа, о котором я телеграфировал 5 января.

Беренс».

Музыка за стенами архива давно смолка. С легким треском выскочил из кадровой рамки конец микрофильма…

Я вышел на набережную Невы, пересек Дворцовый мост и поднялся на подиум Военно-морского музея. Надо было вернуть Ларионову его книгу. Андрея Леонидовича я нашел в запасниках – в закутке, выгороженном у окна высокими застекленными шкафами с моделями баркентин, шняв, фрегатов, соколев, галер, со старинными штурманскими приборами и прочими музейными редкостями. Ларионов сидел за столом, который служил еще его отцу. Он перетащил его сюда с верхнего этажа из бывшего отцовского кабинета. Я при-

кинул: отец и сын Ларионовы оба отдали музею ровно полвека…

На прощание я перелистал книгу еще раз и вдруг заметил то, что всегда проскальзывало мимо глаз: в списке использованной литературы под номером 19 значилось: «Воспоминания Н.Ю. Людевиг («Пересвет»).

Вот как! Значит, матрос-охотник опубликовал книгу воспоминаний. Упустить такой факт! Пока я гонялся за призрачной зеленой папкой, меня поджидал где-то на библиотечной полке целый клад сведений о «Пересвете». И каких сведений – ведь книга написана не просто участником похода (что ценно само по себе), но и бывшим членом следственной комиссии.

Спрашиваю Ларионова, не попадались ли ему «Воспоминания», нет ли их в музее. Нет.

Звоню в Центральную военно-морскую библиотеку: «Нет ли у вас «Воспоминаний» Людевига?» – «Сейчас посмотрим… Нет. Такая книга у нас не значится».

Еду в Публичную библиотеку. Там, как в Ленинской библиотеке, всегда все есть… Увы, нет и там… Ладно, уж в нашей-то главной библиотеке наверняка есть. Отложим поиски до приезда в Москву.

Глава пятая
ОХОТНИК С «ПЕРЕСВЕТА»

Зал каталогов Государственной библиотеки СССР напоминает упрощенную модель гигантского мозга. В его ячейках спрессована память обо всем, что выходило из-под печатного станка со времен Ивана Федорова и до наших дней.

Ящичек на «Лю»… Есть Людевиг! И инициалы совпадают: «Н.Ю.» – Николай Юльевич. Только название другое: «Буер. Описание и указание к постройке». 1929 год. Гидрографическое управление ВМФ РККА. Вот еще одна его же книга – «Парусный спорт», только фамилия набрана с ошибкой: «Н.Ю. Людевич». Наверняка опечатка: ведь «г» и «ч» в письменном тексте легко перепутать.

Но где же «Воспоминания»? В каталоге не значатся…

И все же они должны быть! Ссылка в библиографическом списке сделана не от руки, набрана черным по белому: «Воспоминания Н.Ю. Людевиг («Пересвет»)». Ошибки быть не может. К тому же вот и каталожные карточки подтверждают – бывший матрос писал в тридцатых годах книги и издавал их.

Звоню в отраслевые библиотеки. Звоню в Военно-научную библиотеку Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, в библиотеку Академии наук… Отовсюду – нет, нет, нет…

Последняя надежда – Всесоюзная книжная палата, эта штурманская рубка печатного океана… И «штурманская рубка» не смогла сообщить ничего утешительного: «В списках не значится». Неуловимая и с каждым отказом все более желанная книга снится мне по ночам, дразнит воображение, точно так же, как это было с «Авариями царского флота». Неужели ее выпустили таким мизерным тиражом, как и сборник Ларионова?

В поисках моих наступила затяжная пауза.

Весьма сомнительный родственник автора – пианист из светлановского оркестра – уехал в Австралию на гастроли. Справка из отдела кадров Московской филармонии не внушала особых надежд: пианиста звали Петром Николаевичем Мещаниновым. Если он и в самом деле родственник матроса с «Пересвета», то уж наверняка десятая вода на киселе. Так что шансы отыскать «Воспоминания» Людевига сводились почти что к нулю…

Мой приятель художник Геннадий Добров пригласил меня на зональную выставку, где показывалось несколько его картин. Там, за Москвой-рекой, бродя по огромным залам, я наткнулся на ничем не примечательный портрет сельского тракториста. Скользнув взглядом по авторской табличке, я глазам своим не поверил: «О.Н. Людевиг». Однофамилец? Но уж слишком редкая фамилия, да и второй инициал наводил на мысль о прямом родстве с пересветовским матросом… Я бросился в фойе выставочного центра и, сунув голо-

ву в прозрачный колпак телефона-автомата, позвонил в отдел творческих кадров МОСХа.

– Ольга Николаевна Людевиг, – ответили мне. – Живописец. Ее телефон…

Благодарю и звоню тотчас же.

Приятный женский голос подтвердил все мои самые лучшие предположения. Я говорил с дочерью Николая Юльевича Людевига, матроса-охотника с крейсера «Пересвет», члена следственной комиссии по делу гибели корабля! Тут же выяснилось, что пианист из светлановского оркестра, Петр Николаевич Мещанинов, ее сын и единственный внук Николая Людевига.

– А книга? Книга «Воспоминания» – сохранился ли у вас хотя бы экземпляр?!

– Такой книги нет в природе! – огорошила меня Ольга Николаевна. – Она никогда не выходила в свет, но готовилась к печати. Рукопись у меня есть.

– Можно было бы взглянуть на нее?

– Приезжайте.

В назначенный день еду на юго-запад столицы – в Тропарево, – затем почти бегу, то и дело оскользаясь на ледяных колдобинах проспекта Вернадского. Вот и дом художницы – высоченная жилая башня. Поднимаюсь на седьмой этаж.

Немолодая статная женщина ведет меня в комнаты. С первых же шагов попадаю в особую атмосферу старого интеллигентского дома, где старина не антураж, а гордая память ро-

да. В современной блочной квартире нашлось место и резному книжному шкафу из отцовского кабинета (в нем сохранены книги Людевига), и массивному письменному столу с зеленосуконной столешницей. Именно за ним бывший пересветовец работал над своим походным дневником, над статьями, проливающими свет на тайну гибели корабля. Теперь внук его, Петр Николаевич Мещанинов, пишет здесь музыковедческую книгу… Все было почти так, как у Ларионовых.

Ольга Николаевна показала мне и звездный глобус «яхтенного адмирала», и часы – приз, завоеванный отцом на парусных гонках, и его бронзовый барометр. То был настоящий домашний музей…

Ее удивил мой приход и не удивил. Не удивил потому, что время от времени к ней обращаются спортивные журналисты, которых по тому или иному поводу интересует старейший русский яхт смен, вице-командор Петроградского морского клуба, первый советский председатель Совета по делам водного спорта Николай Юльевич Людевиг; удивил потому, что впервые кто-то стал расспрашивать о матросском прошлом отца.

И я расспрашивал…

Из рассказа Ольги Николаевны, из альбомов, из расползающихся от ветхости бумаг, любовно сбереженных дочерью, вставал образ человека необыкновенного, судьбы которого хватило бы, чтобы написать роман. Впрочем, они стоили друг друга – судьбы Домерщикова, Ларионова, Людевига.

О деде матроса с «Пересвета» «Русский биографический словарь» сообщает, что пастор Генрих-Христиан-Теодор Людевиг родился в 1782 году в Ганновере. Окончив Геттингенский университет, он уезжает в Россию домашним учителем в один из богатых домов Курляндии. Затем учительствует в либавском сиротском приюте, становится пастором либавского латышского прихода, на латышском же языке пишет и издает философские трактаты. Сын его – Юлий, земский врач, – лечил прокаженных, за самоотверженную деятельность на холерных эпидемиях получил личное дворянство. Наконец, внук пастора и сын земского врача Николай Людевиг. Он родился в 1877 году во все той же Либаве, ставшей для его домочадцев второй родиной, однако семья земского врача очень скоро перебралась в Петербург.

После реформатского училища и реальной гимназии Николай поступил страховым агентом в «Русский Ллойд». Предельно честный, исполнительный, не пьющий и не курящий молодой человек был назначен вскоре начальником статистического отдела. Довольно скучная служба была лишь службой, не более того, душа Людевига рвалась в море под белым парусом. Наверное, неспроста его двухмачтовая яхта была названа «Утехой». Молодой чиновник жил в полярно разных мирах: днем – в конторе, среди статистической цифири, вечерами и белыми ночами – на морском просторе Финского залива, взнуздывая ветер в паруса и снасти. Это было не просто развлечение, это было его истинное при-

звание, его судьба, его вторая профессия, ставшая с годами главной.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Немолодой сухощавый матрос с аккуратными усами; взгляд прямой, с затаенной горечью. На бескозырке теснятся цифры и литеры: «1-й Балт. фл. экипаж», на плечах погончики с пестрой окантовкой вольноопределяющегося, по-флотски – охотника…*

Когда началась первая мировая, Людевиг, в свои тридцать семь, призыву не подлежал. Тем не менее он оставил весьма обеспеченную столичную жизнь – лакей, собака-водолаз, яхта, теплое место в страховой конторе – и отправился на фронт добровольцем. Этот решительный поступок он совершил не в ура-патриотическом угаре и не в юношеском порыве к подвигам. Людевиг много читал Толстого, видимо, сочувствовал его идеям и, повинуясь голосу совести, отправился в самое пекло народной беды – на фронт. Сначала он попал рядовым в пехотный полк, но ему, завзятому парусник, хотелось в родную стихию – на море, на флот. Он знал, что врачи в плавсостав его не пропустят: подводило зрение, он путал коричневый и зеленый цвета. И вот тут, быть может, впервые за свою безупречную жизнь страхового чиновника, Людевиг словчил: выучил наизусть цветовые таблицы и… был признан годным к службе на флоте. Так на крейсере «Пересвет» оказался весьма своеобразный матрос-охотник, который возложил на себя – опять-таки добровольно – обязанности негласного корабельного летописца, точнейше-

го хронографа последнего похода «Пересвета».

Ольга Николаевна выложила на отцовский стол длинную голубую папку с замшевыми уголочками, подбитыми латунными шляпками. На пожелтевшей этикетке рукою Людевига было выведено: «Гибель «Пересвета». Сердце у меня запрыгало. Передо мной лежал дневник не просто очевидца загадочного взрыва корабля, но и активнейшего члена следственной комиссии по делу «Пересвета». Я почувствовал себя марафонцем, завидевшим финишную черту. Да что марафонцем… Тут разом встали перед глазами библиотеки, архивы, квартиры, все люди, с которыми свел меня розыск…

Поверх этикетки синела размашистая карандашная буква «О». Надо было понимать – Ольге, дочери… Именно ей завещал Людевиг эту папку – хранилище его совестливой памяти, увы, не тронувшей в бурные тридцатые годы ни издателей, ни историков. Почти полстолетия молчал голос человека, знавшего, как никто, обстоятельства гибели «Пересвета».

Машинописная рукопись не магнитная лента, но я вдруг явственно услышал глуховатый, чуть торопливый, питерский говорок.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Уже во время стоянки во Владивостоке, видя всю неблагоустроенность „эскадры особого назначения“, я вознамерился разоблачить по окончании войны эту покупку старых железных коробок, а потому вел дневник и много снимал, фиксируя все мало-мальски ин-*

тересное. Полагаю, что неточностей мало, так как вслед за революцией мне поручили вести расследование обстоятельств взрыва, что в свою очередь повлекло за собой выяснение состояния корабля и условий жизни на нем. Результатом этого опроса соплавателей явилось мое возвращение в Россию, где по моему докладу морскому министру была создана следственная комиссия для выяснения обстоятельств покупки, плавания и гибели „Пересвета". Я и машинист Мадрус в ней участвовали в качестве членов, присутствовали при допросе до 250 человек, в том числе нескольких высших чинов морского министерства, и просмотрели документы и дела, относящиеся до нашей эскадры. Сличение и сводка всего этого материала, дополняя и разъясняя мои воспоминания, дали, я полагаю, исчерпывающую картину нашей эпопеи. С наиболее интересных документов у меня имеются копии или выписки. Редкий приводимый мною факт не может быть подтвержден документами или показаниями нескольких лиц».

Как всегда, я отыскал в тексте сначала все, что касалось Михаила Домерщикова. Разумеется, матрос Людевиг смотрел на старшего офицера «Пересвета» несколько иначе, чем я из своего далека. Во все времена должность старшего офицера (старшего помощника командира) предписывает особую требовательность, это самый жесткий исполнитель командирской воли на корабле. Он не имеет права быть добреньким, заигрывать с командой, идти на поводу у кают-ком-

пании. И чаще всего человек в этой суровой роли особых симпатий у своих соплавателей – будь то лейтенант или матрос – не вызывает. У Людевига с Домерщиковым было одно личное столкновение, после которого матросу-охотнику пришлось спороть унтер-офицерские лычки. В дневнике Людевиг не оправдывал себя, а честно поведал об этом конфликте. Во время стоянки в Японии старший офицер застал на боевом марсе грот-мачты четырех матросов, игравших в карты. Среди этих четырех оказался и автор дневника. Наказав картежников, Домерщиков поступил так, как поступил бы и сейчас любой старпом. Людевиг, человек обостренной справедливости, зла на старшего офицера не затаил, но и любовью к нему не проникся. Тем не менее чувство объективности ему не изменило, и Домерщиков, несмотря на неприязненный авторский тон, выглядит на страницах дневника весьма достойно. Это тем более заметно на фоне остальных пересветовских офицеров, которых Людевиг оценивал в духе своего бунтарского времени – уничтожительно-резко.

Домерщиков сменил на посту старшего офицера подлинного царского сатрапа – капитана 2-го ранга Бачманова – грубияна, драчуна, матерщинника, понимавшего службу весьма просто: за узду да в морду.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«Домерщиков, новый старшой, тотчас же по прибытии на корабль произнес речи: одну перед офицерами, другую перед командой. Перед первыми он развивал мысль о необходимости воздействия на матросов*

не кулаком и наказанием, а личным примером добросовестного отношения к службе. Тенденция эта встретила резкую оппозицию среди офицеров. Люди, в принципе с ним согласные, но имевшие за собой жизненный и служебный опыт, предсказывали, что такая резкая перемена политики поведет к водворению на корабле анархии, и резонно говорили, что перевоспитать людей нельзя в один день и что без наказаний и Домерщиков не обойдется. Офицеры же типа Бачманова, принципиально не признающие за матросом права именоваться человеком, были в отчаянии и предсказывали бунт.

Во всяком случае, повышенные требования к офицерам, с одной стороны, и защита интересов матросов, может быть, иногда в ущерб престижу офицера, с другой стороны, привели к тому, что старший офицер оказался совершенно изолированным от остальной кают-компании.

Матросам Домерщиков сказал, что он будет строго требовать службу, но зато обещал заботиться об их пище, а со своими нуждами разрешил без стеснения ходить к нему. Спич этот, очень длинный и сумбурный, произнесенный едва слышным голосом, произвел на команду какое-то нелепое впечатление.

Следуя программе, высказанной перед офицерами, он первое время ни одного взыскания не накладывал и пытался воздействовать словом. Но вожжи слишком быстро были распущены. До того незаметное, тайное пьянство на ко-

рабле стало явным, а число краж увеличилось. Число нетчиков1 все росло и дошло до баснословной цифры – двадцать с лишним человек в день. Матросы в городе стали производить даже покушения на имущество японцев. Был случай похищения денег у торговца и часов в магазине. Японские власти запротестовали.

Пришлось вновь вводить строгости. При возвращении с берега стали матросов обыскивать для отобрания спиртных напитков и наказывать за опоздание с берега. Целый ряд унтер-офицеров был разжалован за пьянство, дебоши и картеж на корабле.

Мягкий и ранее говоривший тихим голосом и апеллировавший к совести людей, старшой стал пытаться орать истошным голосом и неистовствовать без толку. Так разумной дисциплины ему создать и не удалось. Кражи стали систематическими, причем в большинстве случаев виновники оставались необнаруженными, а некоторые, по мнению команды, явные воры за недоказанностью ходили на свободе и продолжали свое дело. Матросы стали расправляться своим судом, т. е. избивать подозреваемого. В одном из подобных случаев удалось самоуправцев обнаружить. Старший офицер грозил им судом, расстрелом, виселицей, но в конце концов ограничился постановкой всех преступников под ружье».

Домерщиков, прошедший суровую школу жизни – Цусима, австралийские лесоразработки, пулеметная команда Ди-

кой дивизии, гибель госпитального судна, – принадлежал к той части русского морского офицерства, которая была воспитана на гуманистических романах Станюковича, на идеях адмирала Макарова, высоко ценившего боевые качества русского матроса. В весьма разношерстной кают-компании «Пересвета» Домерщиков действительно выглядел белой вороной, что было замечено в матросских низах и нашло отражение в дневнике Людевига.

Как я понимал этого «офицера с тихим голосом»!

Я разложил на своем рабочем столе рукописи дневника Людевига и ксерокопию дневника Иванова-Тринадцатого. Жизнь, поход и гибель «Пересвета» открывались мне почти стереоскопически: я мог рассматривать судьбу корабля глазами рядового матроса и глазами его командира, из палубных низов и с высоты мостика…

Оба дневника яростно спорили друг с другом, один то и дело поправлял другого, порой в чем-то они сходились, но чаще Людевиг уличал своего командира в выгодных ему неточностях и недомолвках, обличал его, возлагая на него всю ответственность за роковой взрыв.

После эвакуации из Порт-Саида они никогда не видели друг друга. Людевиг вернулся в Петроград, а Иванова-Тринадцатого эмигрантская судьба забросила в Лион. Но дневники они писали в одни и те же годы, ведя свой нечаянный спор, безо всякой надежды быть услышанными не только друг другом, но и современниками. Журнал «Морской сбор-

ник», куда в июне 1940 года Людевиг отнес свой дневник, дал понять автору, что дела минувших дней его не интересуют. А зря.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«По словам офицеров, вахтенных начальников, командир был предупрежден английскими властями о том, что в Порт-Саиде предполагаются германские агенты и что необходимо принять строжайшие меры к охране корабля от проникновения посторонних лиц. На словах были даны строжайшие распоряжения, чтобы абсолютно никто без специального на то разрешения на корабль не пропускался, но на деле было вовсе не так. Разные прачки, портные, торговцы свободно разгуливали не только в офицерских палубах, но даже и в обеих командных. Рабочие одного из порт-саидских заводов, работавшие по ремонту мусорных эжекторов, всходили на корабль, иногда даже не спрашивая разрешения вахтенного начальника. Часовые у трапов, привыкшие к халатному отношению к своим обязанностям и к беспрепятственному посещению корабля посторонними лицами, даже не всегда вызывали вахтенного унтер-офицера. Однажды было установлено, что какие-то темнокожие производили с шлюпки торговлю вином с матросами через открытые минные полупортики. В другой раз был задержан лодочник, принявший от матроса через иллюминатор на тарабарском языке записку (буквы русские, но содержание понять было нельзя). Кто был этот матрос, установить не удалось. Что сделали береговые власти*

с задержанным, осталось в неизвестности.

День отхода держался от экипажа в секрете, и даже в последние сутки в точности не было известно, когда мы выходим. Как это всегда бывает, лучше всех были осведомлены поставщики, и от них-то мы узнали, что уходим 22-го, в четыре утра. Но около двух часов дня от начальника обороны Порт-Саида и Суэцкого канала – французского адмирала – пришло распоряжение выходить в три часа, т е. на час раньше.

В последние минуты, когда сообщение с берегом было уже прекращено и отдавались последние перлини, неожиданно на палубу вышли каких-то два «вольных человека». Никто их не остановил. Они сели в шлюпку и съехали. По словам кондуктора Николайчука, это были два брата, русские подданные, один из них служил когда-то фельдфебелем. Они были приглашены в кондукторскую кают-компанию баталером Пален. Он их угощал».

Глава шестая
ТОЧКИ НАД «Е»

Пален? Пален, Пален… Эта фамилия показалась знакомой. Стоп! Венский юрист – Иван Симеонович Палёнов. Может быть, Людевиг написал его фамилию в сокращенном виде?

Изучаю текст – Пален. Без намека на сокращение. И потом с какой стати ему понадобилось сокращать именно эту фамилию, когда все остальные выписаны полностью? Нет, случайное созвучие: Пален и Палёнов. Одна – какая-то французская фамилия, другая – чисто русская. Ничего общего, кроме первых трех букв… А может, все-таки Паленов, без «ё»?

Роюсь в самом нижнем ящике стола, там, где обычно храню старые записные книжки… Вот и венский блокнот. Записи, второпях сделанные в клубе «Родина», – куцые, с полупонятными сокращениями. Палёнов сам написал в блокнот свой телефон и фамилию по-немецки: Palenoff. Никаких точек над «е». Это уже я сам перевел фамилию на русский манер: Палёнов. Значит, все-таки Паленов? Тогда совпадают все пять букв. А окончание «off» – «ов»? Но ведь вполне допустимо, что носитель фамилии мог сам по какой-либо причине русифицировать свое имя. Может быть, он написал русское окончание специально для меня, чтобы фами-

лия его звучала для уха соотечественника более привычно, более располагающе?…

На этой же блокнотной страничке под телефоном Палёнова – Палена я обнаружил свою маловразумительную теперь пометку: «мавз. Гриб.» Расшифровать ее удалось довольно быстро: «мавзолей Грибоедова». Но по какому поводу она возникла и как связана с моим венским знакомым, это я вспомнить не мог. Я напрягал память и так и эдак, я пускался на хитрость, отвлекался, а потом пытался вспомнить врасплох. Безуспешно…

Я почти ничего не знал о человеке, который навел меня на след «Пересвета», и даже эта пустячная пометка могла бы о нем что-то рассказать.

Я промучился несколько дней, пока не приехал в гости к Павлу Платоновичу Домерщикову, и тот, к слову, предложил мне полистать прекрасно изданный фотоальбом «Старый Тбилиси». Вот тут-то на глаза попался фотоснимок мавзолея Грибоедова. Надгробие поэта венчала бронзовая женщина, припавшая к подножию распятия. Вспомнил!

Там, в клубе «Родина», Палёнов упомянул о своем не то деде, не то прадеде – герое Отечественной войны, на могиле которого поставлен тот же памятник, что украшает и мавзолей Грибоедова.

Звоню в институт искусствоведения, без особой, впрочем, надежды узнать что-либо по «делу Палена». Задаю один-единственный вопрос: «Кто автор скульптуры на мавзолее

Грибоедова?» После нескольких телефонных переадресовок получаю исчерпывающую справку: «Автор мемориальной фигуры – известный русский скульптор Демут-Малиновский. В Москве имеются три авторских повторения этого памятника: одна копия в некрополе Донского монастыря, две другие – на Введенском кладбище».

Визит в Голицынскую усыпальницу Донского монастыря доставил лишь эстетическое наслаждение, и ничего более. Дева, припавшая к подножию распятия, как две капли воды походила на свой тбилисский оригинал. Однако оплакивала она флигель-адъютанта В. Новосильцева, убитого в 1825 году на дуэли.

Еду в Лефортово, на Введенское кладбище, бывшее Немецкое. Прошел по аллеям, всем тропинкам, но нигде характерный силуэт так и не попался на глаза. Неужели в институте искусствоведения ошиблись?

Спрашиваю о памятнике пожилую женщину в черном служебном халате – не то привратницу, не то сторожиху.

– Есть такой, да только признать его трудно. Распятие-то злодеи спилили, а женщина осталась. От главных ворот по центральной аллее пойдете, там ее и увидите.

Я так и сделал.

На саркофаге красного мрамора бронзовая дева сжимала в руках спилок креста. Я не успел придумать достойной кары кладбищенским ворам, как в глаза мне ударила надпись: «Генерал от кавалерии Павел Петрович фон дер Пален». Так

все-таки Пален! Не Палёнов, а Пален. И не француз, как мне казалось, а немец – фон дер… Подозрение на старшего артиллерийского офицера Ренштке пало во многом из-за его немецкой фамилии. Но мало кто знал на «Пересвете», что и баталер Пален тоже был выходцем из немцев. Если к Ренштке наведывался какой-то араб с чемоданом (то мог быть и коммивояжер с образцами товаров), то к Палену за два часа до взрыва приходили двое штатских. Вроде бы свои…

«В Порт-Саиде, – свидетельствует командир «Пересвета», – находился агент пароходного общества РОПиТ господин Пахомов, тип очень небольшого удельного веса, и еще каких-то двое русских, темные типы, избравшие себе знакомство с кондукторами и нижними чинами, спускаемыми на берег».

То, что агенты РОПиТа в Египте занимались по меньшей мере промышленным шпионажем, ни для кого не секрет.

От промышленного шпионажа к военному путь короткий. Порт-Саид кишел разведчиками воюющих блоков, и перевербовка агентов была делом обычным. Даже если господин Пахомов состоял на службе русской разведки, его подчиненные по РОПиТу – двое братьев – могли работать на германцев. Встретив в одной из порт-саидских кофеен своего давнего знакомого – кондуктора Палена, братья-ропитовцы могли повести такую игру: начали бы оплакивать молодую душу Палена, идущего на верную гибель в Средиземное море. Война-де кончается, бессмысленно губить сотни матросских

жизней ради того, чтобы перегнать на Север ржавую, никому не страшную коробку. Было бы в высшей степени гуманно, если бы какой-нибудь смельчак сумел так повредить корабль, чтобы он надолго застрял в Порт-Саиде – до конца войны, тогда все остались бы живы.

При такой обработке Палена, когда речь шла не о диверсии на благо Германской империи, а о человеколюбивом деянии, участники сделки ничем не рисковали, если бы они открыто предложили Палену от имени его соотечественников солидный куш за подрыв крейсера. Деньги могли быть обещаны и в первом случае, как плата за риск.

Пален согласился. Он нашел способ подбросить «сигары»-воспламенители в бомбовый погреб носовой десятидюймовки. Не рассчитал только время взрыва, промедлив на час.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Шифрованная записка, посторонние на корабле, распущенность экипажа, доступность к погребам, вообще порядки, которых ни один капитан торгового, грузового парохода у себя не допустил бы, – писал Людевиг, – делали на „Пересвете“ вполне возможным устройство взрыва со злым умыслом. Если предположить, что в задание, полученное германским агентом, входило не только утопить корабль наш, но и загородить Суэцкий канал, то картина будет ясна.*

Адская машина в виде часового механизма, имеющая, скажем, внешний вид термографа Ришара или барографа, при-

боров, на военных кораблях обычных, с парой фунтов взрывчатого вещества и ударным приспособлением, была внесена на корабль и помещена или в одном из носовых погребов, или же вне его, у тонкой переборки, отделяющей его от соседнего помещения.

Для воспламенения наших 10-дюймовых полузарядов (не патронов), хранившихся в медных цилиндрах с неплотными крышками, многого не нужно. Загорелось сначала несколько штук, затем пожар увеличился. Характерного «взрыва» не было, иначе разворотило бы всю носовую часть корабля.

Часы поставлены на момент, когда корабль должен быть, по расчету, еще в канале. Если адский прибор закладывал кто-либо из экипажа корабля, то искусители могли его убедить, что он наверняка спасется. «Ведь тонуть „Пересвет" должен, – могли им говорить, – на глазах у десятков французских, английских, итальянских и других военных и коммерческих судов. Сотни шлюпок и паровых катеров бросятся к месту катастрофы».

Соображение о возможной гибели массы людей для подлеца необязательно, да, кроме того, при взрыве в погребе, когда по команде «Все наверх! С якоря сниматься!» в носовом отсеке под палубой почти никто не должен оставаться, число погибших было бы минимальным.

Если финал построенной мною гипотезы разбивается и, может, виновник взрыва погиб вместе с кораблем, тому виною наш выход на час раньше, чем предполагалось».

После небольшого открытия, уточнившего фамилию Палёнова, версия Людевига в моих глазах стала еще более вероятной.

Пален, Пален… Надо узнать о нем все, что только можно. Но как? Личные дела и послужные списки кондукторов в архивы не сдавались. В ЦГА ВМФ искать бесполезно…

Я начал с Центрального адресного бюро и вскоре получил оттуда неутешительную справку: на территории Советского Союза не проживает ни один гражданин по фамилии Пален. Листаю справочно-адресные книги Москвы и Ленинграда. Нет, нет, нет… Последний том «Весь Ленинград» датирован 1933 годом. Пробегаю длинные столб цы убористого шрифта: Павловы, Палкины, Палев, Пален И.С.!

Итак, в 1933 году венский юрист Палёнов, он же Пален, жил в Ленинграде на Социалистической улице (бывшая Ивановская), записываю номер дома и квартиры.

Вот и кончик нити! Да только не истлела ли эта нить за минувшие полвека?

Ищу на схеме Ленинграда примерное местоположение дома Палена. Вот здесь. В какой-то сотне шагов от дома в Графском переулке, где жил Домерщиков. А рядом здание театра имени Ленсовета, где в годы НЭПа находилось казино – там в Управлении государственной карточной монополии работал одно время Людевиг. Как тесно – на одном пятачке – сошлись судьбы трех пересветовцев: человека, взорвавшего корабль, человека, спасавшего корабль, и человека, ис-

кавшего виновника катастрофы. Сойтись-то они сошлись, но как потом разошлись?

Глава седьмая
КОНСТРУКТОР «ЧЕРТОГОНОВ»

Золоченый штык Петропавловской крепости потускнел от мороза. По желтоватому льду Невы бродили вороны, выклевывая что-то в трещинках. Стояла обычная январская стужа, но, странное дело, чем ближе я подходил к дому Палена, тем ощутимее пробирал мороз. Казалось, все происходит как в детской игре, когда по мере приближения к цели кричат: «Тепло, теплее, горячо»; разница была в том, что мне с каждым шагом к ничем не примечательному угловому дому становилось «прохладно, холодно, ледяно», как будто именно там располагался полюс холода.

У двери с четырьмя звонковыми кнопками – ни под одной из них таблички с фамилией «Пален», разумеется, не было – я дал общий звонок. Дверь открыл коренастый мужчина лет шестидесяти. Тяжелые, вросшие в переносицу очки, коротко стриженные усы, вместо правой брови – лысый рубец шрама. Должно быть, он куда-то собирался – на голове сидел каракулевый «пирожок», с шеи свисал теплый вязаный шарф.

Я представился и объяснил, что ищу людей, знавших Ивана Симеоновича Палена, жившего до войны в этой квартире.

– Про-хо-ди-те, – нараспев от удивления протянул человек в «пирожке». Он стянул шарф, и на пиджаке его открылась весьма внушительная орденская колодка, где але-

ли ленточки двух «Отечественных войн» и трех «Красных Звезд». – Проходите, – еще раз повторил он свое приглашение. – Гость запоздалый… Как вас звать-величать?… Ну а меня – Виктор Иванович Новиков… Урожденный Пален. Так-то… Сейчас свет включу… Моя дверь – вторая справа. Толкайте смелее, закрыть не успел…

Я вошел в небольшую, но высокую комнату, обставленную скучной мебелью середины века. Под новеньким линолеумом потрескивал старый паркет.

– Может, вы об отце какие сведения имеете, раз меня разыскали? – спросил хозяин комнаты, усаживаясь в кресло.

– Вы… сын Ивана Симеоновича? – Я чуть не вскрикнул.

– Сын, сын… Да вы успокойтесь, присаживайтесь… Фамилии у нас, правда, разные. Я, как война началась, стал по матери писаться. Решил, что непатриотично немецкую фамилию носить, раз война с немцами. Да мы уж тут так обрусели, что во мне немецкой крови и с наперсток не наберется. Ну а все же… Батя под своей ушел. В сорок втором пропал без вести где-то здесь же, под Ленинградом. Он в народном ополчении воевал… Я всю войну прошел от звонка до звонка, знаю, как без вести пропадают. Кого снарядом на клочки, кто под лед ушел, а кого без документов так – в братскую могилу. Сорок четыре года прошло. Был бы жив – объявился…

Я с трудом удержался от мгновенного искуса раскрыть судьбу его отца. Удержался и не пожалел об этом… И еще я подумал: хорошо, что Виктор Иванович носит другую фами-

лию, дело не в том, немецкая она или польская, а в том, что мрачная тень венского юриста не упадет на его честное имя.

Я спросил, не рассказывал ли Пален-старший о походе на «Пересвете».

– О службе на царском флоте он вспоминать не любил. Правда, тельняшку носил всегда… И татуировка у него на плече была: дракон японочку обвивает. Это он на память о Японии выколол… О «Пересвете» он рассказывал, что взорвали его англичане и что не то в двадцать пятом, не то в двадцать седьмом ему удалось разоблачить бывше го старшего офицера, который-то и оказался английским наемником.

Я не стал его опровергать, доказывать обратное, тем более что при мне не было никаких документов, удостоверяющих мою правоту и версию Людевига. Я думаю, что рано или поздно эти строки попадутся на глаза Виктору Ивановичу и он узнает всю правду, как бы горька она ни была…

Итоги своей последней ленинградской вылазки я подводил в Москве. Но прежде чем сесть за стол, я еще раз побывал у Ольги Николаевны Людевиг. Она собиралась в свое «имение», в псковскую деревню Ямище, где у нее что-то вроде мастерской. Во всяком случае, портрет тракториста, который сослужил мне столь добрую службу, был написан именно там.

Мы сидели за старинным ломберным столиком. Ольга Николаевна извлекала из шкатулки спортивные регалии отца – значки необычайной ныне редкости, – раскладывала их на

зеленом сукне…

Вспоминая жизнь Николая Юльевича, она обмолвилась, что в году тридцать пятом с ним произошел несчастный случай. Людевиг работал тогда на осоавиахимовском судостроительном заводе имени Каракозова начальником ОТК. По разгильдяйству ли, по злому ли умыслу во время обхода верфи на него упала кувалда. Пострадавшего отвезли в больницу с сотрясением мозга. Потом инсульт…

Мысль о том, что это могло быть покушение, упрочилась, когда Ольга Николаевна рассказала, как в тридцать седьмом году к ним в дом на Гороховской приходил сотрудник из одной очень строгой организации и подробно расспрашивал ее об отце. Все обошлось благополучно: биография бывшего матроса была чиста. Но ведь кто-то же пытался его очернить?

Для меня это вопрос почти риторический.

Гражданская война прервала работу следственной комиссии по делу гибели «Пересвета». Протоколы свидетельских показаний ушли в архив.

Но баталер Пален был отнюдь не уверен, что о гибели «Пересвета» забудут раз и навсегда, что следствие не возобновится… Лучший способ обороны – нападение. А лучшим объектом для такого нападения был бывший старший офицер «Пересвета» Домерщиков, человек с биографией весьма сложной. Палену удалось его оклеветать и на несколько лет отвести от себя какие-либо подозрения. Но оставался

еще этот матрос-охотник, не просто очевидец, а член бывшей следственной комиссии. Он-то больше чем кто-либо тревожил Палена, так как продолжал расспрашивать пересветовцев об обстоятельствах гибели крейсера, собирался писать книгу об этом и был убежденным сторонником версии умышленного взрыва.

Если убрать Домерщикова оказалось довольно легко, то Людевиг, с его кристально чистым матросским прошлым, оставался неуязвим. Не это ли обстоятельство заставило Палена «пропасть без вести» в сорок втором? Быть может, оно сопутствовало желанию вырваться из блокадного кольца, еще раз спасти свою жизнь, как это ему удалось в Порт-Саиде. Как-никак, а он, фольксдойче, мог рассчитывать на особое к себе отношение, даже если немецкая разведка и забыла о той услуге, которую он оказал ей в шестнадцатом году. А если не забыла?

Среди новых документов, которые отыскала Ольга Николаевна к моему приходу, я обнаружил любопытную бумагу – удостоверение, датированное августом 1917 года: «Дано сие Н.Ю. Людевигу в том, что он уволен от военной службы как неправильно призванный из запаса, так как означенного срока службы (1889 г.) ратники во флот не призывались».

Значит, страховой агент действительно сам выбрал себе судьбу, «ступив на зыбкое лоно морей», уйдя в гибельный рейс «Пересвета», будто нарочно, за тем, чтобы пролить потом свет на тайну взрыва корабля.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Этот снимок сделан за год-два до гибели Людевига. Немолодой, тертый жизнью человек в черном пальто. Подзапущенная борода. На голове форменный картуз с «крабом» морского яхт-клуба. Под навесом широкого кожаного козырька поблескивают металлические – грибоедовские – очечки. Глаза сквозь стекла смотрят чуть грустно, прямо и строго.*

Старый яхтенный капитан, «яхтенный адмирал», как зовут его в шутку друзья, мастер спорта, конструктор деревянного судостроения, Дон-Кихот-ветроход…

«Вам мало было самим заниматься парусным спортом. Вы готовы были приобщить к нему весь мир», – писали друзья в почетном адресе по случаю 25-летия спортивной деятельности Людевига.

Во время Кронштадтского мятежа Людевиг гонял по льду Финского залива на буерах – ледовых яхтах, поддерживая связь красноармейских частей с Петроградом.

После гражданской войны он целиком отдался любимому делу: организовывал речной яхт-клуб, учил осоавиахимовцев, писал популярные брошюры, конструировал, строил… Он увлекся буерами, «чертогонами», как их в шутку называли в народе.

Его не очень-то понимали: уж очень диковинный спорт – мчаться по льду под парусами. Находились и такие, которые заявляли: буер – отрыжка буржуазного спорта, пустая забава аристократов. А этот неистовый чудак со всклоченной бо-

родкой уверял всех, что буер надо взять на вооружение Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

Никто тогда ни сном ни духом не ведал, что первый мешок муки в умирающий от голода Ленинград будет доставлен по льду Ладоги именно на буере. Буеристы первыми – еще по тонкому льду – произвели разведку будущей Дороги жизни. Обратно из Кобон в Осиновец они возвращались отнюдь не налегке – на платформы «чертогонов» были уложены мешки с драгоценной мукой. И позже, когда на лед, еще недоступный автомашинам, вышли санные обозы, ледовые яхты, обгоняя выбивающихся из сил коней, летели по глади замерзшего озера, перевозя в осажденный город тонны и тонны ржаной, пшеничной муки.

Скольким женщинам, детям-дистрофикам, раненым бойцам спас жизнь тот самый первый хлеб! Лишь конструктора Людевига не успели спасти его ветролеты. Он умер от голода в жестокую зиму сорок второго.

Его ученик, известный ленинградский яхтсмен Николай Евдокимович Астратов, сообщил мне в письме некоторые подробности:

«Быть может, он бы и пережил ту страшную зиму, но его обворовали. Из подвальчика на его огороде кто-то выгреб весь картофель…

Боже, какой был человек! Умный, добрый, радушный, глубоко интеллигентный. При нем не ругался даже наш шкипер, бывший боцман с «Громобоя». Николай Юльевич был

гонщик от бога. Для нас он был больше чем тренер. Учитель!

И когда в отряд буеристов пришла его открытка с едва нацарапанным словом «Помогите», мы тут же собрали пакет с продовольствием. Саша Кукин встал на лыжи и двинулся в Новую Деревню. Увы, Людевига уже два месяца как не было в живых…»

А «чертогоны» старого романтика продолжали служить городу на Неве. И как служить!

Сбылось предсказание Людевига: Военно-Морской Флот взял буера на вооружение. По приказанию командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Ю. Пантелеева в самом начале первой военной зимы были сформированы два буерных отряда. Оснастили их тяжелыми буерами «русского типа», построенными по чертежам Людевига. Каждая из 19 ледовых яхт несла паруса площадью до шестидесяти квадратных метров. На решетчатой платформе размещались шесть – десять автоматчиков. Вместо десанта можно было брать пять-шесть мешков муки (400—600 кг). При хорошем ветре буер успевал за день сделать от четырех до шести рейсов (3500 кг муки – семь тысяч буханок хлеба – двадцать восемь тысяч накормленных по блокадным нормам людей).

Ходили буера и ночью, доставляя в город не только муку, но и медикаменты, патроны и даже бензин.

Участник тех героических рейсов ленинградский яхтсмен Николай Астратов вспоминал на страницах журнала «Катера

и яхты».

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**: «Приходилось перевозить и обессиленных голодом ленинградцев, часть – с детьми. С большим недоверием садились пассажиры на невиданный транспорт. И радостно благодарили, очутившись через какие-нибудь 20-30 минут на Большой земле».*

Конструкторские разработки Людевига обеспечили Дорогу жизни самым быстрым транспортом: буера при попутном ветре развивали скорость до 80 километров в час. Их так и называли – ветролеты.

Буеристы отряда зимней обороны ходили и в разведку, и в дозоры, доставляли боевые донесения… Вступали в рисковую игру с немецкими батареями и даже самолетами – выручали скорость, маневренность, сноровка шкотовых и рулевых…

«В блокадные зимы буера хорошо послужили флоту. Может, стоит отыскать или воссоздать буер тех лет? – вопрошает бывший начальник отряда зимней обороны В. Чудов. – Может, стоит установить его на пьедестал, скажем, в Центральном яхт-клубе города? Ведь это еще одна страница военной истории Ленинграда, и страница славная!»

Конечно, стоит… Только не забыть бы при этом назвать и имя конструктора – Николая Юльевича Людевига, матроса-охотника с «Пересвета».

Лион. 1930 год

Врангелиада забросила контр-адмирала Иванова-Трина-

дцатого во Францию. С женой, двумя сыновьями и дочерью он сразу же оказался на мели. И если бы не случай, который свел бывшего командира «Пересвета» с капитаном 1-го ранга Бенуа д'Ази, приятелем по стоянке в Порт-Саиде, где тот командовал французским броненосцем, семейству Ивановых пришлось бы весьма туго.

Бенуа д'Ази посоветовал перебраться в Лион, на свою родину, и снабдил адресами людей, могущих помочь с жильем и работой. Так Иванов-Тринадцатый до конца дней своих осел в «шелковой столице» Франции.

Иванов-Тринадцатый работал в местном ломбарде – сначала приемщиком вещей, потом счетоводом. Хозяину ломбарда, отставному сержанту колониальной полиции, льстило, что у него под началом настоящий русский адмирал. Порой, куражу ради, он покрикивал на «их превосходительство» и грозил увольнением.

В мае тридцатого года в окошечко ломбарда заглянул смуглый узкоглазый человек.

– Могу ли я видеть контр-адмирала Иванова-Тринадцатого?

– С кем имею честь? – вопросом на вопрос ответил приемщик вещей с замысловато изогнутыми усами.

Посетитель представился сотрудником японского консульства в Лионе и передал приглашение на званый ужин. Он же рассказал, как найти консульство: площадь Толозан, дом с гербом в виде золотой хризантемы.

Только за столом, накрытым в японском вкусе, Иванов-Тринадцатый понял, что его пригласили на празднование годовщины «победы в Цусимском проливе». Он уже хотел встать и уйти, но тут японский консул весьма церемонно преподнес ему шелковый Андреевский флаг.

– Япония умеет чтить мужество своих бывших врагов, – сказал консул. – Этот флаг изготовлен из японского шелка в знак уважения к последнему командиру «Рюрика».

Иванов-Тринадцатый подарок принял. Спустя три года сине-крестным полотнищем флага накрыли тело последнего командира «Рюрика» и «Пересвета»… Его зарыли на загородном сельском кладбище. И хотя на надгробии и выбито его имя, его никогда не прочтут соотечественники. Они сюда не приходят…

Мурманск. 1986 год

Я стоял на палубе рейсового катера, резавшего гладь Кольского залива, как вдруг навстречу – курсом в Баренцево море – вышло из-за скалистого островка могучее судно с высокой современной рубкой, с явно ледокольным развалом бортов. Низкое предвесеннее солнце золотило славянскую вязь на корме – «Пересвет».

Ледокол «Пересвет» шел на Новую Землю. Шел он из Мурманска – оттуда, куда не смог дойти его тезка-крейсер.

То было обыкновенное флотское чудо, когда погибший корабль воскресал в новом судне.

«Пересвет» воскресал не впервые. Это имя носило до

1918 года сторожевое судно, переименованное в «Борец за коммуну». «Пересвет»-«Борец» воевал на гражданской и захватил три года Великой Отечественной.

Красный флаг реял на гафеле нового «Пересвета».

А что же «Пересвет» порт-артурский и порт-саидский? Его останки так и покоятся на дне Суэцкого залива.

Жарким летом 1974 года к берегам Египта пришли, повторив путь старого броненосца, тральщики Краснознаменного Тихоокеанского флота, пришли по просьбе египетского правительства, чтобы обезвредить в Суэцком заливе минные поля, выставленные израильтянами. И снова громыхнул взрыв и вздыбились вода и пламень у борта одного из тральщиков. И снова моряки-тихоокеанцы геройски спасали корабль. И спасли. И разминировали залив.

Увы, спустя десять лет в этом горячем районе снова загремели таинственные взрывы. Неизвестные террористы выставили в Суэцком канале и Красном море мины, на которых за полтора летних месяца 1984 года подорвалось восемнадцать судов из четырнадцати стран. На сей раз коварные воды канала очищали американские вертолеты-тральщики.

Часть третья
СУДЕБ МОРСКИХ ТАИНСТВЕННАЯ ВЯЗЬ

Глава первая
СМЕРТЬ ФЛОТОПИСЦА

Ленинград. 1942 год

Три человека из неведомого мне поколения – Домерщиков, Ларионов, Людевиг… Никто из них не был выдающимся морепла вателем, государственным деятелем, исторической фигурой. Обычные люди необычного времени, вобравшего в себя четыре войны и три революции, стык веков и перелом эпох…

И как тут не вспомнить вещие слова Достоевского: «Никакое воображение не придумает вам того, что даст самая обыкновенная жизнь».

Это только кажется, что простые смертные исчезают бесследно. Стоит только очень захотеть, и канувшая в Лету жизнь всплывет и пройдет перед твоим взором причудливо-таинственной лентой – от начала до конца.

Мне было крайне важно узнать, какими были мои герои

в свои последние дни и какими были дни, последние в их жизни.

С Ларионовым получилось довольно просто. Сотрудник Централь ного военно-морского музея Владимир Михайлович Сафонов, узнав о моем поиске, отодвинул какой-то стенд, открыл в толстой стене небольшую железную дверь, ввел меня в просторную, но глухую комнату без окон – не то каземат, не то камеру, – заставленную шкафами, моделями атомных подводных лодок, рамами картин, не нашедших себе места в экспозиции. То был загадочный и запретный спецхран музея, его секретная часть… Порывшись в одном из своих ящиков, Сафонов, бывший морской авиатор, положил передо мной тетрадь в черном клеенчатом переплете. То был «Вахтенный журнал» музея, который вел в первую – самую суровую – блокадную зиму ученый секретарь Леонид Васильевич Ларионов. Вел при свете коптил ки, негнущимися от холода и дистрофии пальцами.

Страницы этой воистину героической летописи были поко рабельному разбиты на три графы: дата, метеообстановка, случаи…

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА*: «3 декабря 1941 г. Ветер 6 баллов, т-ра – 12 °С. Свет в музее не горел. Сильное сотрясение здания музея от близко взорвавшихся бомб. 5.12.41. Делал доклад о научной работе. 7.12.41. Фактически перестали ходить трамваи.*

Отдан выговор в приказе уборщицам Б. и Г. за опоздани-

яна службу.

Переплетчик сдал альбом с наклеенной передвижнойвыставкой. 9.12.41.

У столяра А. Смирнова умер брат от дистрофии. Гроб делали в музее.

Подписка на военную лотерею – 20% от оклада.

11.12.41. В 3 часа падение снаряда в воду у Дворцового моста. Сильное сотрясение музея.

20.12. Пришел библиограф Густомесов. Весь желтый, опухший, блуждающие глаза – дистрофия. Начальник разрешил ему переночевать в музее, так как у него было мало сил, чтобыдойти до квартиры на улице Чайковского.

22.12. Воскресенье. Обстрел Петроградской стороны, Зверинской улицы. Снаряд попал в дом в шестидесяти шагах от дома №2, где живет Ларионов. У него 3 раза выбивал стекла.

23.12.41. На улицах стали появляться трупы людей, умерших отдистрофии. Милиция не успевает убирать. Густомесов с 20.12. так и лежит в музее. Через политотделвыхлопотал разрешение отправить его в один из морскихгоспиталей.

У некоторых сотрудников – куриная слепота, неумениеориентироваться в темноте.

25.12.41. – 10 °С. Ночью, в 2 часа, умер Густомесов. Гроб сделалмузей. Типикин уличен в воровстве дров. Квартиру Ларионова залило водой из фановых труб. Прибавили хлеба со

125 до 200 гр.

6.1.1942 г. – 8°С. Умер пожарный Мицинок.

25.1.1942 г. Женщина, которую в субботу приняли для обогрева в дежурной комнате, умерла в ночь на воскресенье. Ни врача, ни милиции вызвать не удалось. Труп до сих пор лежит в музее.

Отогрели одного мальчика и женщину, а то бы они погибли».

Записи в «Вахтенном журнале» обрывались 30 января 1942 г. Проставлена только эта-последняя – дата. Через шесть дней Ларионов умер от истощения и цинги. Но сохранился его личный дневник, в котором описаны эти последние дни.

«29 января, четверг, 1942 г.

Спал крепко, но мало. В 9 ч. 30 мин. поднялся. Мороз сразу стал -12°С, и показалось легко. Но в Провиантском переулке упал, сильно расшибся. Пришел в музей, взял у Токаржевского подписанные бумаги и сдал ему вахтенный лист за вчерашний день. Пошли в столовую к 11 часам. Директор начал пакостить:вдруг запер дверь с улицы. Все мы стучали – без ответа. Метель, ветер…

У меня был талон только на суп. Суп оказался без соли. Хлеба не привезли, а если привезут, то только для Академии наук. Пошли к директору. «Дам вам хлеб, но достаньте мне свечи у Токаржевского». Взяточник!

Пошел в госпиталь № 7. Заболели сестры Яковлевы. Дол-

го искал операционную. Там мне впрыснули 10 кубиков глюкозы и 1 куб. кислоты.

Пошел к военкому. Тот потряс меня. Угостил тарелкой – глу бокой – кислой капусты с луком и постным маслом и стаканом компота из абрикосов – сладость! Я благодарю, а он говорит: «Надо вам помочь!»

От него в столовую. Опять не пускают, но достучался. Хлеба так и не привезли. Пришел в музей и очень огорчил этим Токаржевского и Невскую (сотрудницу музея). Взял ее карточку и пошел домой – надо лежать после впрыскивания. Пришел затемно. Ни Марусе (бывшая домработница) до 11 вечера не удалось получить хлеб, ни мне, ни Невской.

Лихорадило. Выпил «кофе» и уснул.

Пришла Е. К. Леонтьева (Елизавета Карловна, врач-хирург, друг нашей семьи), променяла у Ани 250 гр. отрубей на 1/2 литра керосина.

Е. К. говорит, что на аэродром доставлено много продуктов, но их не могут вывезти – нет транспорта.

Идут слухи о взятии Пскова и Новгорода. А радио 5-й день молчит, газет нет.

Пятница, 30.1.42…»

Чистый лист.

Сын продолжил дневник отца, как продолжил и его дело – историка флота. Дальнейшие записи сделаны рукой Андрея Леони довича Ларионова.

«31 января 1983 г. Вот уже сорок один год нет на све-

те моего отца. Недавно среди бумаг моей матери, Ларионовой Веры Андреевны, умершей 11 сентября 1976 г. от рака, я нашел несколько писем, отправленных из блокадного Ленинграда на Урал большому другу нашей семьи Ольге Викентьевне Петрусевич. Письма эти она вернула маме в начале 1970 г., в один из своих приездов в Ленинград из Куйбышева, где живет еще и поныне (ей 90-й год).

В письме, датированном 23 ноября 1942 г., я прочитал скупые строчки о гибели отца: «Мы с Андреем остались одни-одинешеньки на белом свете. Нянюшка умерла 6.I, Леонид 6. II, бабушка и наша домработница Маруся – обе 7. IV. Бабушка – дома, Маруся – в больнице. Бедная бабушка ужасно мучилась 2 месяца, была больна жутким поносом… Такая она была хорошая всю жизнь – за что ей такой тяжелый конец?

А нянюшка и Леонид – оба тихо заснули.

Нянюшка, та хоть болела, подряд три воспаления легких, а Леонид уснул после завтрака, чтобы уже никогда не проснуться. Умер он, видимо, от сердечного припадка, но, конечно, был очень истощен, и у него была цинга. Я до сих пор не могу примириться с этой нелепой смертью, так она была неожиданна и внезапна!…»

Предельно скупые строчки материнского блокадного письма заставили меня вспомнить с возможными подробностями те страшные февральские дни… Потеря отца, которого я очень любил, хотя и доставлял ему много огорче-

ний, произвела на меня настолько сильное впечатление, что все связанное с его последними днями неизгла димо врезалось в мою память…

…Первые дни февраля 1942 года отец плохо себя чувствовал. Истощенный до предела, он постоянно жаловался на боль в ногах. От цинги у него по икрам пошли страшные красные пятна – пред вестники язв… Кроме того, он часто жаловался на боли в сердце. Но, несмотря ни на что, отец почти ежедневно брился, пристраиваясь либо у коптилки, либо у уцелевшей форточки. Остальные стекла были выбиты снарядом, попавшим в наш дом, и их место заняла фанера.

В первых числах февраля отец собрался в музей за газетами и попросил меня его сопровождать. Видя, как ему плохо, и боясь за него, я пошел с ним, хоть очень не хотелось вылезать на треску чий мороз. Выйдя на заваленную сугробами улицу, мы пошли таким образом: я впереди, отец сзади, положив мне руки на плечи. Так, потихоньку мы добрались до музея. Там отец зашел в дежурку, помещавшуюся в подвале, сел за стол и при свете чадящей коптилки стал писать какие-то бумажки. Время близилось к обеду. Из музея мы двинулись в академическую столовую, где долго ждали тарелки дрожжевого супа и чашки желе из морской капусты с сахарином. Для меня тогда это было величайшим лакомством. Из столовой с трудом доползли до военного госпиталя № 7, помещавшегося на Биржевой линии, в доме нынешнего ГОИ

– Государственного опти ческого института. Меня внутрь не пустили, и я ждал отца в про ходной, греясь у стоявшей там «буржуйки». Уже затемно мы, наконец, добрались до дома.

Вечером 5 февраля дома шел разговор о том, что завтра нам с отцом снова предстоит идти в госпиталь № 7 читать лекцию раненым.

Утром 6 февраля мама всех разбудила и, покормив «завтраком», ушла добывать какую-нибудь еду.

Мы жили в то время все в одной – самой большой (24 кв. м) – комнате, уставленной вдоль стен кроватями и диванами. На них располагались: бабушка Мария Ивановна, уже не вставшая от истощения со своей огромной кровати с никелированными спинками; у стенки напротив спал обычно отец на кровати красного дерева; в головах у бабушки стоял диван нашей бывшей домработницы Маруси. Я же обычно спал на раскладушке-сороконожке у самой печки.

В то утро в комнату холод пробрался необычно рано, и я отпра вился на ледяную кухню взять дров и наколоть лучинок. Растопив круглую железную печь в комнате, я стал будить отца, зная, что нам предстоит поход в госпиталь № 7. Это было уже в 11 часов утра… Бужу его, а он не только не дышит, но и уже холодный. Я хотел закричать, но сдержался, боясь напугать бабушку. Мы все старались беречь ее от волнений. Положил руку отца, одетую в перчатку, ему на грудь и пулей вылетел на кухню. Там и затих

от горя. Мне шел четырнадцатый год…

В кухне я дождался маминого прихода. Она не поверила, отца уже нет в живых. Побежала в комнату, бросилась к нему и стала его трясти, пытаясь разбудить. Попробовали растереть ему грудь, но все это было уже явно бесполезно. Опомнившись, она послала меня за Елизаветой Карловной, врачом-хирургом, жившей на 5-м этаже нашего дома, и та сразу же спустилась к нам. Осмотрев отца, она констатировала внезапную смерть от остановки сердца.

Когда бабушка поняла, что ее сына уже нет, она не заплакала, а из последних сил приподнялась на своей кровати, чтобы получше разглядеть его в последний раз. До сих пор остались у меня в памяти ее глаза, наполненные беспредельным ужасом.

С помощью Елизаветы Карловны мы перетащили отца в соседнюю, нетопленую комнату, где одели его в синий морской китель с «золотыми» пуговицами и положили у окна на составленные стулья. Папа получил этот китель незадолго до войны, очень его любил и гордился тем, что снова может носить его спустя почти 20 лет.

Начались печальные хлопоты с оформлением свидетельства смерти, полученного мамой с большим трудом только 8 февраля. Подобие гроба сбил из кухонного шкафа татарин-дворник за пачку папирос и две пайки хлеба.

Рано утром 10 февраля мы поставили гроб с телом отца на детские саночки и отвезли на Серафимовское кладбище.

Повезли вчетвером – Елизавета Карловна, мама, Маруся и я. Везли долго. Сначала по Пушкарской и Зеленина, затем по Крестовскому и Каменному островам. Перейдя по льду Большую Невку, попали наконец, на кладбище. Вся дорога от ворот кладбища до церкви была усыпана покойниками, брошенными людьми, сумевшими довезти их, но не сумевшими предать их промерзшей земле. Около церкви высились целые штабеля мертвецов выше человеческого роста. Этих доставляли на машинах из городских моргов. Нам повезло. Маме удалось уговорить какую-то мужеподобную кладбищенскую тетку вырыть могилу. Та согласилась захоронить отца за двухдекадный паек его хлебной карточки.

Погребли отца на 16-м участке Серафимовского кладбища под раскидистой черемухой».

Так закончилась жизнь бывшего младшего штурмана броненосца «Орел», героя романа «Цусима», бывшего каперанга, командира яхты морского министра, ученого секретаря Центрального музея РККФ и историка отечественного флота Леонида Васильевича Ларионова. Чем жил Ленинград в день смерти одного из сотен тысяч своих сограждан? Я отыскал в книге «Блокада день за днем» дату 6 февраля 1942 года.

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**: «6 февраля 1942 г., пятница.*

…На металлический завод привезли подбитые танки. Их доставили на 13 платформах. Рабочих же в 19-м цехе, где должны ремонтироваться прибывшие с фронта машины, насчитывается в 10 раз меньше, чем их было в ноябре 41-

го. Начальник цеха А. Ф. Соколов разослал больным рабочим повестки, в которых говорилось:

«Товарищи! Явитесь на работу по получении повестки. Поступил срочный фронтовой заказ… Немедленно явитесь!»

Повестки развез нарочный, посаженный на пикап.

И вот в цехе стали появляться едва передвигавшиеся, ослабевшие рабочие. Мастера Задворного, кстати, пришедшего на работу с женой и сыном, водили под руки. У рабочих Семченко, Васильева, Добрецова, да и у многих других, не хватало сил взобраться на танк. Прикрепленные к ним члены танковых экипажей подсаживали обес силевших рабочих. Восстановление машин, в которых так нуждался фронт, началось…

Ленинград жил и боролся».

Глава вторая
ЧУГУННАЯ РОЗА С РЕШЕТКИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Москва. Апрель 1987 года

Мир тесен, а мир моряков – тем более. С тех пор как я начал этот поиск, я всякому новому знакомому человеку задаю при случае вопрос: «А не было ли у вас в роду военных моряков?» Спрашиваю ради любви к предмету вообще и, конечно же, с наивным, быть может, расчетом на счастливый шанс узнать что-либо еще о своих героях. В математике подобная вероятность относится к бесконечно малым величинам. Но, право, не стоит пренебрегать и бесконечно малой надеждой.

Свой всегдашний вопрос я задал однажды сотруднице «Мос фильма» (редактору шукшинской «Калины красной») Ирине Александровне Сергиевской. Спросил машинально, просто вырвалось по привычке: «А не было ли у вас в роду?…» Спросил и даже подосадовал на себя, ожидая увидеть на лице собеседницы естественное недоумение: что за странный вопрос? Ни с того ни с сего…

– Да, были, – ответила Ирина Александровна. – Мой папа окончил отдельные гардемаринские классы. Мичманом плавал на «Олеге», потом на миноносце «Рьяный». Служил в советском флоте…

Мы оба слегка опешили: Сергиевская – от моего вопроса, я – от ее ответа. Она так и не поверила, что я спросил ее наобум.

– У нас дома сохранились даже отцовские фотоальбомы о плавании на «Олеге».

Иной недоверчивый читатель скажет: не слишком ли много счастливых случайностей? Много. Сам удивляюсь, но их было на редкость много в этих моих розысках. Отношу их на счет счастливой звезды Михаила Домерщикова. Как видно, она не погасла с его гибелью…

И вот я листаю ветхие страницы гардемаринского альбома… 1913 год, учебное плавание на крейсере «Олег». Подобные альбомы и сейчас заводят курсанты-моряки после дальних походов. Тогда же это был, наверное, один из первых в своем роде, так как портативные фотокамеры только-только входили в широкий обиход. «Олег» в Средиземном море… Афинский Акрополь, погрузка угля в корзинах, стамбульские минареты, шлюпочные учения, бизертские холмы, высадка учебного десанта. То были черные гардемарины, выходцы из разночинных слоев общества. Они обучались не в привилегированном дворянском Морском корпусе, а на отдельных гардемаринских классах, открытых перед первой мировой войной, чтобы побыстрее насытить разросшийся флот строевыми корабельными офицерами. Многие из этих черных гардемаринов стали после 1917 года красными командирами. Владелец альбома, мич-

ман Александр Иванович Сергиевский, в советском флоте командовал сторожевым катером в морских частях погранвойск Черного моря. Его однокашник мичман Христофор Аллен в гражданскую войну возглавлял штаб Западно-Двинской речной флотилии; убит махновцами. Лейтенант Александр Ждан-Пушкин – известный подводник двадцатых годов, преподавал в Военно-морской академии. Мичман Николай Фридрихович Вальдман…

– О нем, да и не только о нем, вам лучше всего расскажет его сын, друг моего детства, – заметила Ирина Александровна. – Кирилл живет в Ленинграде. Он литературный переводчик. Книга «Не кричи, волки!» – это его перевод.

Одна из любимейших моих книг «Не кричи, волки!» стояла и стоит у меня на полке, в тысячный раз подтверждая древнюю истину о тесноте мира людей…

Ленинград. Май 1987 года

С сыном мичмана Вальдмана – Кириллом Николаевичем – я познакомился на Васильевском острове, в его старинной родовой квартире окнами на Неву и Пеньковый Буян. С углового чугунного балкона открывалась такая же старинная, как и все в этих комнатах, «першпектива» на изгиб Невы со Стрелкой, с ростральными колон нами, Биржей (ныне главным музеем флота), Дворцовым мостом…

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА*. Кирилл Николаевич Вальдман, корен ной петербуржец, преподаватель Ленинградского государственного университета. В Великую Отечествен-*

ную войну был сержантом, переводчиком штаба стрелкового полка.

Кажется, в этой квартире я не увидел ни одной современной вещи, кроме книг и электроламп. В этих массивных стенах еще стоял Петербург, чудом не развеянный ураганами двадцатого века. На крышке секретера лежала чугунная роза с несуществующей ныне решетки Зимнего дворца… С нее и начну.

Впрочем, тут я нахожусь в положении реставратора, на стол которого легли куски разбитой мозаики с немыслимо разными фрагментами. Как связать в коротком рассказе чугунную розу с решетки Зимнего и…Доску почета колхозников в Саратове? Скалы Мурмана и плесы Моонзунда? Ростральную колонну и памятник Ленину у Финляндского вокзала? Минный заградитель «Амур» из семнадцатого и канонерскую лодку «Амгунь» из сорок первого? Королеву всех эллинов и красавицу-швейцарку, медсестру из советского госпиталя времен финской войны? Историю почтовой марки «Счастливое детство» и тот злосчастный ораниенбаумский поезд, из-под колес которого достали окровавленное тело морского офицера?

Я разложу эти фрагменты хотя бы просто во временной последовательности, и пусть читатель посожалеет вместе со мной об утра ченной во всей полноте картине.

Вглядываюсь в снимок из альбома Сергиевской…

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *На палубе крейсера «Олег» ко-*

ролева всех эллинов Ольга в окружении черных гардемаринов 1913 года. Греческая королева любила русский флот и охотно посещала его корабли, приходившие в Пирей с визитами. Ее особа была внесена в списки чинов российского флота.

За спиной королевы стоит – на том же самом месте, где фотогра фировался перед Цусимой мичман Домерщиков! – юноша в гардема ринской бескозырке. Тонкое серьезное лицо – это и есть Коля Вальдман.

Он только что вернулся из экскурсии по афинскому Акрополю. Его потрясли Парфенон, скульптуры античных мастеров, высокий дух искусства Эллады. Никто не знает, что отныне решилась его судьба. Через каких-нибудь десять лет бывший мичман и бывший краском со страстью отдаст себя ваянию – всецело!

«Каких-нибудь» – это лишь о скоротечности времени, но никак не о самом десятилетии, что перековывало судьбы людей и народов, как чугун – в розы, а розы – сплетало в терновые венцы с чугунными шипами…

В 1915-м новоиспеченный мичман Вальдман вступил на палубу минного заградителя «Амур», того самого, что отличился потом в Моонзундском сражении.

В историческую ночь семнадцатого года вахтенным начальником на мостике минзага «Амур», доставившего в Питер революционный десант, стоял Николай Вальдман. «Амур» – невский побратим «Авроры». В память о той октябрьской ночи и по сю пору хранится в квартире Вальдма-

нов – сына и внука – чугунная роза с решетки Зимнего дворца.

Гражданскую войну военмор Вальдман провел на Онеге и Мурмане. Сначала был помощником командира эсминца «Сторожевой» на Онежской военной флотилии, в девятнадцатом стал командиром корабля. Чуть позже знаменитый Панцержанский, командующий флотилией, назначил Вальдмана флагманским артиллеристом дивизиона кано нерских лодок. Через год молодой флагарт покинул Онегу и отпра вился на Север – в штаб Наобмура, начальника обороны Мурман ского побережья. Здесь-то и встретил он красавицу-швейцарку – «мисс Мурман», Елизавету Кюнцли, ставшую его женой, его музой. Потом у всех скульптурных героинь Вальдмана будет лицо этой женщины…

Штаб обороны Мурмана жил в двадцать первом году дружной коммуной из бывших черных гардемаринов: Александр Сергиевский, Владимир Биллевич, Александр Яковлев, Николай Вальдман… Жили впроголодь, но молодо и весело: влюблялись, устраивали капустники, вылазки в тундру… Кораблей не было – их угнали интервенты, у портовых причалов торчали лишь мачты и трубы затопленных паро ходов. Они верили в будущий флот Севера – могучий, океанский, арктический. По сути дела, те молодые военморы и стояли у самых истоков советского Северного флота, ставшего ныне и океанским, и ядерным, и ракетоносным – сильнейшим и современнейшим флотом страны.

Командовал штабом Наобмура Георгий Андреевич Степанов – в конце жизни вице-адмирал, заместитель главного редактора Морского атласа, начальник Военно-Морской академии.

Там, на мурманских скалах, Вальдман стал писать акварелью. Несколько уцелевших его работ говорят о весьма выразительной кисти молодого художника. Скупые и точные мазки с большим настроением передают хмурую красоту гранитного Севера. Две аква рели сохранились у дочери его друга – Сергиевской. Кое-что осталось у сына, остальное рассеяно по квартирам ленинградских друзей.

В 1923 году помощник начальника курса Военно-морского училища имени Фрунзе военмор Вальдман сдал дела и обязанности, получил свидетельство о демобилизации и без малого на двадцать лет ушел в вольные художники. Быть скульптором в городе Фальконе и Мартоса, Шубина и Микешина ответственно и непросто даже с академическим дипломом. Дерзкого же самоучку руководители пролеткультовского ЛОСХа1 приняли в штыки: «У нас и без бывших офицеров ряды полны».

Разгар нэпа, угар нэпа… Безработная жена-красавица варила на керосинке суп «карие глазки» из вобльих голов; надрывался младенец Кирюша; никому не нужный ваятель искал работу… Акрополь, Парфенон, королева эллинов, орудия «Олега», грозно вскидывающиеся на зыби, звездные россыпи средиземноморского неба, зарево Моонзунда, ру-

бящий луч «Авроры», бои на Онеге, коммуна Наобму ра – да было ли все это наяву? И что считать миражом – флотское прошлое или подгулявшего нэпмана, заказавшего себе мраморный бюст?

Вальдман, однако, не унывал. В двадцать семь лет не подобает опускать руки, тем более бывшему моряку… Николай брался за все: писал рекламные щиты и киноафиши, лозунги и объявления. Подря дился реставрировать ростральную колонну на Стрелке. Делал керамических собачек, и не на потребу базарным вкусам, а по всем канонам малой пластики, с тщанием художника-анималиста. Собаки пользовались спросом.

«Щенок сенбернара» и сейчас еще стоит на этажерке у сына. Даже сегодня самый строгий худсовет пустил бы его в серию…

Вальдман пробовал себя в разных жанрах.

И вот первый успех! Всесоюзный конкурс на лучший памятник Ленину у Финляндского вокзала: эскиз самодеятельного скульптора Вальдмана получил 4-ю премию.

Белая ночь рябила в Неве и каналах. Фонари отдыхали, окунутые в светлые, нежные сумерки.

Я забрел в Михайловский сад. Здесь в густой, нетоптаной траве отыскал то, о чем мне говорил Кирилл Николаевич: едва заметные камни фундамента снесенного памятника. То был след единственной скульптуры Николая Вальдмана, выставленной под ленинградским небом. Довоенные жи-

тели помнят ее: Ленин, сидящий в окружении детей. Композиция «Счастливое детство» была выполнена из низко сортного бетона, растрескалась, быстро обветшала, и городские власти ее убрали. Однако эта работа успела снискать себе довольно широкую известность. Детские журналы и пионерские газеты охотно по мещали на своих страницах снимки скульптурной группы.

В 1937 году вышла в свет почтовая марка с изображением «Счастливого детства». То была, как потом оказалось, первая со ветская почтовая миниатюра, запечатлевшая скульптуру Ленина. Однако в филателистическом каталоге против фамилии ваятеля стоит прочерк. Автор не назван. Дело в том, что к тому времени, когда составлялся каталог, Николай Вальдман вместе с семьей был выслан из Ленинграда в Саратов как социально вредный элемент, то есть бывший офицер царского флота. Снова пришлось браться за любую работу. По эскизам «вредного элемента» на одной из городских площадей была сооружена лепная Доска почета колхозни ков. Возможно, она и сейчас стоит там.

Из Саратова Вальдман написал письмо Наркому обороны Воро шилову и вскоре получил разрешение вернуться в родной город.

Перед самой войной непризнанный ЛОСХом художник получил от Центрального военно-морского музея заказ на создание крупной скульптурной композиции «Моряки в гражданской войне». Николай Фридрихович с жаром при-

нялся за работу. Уж ему-то эта тема была знакома не понаслышке… В музее – тесен мир! – Вальдман подружился с ученым секретарем – Ларионовым. Спустя год, когда канонерская лодка «Амгунь» (командир капитан-лейтенант Вальдман) вмерзнет в невский лед блокадной зимы, старый цу симский штурман, тающий от голода, придет на борт корабля вместе с сыном Андреем, и бывший скульптор подкормит их чем сможет. Ларионов так и не увидел главное произведение Вальдмана. «Моряки в гражданской войне» украсили центральный зал музея лишь в 1947 году.

Но вот что примечательно – уж такова вязь морских судеб – спустя лет сорок сын Ларионова, Андрей Леонидович, тот самый, что мальчишкой ходил на «Амгунь», возьмет к себе в корабельный фонд музея внука Вальдмана – Николая, унаследовавшего от деда любовь к флоту и к искусству.

В июне сорок первого Вальдман вернулся к своей первой про фессии – военного моряка. С капитан-лейтенантскими нашивками на рукаве он прибыл в Таллинн и принял командование канонерской лодкой «Амгунь», которая еще стояла на стапеле. Его ладони с мозолями от резца вновь ощутили холодок стали рукоятей машинного телеграфа.

Кирилл Николаевич рассказывал:

– Канлодка «Амгунь» одной из последних покинула Таллинн, имея на борту штаб стрелковой дивизии. Трагические обстоятельства перехода флота в Кронштадт известны. Нарушив ордер следования в кильватерной колонне, канлод-

ка пристала к берегу где-то в Ленинградской области, штаб дивизии без потерь прибыл в Ленин град и ходатайствовал о присвоении отцу звания Героя Советского Союза. Одновременно дело о нарушении приказа не выходить из ордера поступило в военный трибунал… Отца спасло вмешательство командования дивизиона канлодок. Он был награжден орденом Красной Звезды. Канлодки выходили в море, когда крупные корабли стояли у причалов… Вот выдержка из письма отца, датированного 2 октября 1941 года:

«После первых же удачных действий против фашистов они сильно невзлюбили наш корабль, и были случаи, когда самолеты и батареи специально выбирали его своей мишенью. «Ну, опять все только на нас!» – было обычной фразой на корабле. Били мы по берегам много и получали хорошие оценки, зато и испытали много. Мы видели, как ястребок отогнал от нас пикирующие бомбардировщики. Видели, как ястребок, преследуемый 4 «хейнкелями», бросился под защиту огня двух канлодок, прошел под самым нашим носом над водой и ушел. А один из «хейнкелей» был сбит и ушел на дно… Был день, тяжелый день… 27 раз пикировали на мой корабль бомбардировщики, по одному, по два и, наконец, сразу пять… От двух я отвернул, от трех не успел и получил пробоину. Корабль накренился, но переборки выдержали, и мы остались на плаву. Знаешь, Кириллок, за два часа до получения пробоины кончились все снаряды зенитных пушек! Два часа мы отбивались от пикирующих бомбардировщиков

только винтовками и автоматами! В машине были порваны трубы. Их замотали шинелями, и мы пошли своим ходом.

Дыры заделали (было две больших), и мы опять посылаем наши снаряды во врага, уже выпустили больше тысячи из главного калибра».

В фундаментальной «Боевой летописи Военно-Морского Флота» упомянуто имя командира «Амгуни», но с искажением – Вильдман. Канонерская лодка под его командованием отличилась при высадке десанта под Стрельной в октябре сорок второго. Еще раньше – в июле-августе – «Амгунь» участвовала в героической обороне Таллинна, а затем совершила беспримерный по опасности переход в Кронштадт в боевом охранении третьего конвоя.

Корабль пережил своего вахтенного начальника на два года.

«13 марта 1949 года, – писал мне в письме Кирилл Николаевич, – отец спешил на дежурство. Надо было успеть на катер, отходящий из Ораниенбаума в Кронштадт, но путь, как назло, преградил остано вившийся товарный поезд. Отец решил пролезть под вагоном, но тут состав тронулся и чем-то зацепил его за хлястик шинели. Шинель была новая, сшитая на заказ, и хлястик держал намертво…

Отец всегда говорил: «Лучше умереть от пули навылет или кирпича, упавшего на голову, но только не от болезней».

ЛОСХ так и не принял, а может, не успел принять в свои ряды скульптора Вальдмана. Не произойди трагическая слу-

чайность, и, может быть, через год-другой Николай Фридрихович был бы внесен в списки Союза художников. Изменило ли что-либо это формальное обстоятельство в его жизни? Изменило. Из вечных любителей его произвели бы в профессионалы, каким он, несомненно, и был. А это бы сказалось на посмертной судьбе его произведений. Была бы создана комиссия по творческому наследию, его рисунки, статуэтки, скульптуры попали бы в запасники музеев, художественных галерей… Его бы изучала критика, его бы представляли на всевозможных выставках… Ничего этого теперь нет. Искусство Вальдмана рассеялось и растворилось в жизни – безымянно, как прах индуиста в священном Ганге.

В альбомах филателистов еще отыщется редкая ныне марка со скульптурной группой «Счастливое детство». На плацу Высшего военно-морского училища подводного плавания стоит переехавший сюда из музея монумент «Моряки в гражданской войне» (имя автора, увы, здесь никому не ведомо), в чьих-то квартирах радуют чей-то глаз великолепные фигурки животных, строгие северные акварели Вальдмана. Лишь в одном улыбнулась ему фортуна…

С рук мастеров снимают обычно посмертные слепки. Рука Вальдмана увековечена в памятнике Воровскому близ Смольного. Автор памятника Манизер лепил кисти революционера, глядя на выразительные пальцы своего ученика.

Глава третья
СКАЖИ, КТО ТВОЙ ДРУГ…

О Николае Фридриховиче Вальдмане, моряке и художнике, можно было бы рассказать и на страницах иной книги, если бы судьба его не перекрестилась с судьбой героя этого романа.

Дело в том, что в конце тридцатых годов здесь, в квартире Вальдманов на набережной Адмирала Макарова, частенько бывал Михаил Домерщиков.

– Для нас с братом, ленинградских мальчишек, – вспоминал, стоя на чугунном балконе с прекрасным видом на Неву, Кирилл Нико лаевич, – Михал Михалыч, Мимка, как звали его в узком кругу, был настоящий морской волк, эдакий джек-лондоновский герой… Седая шевелюра, густые черные брови, мягкий рокочущий голос, трубка, флотский китель… Впрочем, в наш дом он чаще всего приходил одетым в классическую пару, при великолепно завязанном галстуке… В этом костюме он мастерски пародировал манеры английских аристократов и часто смешил всех за столом, вставив в глаз стеклышко импровизированного монокля.

Однажды мы с Колей Шведе, моим сводным братом, затащили Мимку на этот балкончик и упросили его рассказать что-нибудь из своих приключений. Он рассказал нам, как в одном австралийском кабачке его завербовали матросом на

парусную шхуну. Шхуна ходила в Новую Зеландию и контрабандой привозила оттуда черное дерево. Соответственно и команда состояла из отпетых пройдох, пьяниц, головорезов. Мимку невзлюбил какой-то ирландец, и как-то ночью, когда на шхуне ставили паруса, он чуть не спихнул его с реи. Они подрались, и потом Михал Михалыч целую неделю держал под подушкой нож и не смыкал глаз: ирландец грозился его прирезать.

В общем, рассказ в духе Джека Лондона. Кстати говоря, они и в самом деле были знакомы – Джек Лондон и Домерщиков! Там, в Австралии, писатель расспрашивал беглого русского мичмана о Цусимском сражении. Ведь Джек Лондон, будучи корреспондентом одной из американских газет, освещал события русско-японской войны и даже побывал на «Варяге», поднятом японцами в Чемульпо.

Мимка вспоминал, что он был большой шутник и иногда появлялся с дамским чулком, завязанным вместо галстука…

На том чугунном балкончике (во время блокады на нем стоял зенитный пулемет), где мальчишки слушали рассказы старого моряка, я узнал от Кирилла Николаевича чрезвычайно важный эпизод из жизни Домерщикова. Та семейная легенда, о которой мне поведал Лебедев, кузен Екатерины Николаевны, – Домерщиков-де спас учителя Сталина, за что и был реабилитирован, – обернулась исто рическим фактом.

В 1908 году в австралийском поселке, где жили рабочие-иммигран ты, вспыхнула эпидемия холеры. Сосед До-

мерщикова по нарам «виллы «Сибирь» – сорокалетний русский эмигрант Виктор Курнатовский – слег со всеми признаками смертельной болезни. До бли жайшей больницы было пять километров, и Домерщиков дотащил туда на спине своего умирающего соотечественника. Курнатовский выжил…

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Виктор Константинович Курнатовский родился в 1868 году в семье рижского врача. В девятнадцать лет был исключен из Петербургского университета за народническую деятельность. Юноша перевелся в Московский университет, но через год его вообще лишили права обучения в высшей школе за руко водство марксистским кружком. Курнатовского выслали в Архан гельскую губернию. Через семь лет глухой северной ссылки емуудалось эмигрировать в Швейцарию, где он влился в группу «Осво бождение труда». Вернулся в Россию, но вскоре был арестован и сослан – на сей раз в Восточную Сибирь. В 1898 году в Минусинске он встретился с Лениным. По окончании ссылки Курнатовский перебрался в Тифлис (1900 год).*

Не прошло и года, как Курнатовского арестовывают в третий раз. Особо опасного политического преступни ка заточили в Метехском замке и после двух лет одиночки выслали под усиленный надзор в Якутию. В 1904 году в Якутске полити ческие ссыльные вступили в схватку с полицией. Руководил «воору женным протестом» неистовый Курнатовский. Его арестовывают в четвертый раз и приговаривают к каторжным работам в Акатуе.

В годы первой русской революции Курнатовский бежит с каторги в Читу, где организовывает Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, его выбирают в комитет РСДРП(б). Молодой большевик – ему только тридцать пять – возглавляет газету «Забайкальский рабочий», а затем руководит восстанием читинских рабочих. После разгрома «Читинской республики» жандармы хватают Курнатовского уже в пятый раз. Теперь его судит военный суд – смертная казнь! В последний момент виселицу заменили на пожизненную каторгу. Курнатовский понимает, что отныне его место в России только за острожной оградой. Бывший смертник бежит в Японию – можно только догадываться, чего ему стоит этот побег. С японских островов он перебирается в Австралию. В 1910 году тяжелобольной эмигрант приехал в Париж. Тюрьмы, скитания, каторги подорвали здоровье. Курнатовский, которого соратники называли «железным», умер в сорок четыре года на чужбине.

Вот такого человека спас Домерщиков в Австралии. Он вспомнил об этом лишь тогда, когда жизнь загнала его самого в те таежные края, где отбывал ссылку Курнатовский. Написал письмо в Москву с весьма призрачной надеждой: может, зачтется? Зачлось. Сталин чтил Курнатовского, хотя в энциклопедиях того времени его имя и не упоминалось.

Домерщикову везло на любовь красивых женщин и дружбу инте ресных людей. С гражданской войны и до последнего года жизни связывали его тесные узы с одним из самых

интеллигентных моряков нашего времени – Евгением Евгеньевичем Шведе…

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Евгений Евгеньевич Шведе – круп нейший советский специалист в области военной географии, доктор военно-морских наук, профессор Военно-морской академии, заслу женный деятель науки РСФСР, контр-адмирал…*

В год девяностолетия Шведе «Морской сборник» писал: «Е. Е. Шведе родился в семье потомственных моряков, жизнь которых была тесно связана с развитием русского флота. Его дед – кора бельный инженер – строил в Петербурге первые винтовые кано нерские лодки. Отец – минный офицер, изобретатель, участник высокоширотных экспедиций, именем которого названа бухта на острове Вилькицкого. Дядя – морской офицер, участник Цусимского сражения».

Дядя и есть тот самый Константин Леопольдович Шведе, старший офицер броненосца «Орел», что выведен Новиковым-Прибоем в «Цусиме» как Сидоров. Вот он-то и определил 13-летнего племянника в Морской кадетский корпус, который тот блестяще – с Нахи мовской премией – закончил в 1910 году.

Мичман Шведе начинал службу на Балтике младшим штурманом на крейсере «Рюрик». «Рюрик» новый, только что спущенный со стапелей, унаследовал имя своего героического предшественника, разделившего судьбу «Варяга» в

Японском море.

Первую мировую Шведе встретил на линкоре «Севастополь», затем перешел старшим штурманом на крейсер «Громобой». Броня этого старика еще носила отметины знаменитого боя владивосток ских крейсеров с отрядом адмирала Камимуры. В том бою лейтенант Иванов-Тринадцатый приказал открыть кингстоны «Рюрика».

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**: «Из среды судовых офицеров Е. Шведе выделяли высокая эрудиция, глубина знаний, ровное и благожела тельное отношение к экипажу. Он отлично разбирался в полити ческой обстановке тех бурных лет, и когда в октябрьские дни 1917 года встал вопрос, с кем быть, офицер русского флота безого ворочно перешел на сторону революции».*

Он с честью выдержал первый экзамен на верность Красному Флоту: линкор «Севастополь» в Ледовом походе Балтфлота перешел из Гельсингфорса в Кронштадт по прокладке старшего штурмана Шведе.

В гражданскую войну Евгений Шведе возглавлял один из отделов оперативного управления Штаба Морских Сил молодой Советской Республики. Вот тут он и познакомился с бывшим старлейтом Домерщиковым, который до упразднения Морского генерального штаба занимал в нем «адмиральскую» должность – начальника иностранного отдела. Правда, недолго: в апреле 1920 года Домерщиков по распоряжению Предреввоенсовета был откомандирован в Главвод

– заместителем начальника морского транспорта РСФСР, а Шведе отправился на Азовское и Черное моря командовать оперативным отделом походного штаба командующего Морскими Силами Республики.

Им удалось накоротке свидеться в Мариуполе, где Домерщиков вместе с комиссаром морского транспорта РСФСР Калининым реви зовал местный торговый порт, приспособленный для базирования Красного Флота.

Шведе, несмотря на тягу к «высокой теории», никогда не был кабинетным доктринером. Перейдя на службу в Морскую академию, он ежедневно выходит в море со слушателями. В 1924 году совершает переход из Ленинграда в Севастополь. В тридцатом повторяет этот маршрут, но уже на линкоре «Парижская коммуна». То был первый в советском флоте линкоровский поход в океан.

Военный географ изучает географию не по картам. Перед самой войной на борту подводной лодки Щ-423 капитан 1-го ранга Шведе проходит Северным морским путем из Полярного на Дальний Восток. Потом он не раз будет выходить в арктические воды, изучая движение льдов и морские течения, собирая материал для очень важной в практическом отношении докторской диссертации. Из-под его пера вышли первые учебники по военно-морской географии для слуша телей академий и курсантов училищ, океанографические книги и подробные описания путешествий прославленных русских морепла вателей.

Он не был спецом, подобным флюсу. Шведе заочно окончил искусствоведческое отделение ЛГУ. География, история, искусство, литература, океанография – вот далеко не полный спектр его знаний и научных устремлений.

Вторую Великую войну в своей жизни Шведе встретил в Ленин граде. Затем под Сталинградом и на Северном флоте консультировал штабы по военно-географическим вопросам, выезжал на различные рекогносцировки. Свыше трехсот его научных работ нашли себе применение в боевой деятельности советских флотов.

Два фундаментальнейших издания связаны с его именем: Морской атлас, изданный по решению Совета Министров СССР в 1950 году, и шеститомная «География Мирового океана».

В 1977 году корреспондентом «Красной звезды» я приехал в Ленинград, чтобы сделать для газеты беседу с профессором Шведе. Увы, я опоздал… Из бывшего дома Орлова-Давыдова по Красной (некогда Галерной) улице выносили траурные подушечки с орде нами…

Евгения Евгеньевича Шведе похоронили на тихом сосновом клад бище в Комарове, неподалеку от могилы Анны Ахматовой.

Одно время Шведе был отчимом Кирилла Вальдмана. От той поры в семейном альбоме Кирилла Николаевича сохранился бесцен ный для меня снимок.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *На диване в здешней гостиной*

– вот он еще стоит, все вещи сохранились, – веселая компания друзей: Шведе у ног Елизаветы Кюнцли, Домерщиков с Екатериной Никола евной. В глазу Михаила Михайловича дурашливо поблескивает стеклышко монокля. Они немолоды, всем за сорок, а то и за пятьдесят, но забыты годы, беды, войны, суды, приговоры, лагеря, ссылки, забыты морские ранги и научные титулы… Миг беспечного веселья. А в окно гостиной уже заглядывает солнце сорок первого года, отбрасывая черные тени…

– Вот что, – надоумил меня Кирилл Николаевич Вальдман, – попробуйте-ка обратиться к вдове Шведе – Ольге Константи новне. Ей сейчас лет под девяносто, но у нее светлая память и ясный ум. Живет она там же, на Галерной. У нее наверняка должны быть бумаги, связанные с Домерщиковым…

Я позвонил Ольге Константиновне, она сообщила, что архив мужа еще не разобран, и, сославшись на нездоровье, попросила позвонить через месяц. Звоню через месяц – полный афронт, как говорили в старину. «Я вас не знаю и не считаю себя вправе знакомить кого-либо с чужими частными письмами».

На мою беду, кто-то из журналистов, рассказывая о Шведе, исказил некоторые факты его биографии, и теперь Ольга Константи новна и слышать не хотела о чьем-либо вторжении в прошлое ее мужа. Но ведь письма-то были!

– Скажите хоть от кого?

– От Екатерины Николаевны Домерщиковой. Она описывает кончину Михаила Михайловича.

– Боже, взглянуть бы одним глазом!

Но Ольга Константиновна была непреклонна. Человек в девяносто лет редко меняет свои решения, если меняет их вообще.

Звоню в Ленинград чуть ли не каждую неделю, пытаясь про бить стену ледяного недоверия. Сам понимаю, что звонки мои уже за гранью хорошего тона, что имя им – беспардонная навяз чивость…

Почти ни на что не надеясь, послал моей гонительнице номер журнала с отрывком из «Взрыва корабля». Ну уж теперь, если не понравится, все кончено. Письма исчезнут, как «зеленая папка»… И вдруг:

– Приезжайте. Только ненадолго…

Знакомый дом рядом с бывшим штабом ЭПРОНа. На дверном почтовом ящике выштампован ленинградский сфинкс. Неужели сфинкс заговорит?

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Ольга Константиновна Васильева-Шведе, доктор филологических наук, профессор Ленинградского университета, старейшина советской школы испанистики, автор многих учебников, в том числе и самых первых, по которым учили язык сражающихся республиканцев советские добровольцы… Благо дарность от Долорес Ибаррури за встречу эвакуированных испанских детей. Орден Трудового Красного Знамени.*

Когда она говорила об Испании, мне было очень трудно поверить, что моей собеседнице за девяносто. Она была вся в работе, на столе ее дожидалась верстка научной статьи, за дверью гостиной томились аспиранты, пришедшие на консультацию… Воистину то была духовная сестра Ксении Петровны Гемп!

Мы сидели за круглым раздвижным столиком под зеленой лампой в бывшем кабинете Евгения Евгеньевича Шведе. Здесь все было так, как и десять, и двадцать, и сорок лет назад. Казалось, откроется высокая узкая дверь – и заглянет к другу Домерщиков – прямо со службы, благо особняк с гротами в трех минутах ходьбы. А из-за стола, заваленного бумагами, картами, заставленного фото в ра мочках, встанет моложавый лысеющий скородум, и начнутся шутки, морские байки, остроумная пикировка… Но гость обратился в листок пожелтевшей бумаги, а хозяин – в застекленную карту с надписью «Гора Шведе». Это в честь адмирала-географа названа в антарктических морях подводная вершина. Бухта с именем отца – в Арктике. Далеко же их разнесло…

В дряхлеющей квартире царил мемориальный беспорядок, благородное наложение книжного развала на антикварную лавку.

– Ваш коллега, – выговаривала мне Ольга Константиновна, – написал, что кабинет уставлен моделями кораблей, и сюда тут же забрались воры. Никаких моделей они не нашли, зато стащили орден Ленина, которым был награжден Евге-

ний Евгеньевич…

Я не сводил глаз с бювара, в котором лежали обещанные письма.

– Михаил Михайлович был человеком большой души… В сорок первом наш университет эвакуировали. Муж тоже уезжал с акаде мией. Я не хотела покидать Ленинград, плакала, пошла к ректору. «Вы жена военного! – сказал он. – Значит, должны уметь выполнять приказы. Тем более что вы назначены старшей теплушки». На вокзале меня разыскал матрос, принес записку: «Евгений Евгеньевич не едет, а откомандирован в распоряжение адмирала Трибуца». Пришла я домой, села вон там – у чучела белого медведя – и горько плачу. А Домерщиков утешал, голос у него проникновенный: «Не надо, не надо… Отвезете детей и снова вернетесь…» Я-то вернулась…

Ольга Константиновна извлекла из бювара два письма и разрешила взять их на пересъемку. Мы попрощались. Не выходя из подъезда, я присел на подоконник и стал читать.

Черновик письма Шведе к Домерщикову был датирован 16 июня 1941 года. До начала войны оставалось шесть дней…

«Дорогой Миша! Прости, что так поздно отвечаю на твое ра душное, милое письмо. Но я судорожно кончаю свою работу. Осталось дописать страниц 6-10, а написано 435. И вот сейчас уже 4 1/2 ночи, и я наконец тебе пишу. Очень рассчитываю, что мы с Ольгой Константиновной, или по

крайней мере я, к тебе приедем (Ольга Константиновна очень загружена экзаменами). У меня с защитой диссертации имеются кое-какие шероховатости, которые, как обычно, возникают по воле моего шефа. Оппонентами у меня будут Ленечка Гончаров1 (на него у меня большие надежды), Шталь и Березкин.

Вероятно, если оппоненты дадут благожелательный отзыв, я буду защищаться 30 июня.

Много думаем о вас, и очень хотелось бы поскорее повидаться. Я непременно приеду, но когда – еще сказать не могу. Может быть, как-нибудь в будний день вечерком.

Ольга Константиновна шлет сердечный привет. Целую ручки Китти Николаевне. Привет Дуняше!

Твой Женя»

То было последнее письмо, посланное другу… Второй листок был помечен 5 июля 1942 года. Писала Екатерина Николаевна.

«Дорогой Женечка!

Получила Ваше письмо, и стало и грустно, и легко, что есть кто-то на свете, кто хоть иногда может меня вспомнить. Я одна. М. М. скончался 14 марта, растаяв окончательно. Что я не делала, чтобы его спасти, но все оказалось тщетным. 2 месяца его мучил карбункул ужасающих размеров на шее сзади. И общее состояние было очень слабое. Я сама, поступив зимой, еще при нем, на работу, была на бюллетене. Но после его смерти, чтобы себя про кормить

хоть как-нибудь, пошла в дворники к нам же в дом. Работа была жутко тяжелая и грязная. Комендант оказался свиньей. Вы бы меня никто не узнали… Все бы ничего. Но ужас – одино чество, беспомощность и неумение жить одной. Потерять близкого человека, да еще такого, как М. М., – само по себе страшный удар. А отсутствие хоть одной родной души, чтобы помочь, поде литься, посоветоваться, довершает кошмар моей жизни.

Живу теперь в одной комнате (в большой), вся квартира пустая. Все уехали. Мне ехать некуда и не к кому. Одна совершенно во всем большом свете. Безумно пусто, а вместе с тем так нужно бороться, чтобы прожить. Досуги свои сейчас заполняю поездками на окраины за травой-лебедой, из которой варю суп и делаю лепешки. Дуни1 больше нет с января месяца… Представляете мои переживания? Как еще с ума не сошла, не знаю.

Пишите хоть изредка. Целую вас всех!

Ваша Кето.

Что делать с гидрографией, книгами, картами? Узнайте!

Я стала уродом, Кащеем и здорово ослабела. Вряд ли увидимся».

На конверте – марка со скульптурой Вальдмана «Счастливое детство». Боже, сколько может вместить в себя зубчатый клочок бумаги!

Неподалеку от дома ЭПРОНа жила в то время поэтесса

Вера Инбер. По строчкам ее блокадного дневника можно представить себе последний пункт одиссеи Домерщикова.

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**: «Страшно, выйдя утром из наших задних ворот, очутиться у стены прозекторской на берегу Карповки. Это мертвецкая под открытым небом… Мертвые в простынях, скатертях, лоскутных или байковых одеялах, иногда в портьерах… Сама прозекторская полна. Не хватает грузчиков для кладбища – не столько даже грузчиков, сколько бензина. И главное – так мало сил у живых, чтобы хоронить мертвых».*

Глава четвертая
И СНОВА «ДЕЛЬФИН»

Меня долго мучили эти две буквы в послужном списке Домерщи кова: «ПП» – подводное плавание. Мой герой служил на подводных лодках? Где? Когда?

Буквы манили, дразнили воображение, сулили новые открытия…

Мой поиск надолго прервала трагическая гибель парохода «Адмирал Нахимов». Я уехал в Новороссийск по заданию журнала. В гостинице, где жили родственники погибших пассажиров, позна комился с ленинградкой, у которой пропал в ночном море сын. Чтобы как-то отвлечь ее от мрачных дум, стал рассказывать ей о «Пересвете» и его моряках, о своих наездах в Ленинград… Как бы ни была Лаура Витальевна убита горем, она постаралась сделать для меня доброе дело.

– В прошлом году, – сказала она, – я лежала в одной палате с сотрудницей морского архива, того самого, в котором вы бываете. Скажите Зинаиде Николаевне, что вы от меня, она вам поможет… Впрочем, я сама ей позвоню.

Прошло время, и я снова вступил под своды ЦГА ВМФ, разыскал Зинаиду Николаевну…

Любой архив для непосвященного человека – это чудовищные бумажные джунгли, в которых не обойтись без зна-

ющего человека. Вот такого проводника я и обрел в лице Зинаиды Николаевны, старейшей хранительницы фондов.

Едва я посетовал ей, что уже сколько лет мне не удается найти советский послужной список Домерщикова, как через полчаса этот документ уже лежал на моем читательском столе! Формуляр был заполнен рукою Михаила Михайловича в сентябре 1926 года. Я узнал из него много любопытных подробностей.

Родители Домерщикова умерли в 1908 году, когда их сын без вестно сгинул на чужбине. Значит, в последний раз они увидели его в 1904 году – перед уходом на «Олеге».

«Проживал в Японии около года, – сообщали убористые строчки, – а затем уехал в Австралию. 9 месяцев в Новой Зеландии, и снова Австралия, где до 1914 года занимался физическим, а затем конторским трудом на различных частных должностях…»

«В сентябре 1915 года произведен в подпрапорщики общей кавалерии. Был ранен в августе, а в октябре произведен в лейтенанты. Плавал на Черном море в Транспортной флотилии. Участвовал в десантных операциях на турецких берегах в должности начальника десантных войск…

…На учете бывших белых не состоял.

Командир судна 2-го ранга».

Среди многочисленных должностей, которые исполнял Домерщиков в двадцатые годы, были такие: начальник службы связи Морского коммерческого флота, начальник экспе-

дицонного отдела морского транспорта НКПС, начальник отдела торгового мореплавания и даже заведующий ленинградской конторой объединенного бюро путе шествий – той самой туристской организации, что спустя шестьдесят лет продала сыну Лауры Витальевны роковую путевку на последний рейс «Нахимова».

В этом документе раскрылась наконец и тайна двух «П». Оказы вается, в конце 1905 года лейтенант Домерщиков, придя из Манилы во Владивосток на крейсере «Жемчуг» (родной «Олег» вернулся на Балтику), был назначен командиром подводной лодки «Дельфин». Меня как током ударило! «Дельфин» – первая русская боевая под водная лодка! Легендарный «Дельфин». Несчастный «Дельфин»… Ризнич, Домерщиков, Беклемишев…

Владивосток. 1905 год

В романе Валентина Пикуля «Крейсера» есть эпизод, где главный герой мичман Панафидин случайно знакомится с выдающимся русским подводником капитаном 2-го ранга Беклемишевым.

ПЕРОМ ПИСАТЕЛЯ. «Солидный кавторанг в белом мундире и в штиблетах из белой кожи… пощипывал бородку стиля „де-катр“.

– Беклемишев Михаил Николаевич, честь имею… Во Влади востоке командую подводными лодками, которые я сам и доставил из Петербурга на железнодорожных платформах… Не буду скрывать от вас, что офицерскую публику воротит

от моих подлодок, как от хорошей касторки. Все согласны плавать хоть на землечерпалках, только бы не видеть эти железные гробы, которые частенько тонут, горят и взрываются… Зато у нас полно свободных вакансий!

Известие о том, что Панафидин позволил кавторангу Беклемишеву увлечь себя, офицеры встретили без зависти:

– Тут и на воде-то не знаешь, как удержаться, а вы еще под воду полезли. Да ведь у Беклемишева на «Шилке»1 собрались отпетые – вроде клуба самоубийц… Еще пожалеете!»

Так или примерно так могло состояться и знакомство Домерщикова с Беклемишевым. Во всяком случае, молодой офицер приглянулся пионеру русского подводного плавания, и тот назначил мичмана командиром сразу двух (!) субмарин– «Дельфин» и «Сом» (такое на заре подводного плавания случалось: слишком много вакансий было в «клубе самоубийц»). Как бы там ни было, но мне очень дорого, что в орбиту моего героя вошел такой человек, как Михаил Николаевич Беклемишев.

Глава пятая
НЕКРОЛОГ ЗАПОЗДАЛЫЙ

Умирая, он сказал сыну: «На могилу мою не ходи. Для тебя я навсегда ушел в море…»

В 1936 году в Ленинграде в доме близ Фонарного моста через Мойку тихо скончался «русский капитан Немо». Некрологов в газетах не было, и потому спустя полвека я попытаюсь исправить оплошность тогдашних газет. Напечатать они тогда должны были по меньшей мере следующее: «Сегодня на 78-м году жизни умер конструктор и коман дир первой русской боевой подводной лодки «Дельфин» Михаил Николаевич Беклемишев».

Рассказывать об этом человеке трудно, ибо от всей его заме чательной жизни остались лишь пара изломанных фотографий да никогда не видевшие его внук и внучка, чья память сберегла о деде очень немногое. Затоптана его могила на Смоленском православном кладбище, что на Васильевском острове. Давным-давно разобрано на металл стальное детище Беклемишева – «Дельфин», даже закладной доски не сохранилось, затерялись в недрах архивов и чертежи первой русской подводной лодки, так что не смогли отыскать их и авторы фундаментального труда «Подводное кораблестроение в России». И все же…

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ*. С переломанного наискось пас-*

парту, украшенного некогда золочеными виньетками, печально и строго смотрит седоватый офицер. На белом кителе погоны капитана 1-го ранга. Острые усы и бородка делают его похожим на писателя Бунина и Дон-Кихота одновременно. Впрочем, современники назы вали его «русским капитаном Немо».

Род первого русского подводника уходит в историю России двадцатью двумя коленами – к началу XV века.

Зимой 1525 года на берегу Москвы-реки ратные люди великого князя Василия Иоанновича отрубили голову Ивану Беклемишеву, бывшему послу в Польше и Крыму, – «за дерзкие слова против государя». Говорят, это случилось против Москворецкой башни Кремля, и с тех пор она зовется Беклемишевской.1

Род Беклемишевых давал России послов и стольников, воевод и полковников… «Достойно замечания, – отмечал генеалог, – что князь Михаил Федорович Пожарский, отец князя Дмитрия Ми хайловича, женат был на Евфросинье Федоровне Беклемишевой и Илларион Матвеевич Голенищев-Кутузов, отец князя М. И. Кутузова-Смоленского, также был женат на девице Беклемишевой; таким образом, главные вожди российских войск в великие 1612 и 1812 годы оба происходили по женскому колену из фамилии Беклемишевых».

К этому надо добавить, что и в жилах Александра Сергеевича Пушкина текла толика беклемишевской крови1. Так что в том, что и великий русский поэт, и первый русский

подводник закончили свой жизненный путь на берегах Мойки, есть, наверное, своя историческая логика.

В родовом гербе Беклемишевых были и львы, и орлы. И если бы революция не упразднила департамент герольдии, в древнем гербе, наверное, появился бы новый символ – дельфин.

Никто не знает, где и когда появилась первая подводная лодка. Как утверждал Аристотель, еще Александр Македонский спускался под воду в стеклянной бочке с вполне боевой целью – разведать боновые заграждения Тира.

Подводная лодка родилась как оружие мести – тайной и беспощадной. Всякий раз, когда к берегам страны, обладавшей слабым флотом, подступали чужие эскадры, патриоты-энтузиасты убеждали своих адмиралов ударить по неприятелю из-под воды: проекты подводных тарано-, мино– и даже ракетоносцев выдвигались один за другим. Подводные лодки изобретали монахи и фотографы, отставные поручики и политические преступники, серьезные инженеры и безгра мотные авантюристы. И вот за дело взялись профессионалы: инженер-кораблестроитель и моряк-минер – Бубнов и Беклемишев. Одному всего лишь двадцать восемь, он только что блестяще окончил Морскую академию (его имя выбито на мраморной доске); другой немолод – ему за сорок, и он немало поплавал, командуя кано нерскими лодками береговой обороны. Сошлись талант и дерзость, опыт и расчет. Работы велись в строжайшей тайне. Запрещено было упо-

треблять в документах и переписке слова «подводная лодка». Подводный корабль именовался сначала как «миноносец №113». Вскоре номер заменили именем «Дельфин», и потом годы и годы еще подлодки маскировались термином «миноносцы типа «Дельфин».

Прежде чем браться за неизведанную работу, Беклемишев, мало кому известный преподаватель Кронштадтских минных классов, побывал в США, Англии, Германии и Италии – в тех странах, где бешеными темпами, оглядываясь на соседей – не обогнали бы, – строились подводные лодки. Беклемишеву удалось поприсутствовать во время одного из погружений лодки знаменитого Голланда.

Любой конструктор, прежде чем сесть за чертежный стол, изу чает все, что создано в его области коллегами и предшественниками. Именно так поступили Бубнов с Беклемишевым – они обобщили сведения, добытые Михаилом Николаевичем, и разработали свой, оригинальный проект, основные принципы которого соблюдались русскими кораблестроителями лет пятнадцать.

К 1900 году ни в одном военно-морском флоте мира не было боевых подводных лодок. Но зато в первые три года нового века морские державы наперебой принялись строить подводные торпедо носцы – Америка, Франция, Германия, Италия, Англия… Не отста вала и Россия, а кое в чем и опережала…

Если сравнить две соразмерные лодки – русскую «Дель-

фин» и американскую «Фультон» (фирма Голланда), то сравнение будет не в пользу заокеанских конструкторов. «Дельфин» погружался надвадцать метров глубже «Фультона» (50 м и 30 м), ходил над водой быстрее на полтора узла, в два раза мощнее был вооружен (два торпедных аппарата вместо одного). Единственное, в чем уступал тот «фультону», – в дальности плавания.

Сразу же после «Дельфина» Бубнов с Беклемишевым разработали проект новой лодки, с несколько большим надводным водоизме щением – 140 тонн. Головной корабль назвали «Касатка». За ней пошли «Скат», «Налим», «Макрель»…

Русский подводный флот зарождался не в тихой заводи. Огненный водоворот русско-японской войны втягивал в себя новорожденные корабли прямо со стапелей. Зыбкие, опасные скорее для своих экипажей, чем для врага, эти ныряющие кораблики смело уходили не в море даже – в Тихий океан – и занимали там боевые пози ции.

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**: «Рано утром, – писал в своем дневнике командир подводной лодки „Касатка“, – увидел на горизонте не сколько дымков, почему тотчас начал поднимать якорь. Вскоре ясно обрисовались силуэты шести миноносцев, которые держали курс прямо на меня. Предполагая, что это неприятельские минонос цы, я хотел было начать погружение, чтобы принять атаку в подводном положении, но… вспомнил предписание начальства – не нырять.*

Дело вот в чем. Начальство мое, отправляя меня в море

и, конечно, зная прекрасно, каким опытом подводного плавания я обладал, пройдя самый ничтожный его курс, и боясь взять на себя ответственность в случае гибели моего экипажа и катастрофы с лодкой, решило выйти из трудного положения и дало мне на всякий случай предписание, конечно, словесное, – в течение этого «боевого похода» не нырять…

Нельзя было не преклоняться перед каждым из команды нашего отряда. Что пригнало его сюда, на подводные лодки, в это горнило опасности, где каждая минута могла стоить ему жизни, где на каждом лежала масса обязанностей и тяжелой работы, в то время когда на большом линейном корабле он мог бы почти избавиться от них? Офицер мог еще рассчитывать у нас на всякого рода «благополучия», ничего ведь подобного уже не мог ждать матрос, между тем сколько бескорыстного служения было видно в каждом его шаге на лодке, сколько идейного исполнения своего долга, чуждого каких-либо эгоистических целей».

По сути дела, то были полуэкспериментальные образцы, не прошедшие толком ни заводских, ни полигонных испытаний, с недообученными командами, с безопытными офицерами. Но даже в таком виде семейство стальных дельфинов внушало серьезные опасения японскому флоту. Корабли микадо так и не рискнули приблизиться к Владивостоку с его отчаянными подводными лодками. А выпускал их в море Беклемишев. Он тоже проделал тысячеверстный путь вместе

со своими первенцами.

И все-таки – «Дельфин». Год рождения – 1903-й.

***СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ**. Какой седой стариной веет при взгляде на фото «Дельфина», лежащее рядом со снимком современного атомохода! Трудно поверить, что этот утлый стальной челн и могучий подводный гигант отделяет всего каких-нибудь пятьдесят лет – неполная человеческая жизнь.*

Верхний рубочный люк, закрывающийся, как пивная кружка, круглой откидной крышкой, угловатые обводы, хиленькая мачта и самоварного вида воздухозаборник.

Но это первенец, пионер, родоначальник. Честь и слава ему! Отсалютуйте ему флагами, подводные крейсера!

По обычаю мостостроителей, когда автор проекта становился под пролетом во время прохода поезда, демонстрируя свою уверен ность в расчетах, Беклемишев первым погрузился в своем рукотворном дельфине, а затем возглавил и первый экипаж из унтер-офицеров – добровольцев: десять матросов, два офицера. С командиром – тринадцать подводников.

Семнадцать раз погружался «Дельфин», и каждое было смер тельным риском. Восемнадцатое оказалось роковым. Беклемишев по делам службы уехал в Кронштадт. Его замещал старший офицер лейтенант Черкасов.

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**: «Опытная лодка, обыкновенно вмещающая двенадцать человек, начала погружение для*

практики и обучения команды, имея в себе тридцать семь человек, из которых кроме командира было еще два офицера.

Началось погружение на месте – лодка принимала в цистерны водяной балласт. Оставалась уже малая плавучесть. Лодка готова была погрузиться на дно; предстояло только закрыть главную крышку и уничтожить оставшуюся плавучесть.

Но в это время недалеко от места погружения проходил пароход, волна от него добежала до лодки, покрыла ее и заглянула в неза крытый еще люк. Этого было достаточно, чтобы, с открытой крышкой, она устремилась ко дну.

Ужас смерти в первый момент сковал мысли несчастных заклю ченных, видевших, как в незакрытый люк хлынула вода. Огромная опасность, однако, быстро вывела людей из оцепенения. Бросились закрывать крышку… заработал опускающий механизм… Сразу умень шилась и стремительность потока… Вот механизм стал, крышка прикрыта. Спасение еще возможно: водой залита только часть лодки, воздуха может хватить, пока подоспеет помощь извне… Вырываются крики облегчения, но тотчас обрываются и замирают: вода продолжает прибывать…

Крышка, оказывается, закрыта не до места; один из экипажа, ближайший к выходному люку, искал спасения через этот люк и уже был на пороге его, но подводное судно не пожелало рас статься со своей жертвой, и, захваченный закрывавшейся в это время крышкой, человек был раздавлен

ею – только кости его противостояли объятиям судна, которому он вверил свою жизнь, они-то и не позволяли люку закрыться до места.

Вода прибывала. Становилось тяжело дышать…

Все способы найти спасение, казалось, были уже исчерпаны.

В сознании оставались уже немногие. Они были по грудь в воде, но отчаянная борьба со смертью продолжалась… Кое-кто толпился у выходного люка… Наконец кто-то снова стал открывать крышку… вода быстрей кинулась внутрь; сгущенный от давления воздух начал вырываться наружу… Невидимою рукою судьба направ ляла некоторых избранных к выходному люку и выбрасывала через него на поверхность воды. Так спаслось из тридцати семи всего двенадцать человек, подобранных со шлюпки, т. е. как раз столько, сколько эта лодка должна была вместить во время своего нормального погружения, так как по проекту экипаж этой лодки был ограничен именно этим числом.

Погиб и командир. Не имея опытности, молодой в деле подводного плавания, он погубил себя и повлек смерть большинства вверенного ему экипажа. Кто виноват?…»

Эти строки написал лейтенант Тьедер, сменивший погибшего Черкасова на посту старшего офицера первой подводной лодки. Вторую офицерскую должность занял преподаватель Кронштадтской водолазной школы лейтенант Иван Ризнич. Июньская катастрофа ничуть не охладила пылкой веры

этих двух офицеров в будущность подводного плавания. Напротив, сделала их страстными поборниками идей Беклемишева. Сейчас без тени сомнения можно сказать: у командира «Дельфина» были завидные помощники. Через какое-то время каждый из них, пройдя беклемишевскую школу, станет командиром подводной лодки: Тьедер – «Ската», Ризнич – «Стерляди». В русско-японскую войну Тьедер водил своего «Ската» в боевые походы – то были первые в истории морских войн рейды подводных лодок. Ризнич испытывал новые субмарины, готовил для них экипажи. И Тьедер, и Ризнич были уволены с флота в один год – за яростную критику морского министерства, не желавшего видеть в подводных лодках грозного оружия. Тогда оба взялись за перья и стали отстаивать правоту своих взглядов в открытой печати.

«Подводники – моряки будущего!» – провозвестнически воскликал Тьедер. И столь же пророчески утверждал Ризнич: «Я не вижу ничего невозможного в появлении, может быть и в недалеком будущем, подводной лодки водоизмещением в 18 тысяч тонн».

О Тьедере и Ризниче – рассказ уже был. Вернемся к Беклемишеву.

«С особой остротой, – писал историк отечественного флота Г.М. Трусов, – возникла проблема подготовки команд и офицеров для строившихся подводных лодок. В те годы в России не было никакой организации для подготовки специалистов-подводников. Единственным авторитетом в этом

вопросе считался Беклемишев; на него и возложили дело подготовки кадров для строившихся подводных лодок».

Потом, несколько лет спустя, на смену Беклемишеву придет первый «подводный адмирал», герой Порт-Артура, бывший командир эскадренного броненосца «Ретвизан», Эдуард Николаевич Щенснович. Он возглавит учебный отряд подводного плавания. А генерал-майор по Адмиралтейству Беклемишев станет заведующим отделом подводного плавания в Главном морском штабе, членом Морского технического комитета. С каким же удивлением и с каким восторгом первые слушатели подводных классов увидели, что вместе с ними конспектируют лекции Щенсновича Беклемишев и Бубнов. Зачина тели русского подводного плавания, не кичась чинами, опытом, заслугами, прошли вместе с юными мичманами и новоиспечен ными лейтенантами весь курс подготовки офицера подплава. Они понимали, как важно упрочить авторитет нового на флоте дела, поднять в глазах военных моряков престиж подводницкой профес сии. Увы, в те времена он был невысок.

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**: «Мало кто из офицеров флота мечтал о службе на подводных лодках, – признавался один из первых вы пускников отряда старший лейтенант Василий Меркушев, – едва двигавшихся, плохо погружавшихся и таящих в технической своей наразработанности массу неприятностей. До 1910 года был случай, когда один офицер командовал двумя и даже тремя лодками, когда на лод-*

ке, кроме ее командира, не было ни одного офицера. Тем не менее к началу войны все же мы имели вполне достойный и хорошо подготовленный личный состав».

Немалая заслуга в том была Михаила Николаевича Беклемишева. Вместе с другими подвижниками подводного дела, сломив барьеры рутины и недоверия, он добился, чтобы в судостроительной програм ме 1909 года было предусмотрено и широкое развитие подводных сил. К 1921 году в подводном флоте России предполагалось иметь 15 адмиралов, 881 офицера, свыше 10 тысяч кондукторов и матросов.

Октябрьский переворот внес в эту программу свои коррек тивы.

Этот пожелтевший снимок сохранила внучка Беклемишева – Наталья Владимировна.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ*. Среди матросов в лихо заломленных бескозырках, в распахнутых бушлатах, радостно и дерзко глядящих на фотографа,– седоватый флотский генерал. Взгляд его слегка растерян.*

По семейному преданию, этот снимок был сделан в Кронштадте – в первый день Февральской революции. Беклемишеву по делам службы пришлось заночевать на одном из кораблей. Он спокойно проспал всю ночь, а утром, заглянув в кают-компанию, обнаружил, что она пуста. Все офицеры корабля были арестованы, самые вредные – расстреляны. Его же не просто пощадили, а вывели на палубу и попросили сфотографироваться с ним – отцом первой русской боевой

подводной лодки.

В ту пору ему было пятьдесят девять лет. В таком возрасте трудно менять убеждения. Да он их и не менял: продолжал делать то, чему посвятил жизнь. Тем более что Красному Флоту очень нужны были подводные лодки.

По распоряжению В.И. Ленина две подлодки – «Минога» и «Макрель» – были переброшены на Волгу, в Каспийское море. Одна из них – «Макрель» – была тоже детищем Беклемишева. После «Дельфина» по разработкам Бубнова-Беклемишева Бал тийский завод построил целую серию усовершенствованных подвод ных лодок, многие из которых воевали и в первую мировую, и в гражданскую.

Чуть позже из Петрограда в Астрахань прибыли еще две бубново-беклемишевские подлодки – «Касатка» и «Окунь». Все вмес те они составили дивизион, который воевал на Каспии.

СУДЬБА КОРАБЛЯ. *«Макрель» – Беклемишев два года ко мандовал ею после «Дельфина» – носила красный флаг и входила в состав военного флота Астраханского края до конца 1925 года. В ноябре вместе с «Касаткой», «Миногой» и «Окунем» она была разобрана на металл.*

«Дельфин» же проплавал без малого пятнадцать лет. Знавал он воды и Балтики, и Тихого океана, Белого и Баренцева морей. Судьба побросала его преизрядно… В апреле семнадцатого «Дельфин» стоял в Екатерининской гавани, что в Кольском заливе.

Сильный весенний шторм, обрушившийся на обычную тихую гавань, оказался роковым для двух (их и всего-то во флотилии Северного Ледовитого океана было две) подводных лодок – № 1 и «Дельфин».

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**. «Доношу Вам, – писал в своем рапорте командир подводной лодки № 1 старший лейтенант Славянский, – что 26 апреля в 6 ч. 30 м. меня разбудил вахтенный и доложил, что лодка как будто тонет. Я приказал сейчас же пустить помпу и все время откачивать, а сам, быстро одевшись, вышел на палубу. Увидел, что лодка погрузилась уже до палубы. Видя ясно, что она уже тонет и что шланги для ее откачки приготовить не успеть, я приказал отдать швартовы и перевести ее ближе к берегу, на меньшую глубину, где она и затонула окончательно.*

Предполагаю, что течь получилась от ударов на волне при шторме о заграждения горизонтальных рулей подводной лодки «Дельфин», ибо кранцы были выбиты с места волною и, вероятно, где-нибудь разошелся шов или выбило несколько заклепок».

«Дельфин» от этих соударов тоже пострадал. С него сняли медную арматуру, перископ и сдали в порт на разборку. Серебря ную закладную доску взял кто-то из офицеров, который после изгнания с русского Севера интервентов эмигрировал в Англию. Должно быть, бесценная эта реликвия и сейчас хранится в чьей-нибудь частной коллекции.

В первые годы советской власти отставной генерал по Ад-

мирал тейству Беклемишев служил младшим консультантом при Коллегии по военному судостроению: ведал постройкой и ремонтом военных кораблей.

В 1924 году он был назначен капитаном опытного судна «Микула» – плавучей лаборатории волнового управления остехбюро. Беклемишеву доверили участвовать в работах важнейшего оборонного значения. Речь шла о радиоуправляемых кораблях – торпедных катерах без экипажей.

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**. «В 1927 году в Гребном порту Ленинграда Председателю ВСНХ Куйбышеву, – писал контр-адмирал Б. В. Ники тин в своих воспоминаниях, – демонстрировалось управление по радио… небольшим катером «Оса». Мы прошли на катер. Странно было наблюдать, как, выполняя радиокоманды, «сами» начина ли работать механизмы, запускались двигатели, перекладывался руль».*

Беклемишеву было двенадцать лет, когда Жюль Верн пустил в литературное плавание свой «Наутилус». Ему было далеко за шестьдесят, когда он снова взялся осуществлять идею, достойную еще одного романа великого фантаста.

Если верить справочникам морского ведомства, то Беклемишев всю жизнь был холост. Но это не так. Дело в том, что составители справочников, как и ближайшие родственники Михаила Никола еви ча, отказывались признать брак столбового дворянина, морского офицера с… дочерью прачки. Случилось так, что однажды прачка, обстирывавшая Беклемишева, заболела, и блиставшие белизной сорочки принес-

ла ему на квартиру ее дочь Людмила – девушка необыкновенной красоты. Ее-то, презрев сословные обычаи, и назвал Беклемишев своей женой. Людмила Эсперовна подарила ему дочь и сына.

Восприемником первенца был старший брат Михаила Никола евича – Николай Беклемишев, замечательный моряк-гидрограф, в честь которого и по сю пору на картах Берингова моря значится «гора Беклемишева». Разумеется, при такой наследственности ново нареченному Владимиру дорогу в жизни выбирать не приходилось – море. На судно он пришел простым матросом. Потом окончил морской техникум, ходил на заграничной линии Ленинград – Гавр-Лондон. Вскоре стал капитаном, водил сухогрузы «Пионер», «Репино». В годы Великой Отечественной войны командовал но мерным военным транепортом. Орден Ленина, ордена Красного Знамени, Отечественной войны – его награды. В честь старейшего и заслуженного капитана Балтики назван новейший океанский спасатель – «Капитан Беклемишев».

Сын Владимира Михайловича, названный в честь деда Михаилом, тоже стал моряком. Окончил мореходное училище имени адмирала Макарова, ходил за тридевять морей – и в Австралию, и на Кубу. Сейчас капитанит на Балтийском судостроительном заводе, том самом, где на заре века дед его спускал на воду «Дельфин», пращура нынешних атомарин.

Как знать, может быть, и правнук Беклемишева – Кирилл – унаследует семейную профессию.

Любой школьник скажет, кто построил первый в России паро воз или самолет. Но, увы, не каждый моряк назовет имена создателей первой боевой отечественной подводной лодки.

В оценке человеческих дел мы привыкли полагаться на время: оно само все рассудит, потомки рано или поздно оценят и воздадут должное каждому по делам его. Рано или поздно… Чаще всего – поздно, как это видно на судьбе Беклемишева.

И все же с каждым годом облик этого человека все четче проступает из небытия, и на великую доску народной памяти на носятся все новые и новые штрихи беклемишевской жизни. Вот дотошные архивисты отыскали проектные чертежи «Дельфина», и журнал «Судостроение» опубликовал их. Вот в таллиннском Музее мореходства появился портрет Беклемишева – и точно такой же (сделанный с одной и той же ветхой фотографии) висит над мо делью «Дельфина» в музее Высшего военно-морского училища подводного плавания.

Именем предка Беклемишева названа башня в Московском Кремле. Именем потомка его названо океанское судно. Как говорят артиллеристы – вилка. Теперь дело за точным попаданием в цель. Уверен, выйдет на морские просторы корабль с именем Михаила Беклемишева на борту. Может быть, и улица в Ленинграде появится. И мемориальная доска. И стенд в Центральном военно-морском музее. Все это – лишь очень скромная дань памяти «русского капитана

Немо».

Глава шестая
МРАМОРНЫЙ АНГЕЛ У ПЕРИСКОПА

Осенью 1915 года подпрапорщику Дагестанского конного полка Михаилу Домерщикову за боевые отличия вернули прежний чин лейтенанта и отпустили в недолгий отпуск по ранению. Свое возвра щение на флот бывший штрафник праздновал в ресторане «Крыша», что помещался в самом верхнем этаже гостиницы «Европейская», под стеклянной кровлей, сквозь которую в зал, выстроенный в виде ресторана погибшего «Титаника» – так гласила молва, – лился тусклый свет петроградского неба. За одним из столиков Домерщиков заметил худощавого остроусого контр-адмирала с немолодой супру гой. Он узнал его тотчас же. То был его последний по морской службе командир – Павел Павлович Левицкий, командовавший в Цусиме, а затем во Владивостоке крейсером «Жемчуг». Из кора бельной кассы «Жемчуга» ревизор Домерщиков взял двадцать две тысячи и передал в фонд помощи семьям тех, кто погиб под пулями царских солдат. Именно Левицкий отдал под суд своего ревизора. Но Домерщиков зла на него не держал, напротив, по дошел к столику, испытывая невольную вину перед бывшим коман диром, офицером глубоко порядочным и уважаемым

кают-компанией «Жемчуга».

Левицкий был немало удивлен, увидев Домерщикова во флотском мундире, с полным бантом солдатских «Георгиев». Но руки ему не подал…

Вот еще один морской узел, который связал судьбы Домерщикова, адмирала Левицкого, его дочерей, внука героя Бородина – мичмана Тучкова, конструктора ракетных катеров Четверухина, писателя Новикова-Прибоя, экипажей подводных лодок «Камбала» и «Ми нога»…

Прослеживать судьбы кораблей, как и судьбы книг, столь же увлекательно, сколь и полезно.

У каждого корабля есть свой след в книжном море: у одного – бурный, видный (фрегат «Паллада», крейсер «Варяг»), у другого – чуть приметный: упомянут в сноске в каком-нибудь историческом трактате, и все…

Никогда в жизни не становились борт о борт крейсер «Жем чуг», линкор «Марат», подводные лодки «Камбала» и «Минога»… Ни на одной книжной полке не стояли рядом монография о вы дающемся русском портретисте Д. Г. Левицком, повесть Нови кова-Прибоя «Подводники», роман Пикуля «Моонзунд» и «Исто рия развития береговой артиллерии» профессора Г. Н. Четверухина. Судеб морских таинственная вязь соединила эти книги, эти ко рабли, этих людей незримыми нитями. Откроем же их прихотли вый узор…

Севастополь. 1923 год

Об этом кладбище ходила дурная слава. В его распахну-

тых граж данской войной склепах, густо заросших бересклетом, ажиной, тамариндом, обитали урки, контрабандисты и все те, кто не находил ночного приюта в городе. Не только вечером, но и средь бела дня появляться здесь было весьма рискованно. Но молодая женщина в открытом белом платье отважно пробиралась по путаным каме нистым дорожкам, высвобождала юбку из цепких колючек, тихо обмирала, когда из темного зева раскуроченного адмиральского склепа выглядывала небритая рожа или выскальзывал из-под ног желтобрюхий полоз, и все же упорно стремилась в глубь опасного лабиринта. И кто-то из завсегдатаев этого мрачного места уже двинулся вслед за лакомой добычей, но другой, поопытней, остановил его:

– Не тронь… То тебе не Клава с Балаклавы. Жена большого бугра.

– Какая барыня ни будь…

– Стой, кому говорю! Я с ее мужиком на «Полтаве» служил. А здесь он – по-старому так адмирал. Я его на параде видел…

Женщина перевела дух только тогда, когда из зарослей туи в нее хмуро вперились смотровые щели броневого колпака, похожего на тело обезноженного спрута. То была боевая рубка подводной лодки «Камбала», поставленная на могиле ее погибшего экипажа. Перед перископом скорбно склонял голову мраморный ангел.

Женщина – ее звали Мария Павловна, урожденная Левиц-

кая, – положила к якорю у подножия памятника букетик иссушенной летним зноем лаванды. Там, под плитой, придавленный тяжестью корабельной брони, лежал ее несостоявшийся жених – мичман Дмитрий Тучков, внук героя Отечественной войны, сложившего голову на Бородинском поле…

Она отказала ему. Ее напугала его мистическая настроенность. Он много рассказывал о бабушке – Маргарите Михайловне На рыш киной-Тучковой, которой было видение Бородинского сражения задолго до его начала и которая увидела гибель своего мужа-генерала. А когда все сбылось, она постриглась в монахини и основала Спасо-Бородинский монастырь. Дмитрий поведал ей, как однажды, войдя в свой московский дом, оторопел – прямо перед ним рухнула огромная хрустально-бронзовая люстра. Когда он пришел в себя, люстра как ни в чем не бывало висела на своем месте. Он был убежден, что скоро погибнет, и когда его подводную лодку «Камбала» погрузили на железнодорожную платформу для отправки из Либавы в Севастополь, молодой офицер сказал ей: «Мы прощаемся навсегда».

Увы, он не ошибся…

Сегодня мы знаем (психологи знают), что предчувствие смерти – в природе человека. Тогда, на заре века, все это испугало впечатли тельную девушку, и она предпочла руку другого мичмана – Георгия Четверухина, корабельного артиллериста, человека весьма небогатого, в отличие от Тучкова, но жизнерадостного.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *Три подводные лодки – «Камбала», «Карась» и «Карп» – тесно сошвартованы борт о борт. Выстроены команды и офицеры. Распахнуты люки, подняты флаги, сняты фуражки и бескозырки. Морской священник кропит боевые рубки святой водой. Молебен на лодках перед отправкой в дальний путь – из Либавы в Севастополь…*

На левом фланге – мичман Тучков. Он знает – неужели знает?! – это отпевают его и «Камбалу»…

Гибель «Камбалы» потрясла не только Севастополь. После затопления «Дельфина» в Неве это была вторая на русском флоте катастрофа подводной лодки с небывалыми еще жертвами – пучина поглотила двадцать жизней. «Дельфин» потонул далеко – в Петер бурге, через месяц его подняли и ввели в строй, а «Камбала», перерезанная тараном броненосца, легла на грунт у морского подно жия Севастополя в полночь на 30 мая 1909 года. И хотя обстоятельства трагедии известны в деталях, истинная при чина ее остается загадочной.

А было так…

В те далекие годы считалось, что подводная лодка может действовать только днем, так как ночью не сможет увидеть цель перископ. Честь оружия взялся отстаивать командир дивизиона подводных лодок Черного моря, только что произведенный в капитана 2-го ранга Николай Михайлович Белкин-2-й. Ученик Щенсновича, сокурсник Ризнича, он при-

вез в Севастополь ту же пылкую веру в будущность подводных лодок, что собирала молодых офицеров в стены либавского учебного отряда подводного плавания.

23 мая 1909 года на совещании офицеров Белкин стал доказывать возможность ночных атак и после долгих дискуссий вызвался провести такую атаку сам. Как ни осторожничало севастопольское морское начальство, но все же разрешило увлеченному кавторангу провести эксперимент. Выбор пал на подводную лодку «Камбала» – одну из трех, что составляли все подводные силы Черноморского флота. Собственно, никакого выбора не было, просто «Камбала» в тот день должна была дежурить у входа в Южную бухту.

Командовал подводным кораблем недавно назначенный на него лейтенант Михаил Аквилонов. Его помощником был мичман Дмитрий Тучков. Оба год назад окончили курс в учебном отряде.

В пятницу 29 мая, едва лишь начало темнеть, «Камбала» отвалила от борта базы – линкора «Двенадцать апостолов» – и двину лась к Стрелецкой бухте, где против западного берега застопорила машины и стала поджидать эскадру, возвращавшуюся из Евпатории. В половине двенадцатого в свете луны смутно замаячили громады головных кораблей. Они шли без огней, так как были предупреждены об учебной атаке. Правда, командиры броненосцев считали, что подводники не рискнут выйти в светлую, лунную ночь, а дождутся полной темени.

Лейтенант Аквилонов стоял на мостике, а капитан 2-го ранга Белкин спустился в рубку и через перископ наблюдал за эскадрой. Мичман Тучков находился у торпедных аппаратов.

Аквилонов не решился атаковать из-под воды и погрузился лишь в позиционное положение, то есть принял часть водяного балласта. В этом положении лодка, как тогда говорили, «уменьшила силуэт» и стала еще менее заметной.

В голове колонны шел броненосец «Пантелеймон» (бывший «Потемкин», переименованный после событий 1905 года). С дистан ции 4 кабельтовых (около километра) «Камбала» успешно атаковала его, условно выпустив свою единственную торпеду, и стала пово рачивать влево, пытаясь лечь на курс, параллельный курсу эскадры. Это был роковой маневр! То ли Аквилонов не рассчитал дистанцию до следующего корабля, то ли не ожидал, что подводная лодка выкатится из циркуляции далеко вправо, но только борт лодки оказался в считанных саженях от кованого форштевня броненосца «Ростислав». Командир «Ростислава» капитан 1-го ранга Сапсай-2-й крикнул рулевому: «Лево на борт!» – и в переговорную трубу: «Полный назад!» – но никакая сила не могла уже остановить, отвернуть бронированную громадину, шедшую 12-узловым ходом. «Ростислав» ударил в правый борт «Камбалы» позади рубки, субмарина завалилась на левый борт, ее протащило вдоль броне носца, и через несколько секунд она навсегда скрылась под водой. Почти перере-

занная пополам, «Камбала» опустилась на грунт со всем экипажем. Видимо, все погибли сразу, так как глубина места (58 метров) вдвое превышала расчетный предел погружения. В раз давленном корпусе остались капитан 2-го ранга Белкин и 19 человек команды.

Спасли лишь одного человека – командира, лейтенанта Аквилонова. При ударе его выбросило с мостика, спасательный жилет удержал его в холодной воде до подхода шлюпки с крейсера «Па мять Меркурия».

Этот спасательный жилет, столь счастливо удержавший его на воде, едва не погубил Аквилонова на берегу. Злые языки обвинили его в умышленном столкновении с броненосцем, так как в лодке находился его кредитор – мичман Тучков, на квартире которого нашли немало долговых расписок Аквилонова. Потому-де и жилет надел загодя. Однако следствие не подтвердило эту версию. Военно-морской суд Севастопольского порта признал командира «Камбалы» виновным лишь в неосторожном сближении с кораблями эскадры и вынес довольно мягкий приговор: «Командовавшего названною лодкою, ныне отставного лейтенанта Михаила Аквилонова под вергнуть заключению в крепости на шесть месяцев, без ограни чения прав и преимуществ, и предать церковному покаянию по распоряжению духовного начальства, а командира линейного корабля «Ростислав» капитана 1-го ранга Сапсая-2-го, в действиях коего судом никаких упущений или неправильностей не усмотрено, считать по су-

ду невиновным».

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. *На дне сухого дока стоит обрезанная по боевую рубку подводная лодка. Перевитая тросами, она напоми нает мумию, извлеченную из саркофага. Над носовым люком – козловой кран: им поднимают из отсеков тела погибших подвод ников.*

«Камбалу» извлекли из морской пучины спустя три месяца после несчастья. Искали, стропили, поднимали ее моряки Кронштадтской водолазной школы под руководством капитана 2-го ранга М. фон Шульца и штабс-капитана по адмиралтейству Ф. Шпаковича, впоследствии ведущего водолазного специалиста ЭПРОНа. Подняли лишь боль шую – носовую – часть протараненной лодки, поставили ее в Лаза ревский док и вынесли из отсеков останки четырнадцати подвод ников. Спустя два дня их отпевали в Никольском соборе Севастополя. Тела погибших офицеров – капитана 2-го ранга Белкина и мичмана Тучкова – перенесли на вокзал, чтобы отправить на родину, нижних же чинов погребли с воинскими почестями на городском кладбище в братской могиле. Вот их имена: рулевые квартирмейстеры Плотников и Данилюк, рулевые боцманматы Дмиткин и Латнов, минные квартирмейстеры Базик, Королев, Шаронов, минные ма шинисты Казаринов и Федоров, машинист 1-й статьи Грилян, машинные квартирмейстеры Грошев и Прилепа. В оставшейся надкормовой части «Камбалы» до сих пор покоятся еще шесть погибших подводников. Они были первыми, и этим все ска-

зано. Опыт ночных атак оплачен их жизнями, но он был крайне необходим, этот опыт. Потом, в сорок пятом, подводная лодка С-13, под командованием легендарного Маринеско, выйдет в свою звездную атаку примерно так же, как выходила «Камбала», – ночью в надводном положении…

СУДЬБА КОРАБЛЯ. Летом 1932 года черноморские водолазы попытались отыскать и поднять кормовую часть «Камбалы». И хотя на месте ее гибели был поставлен буек, найти лодку так и не удалось. Видимо, корма ушла глубоко в ил. Каково же было удивление водолаза, когда немного в стороне он увидел совершенно целую подводную лодку. Следующая пара глубоководников сумела расчистить бронзовые литеры: «Судакъ». Вспомнили, что на этом месте английские интервенты, покидая Севастополь, затопили три подводные лодки: «Судак», «Налим», «Лосось». Вскоре они были найдены. Все три лодки успешно подняли.

Имя «Камбалы» носила советская подводная лодка Щ-203. Она участвовала в обороне Севастополя, совершила 18 боевых походов и погибла в 1943 году.

В тот год, когда Мария Павловна Левицкая навестила симво лическую могилу своего жениха, в московском сборнике «Вехи Октября» вышла повесть никому еще толком не известного писателя Новикова-Прибоя «Подводники». Вряд ли молодая женщина озабо тилась тогда ее чтением, хотя один из эпизодов повести имел самое прямое отношение к ее отцу, бывшему контр-адмиралу Левиц кому, и к ее сестре

Елене Павловне.

***ПЕРОМ ПИСАТЕЛЯ**. «Нашему отдыху пришел конец: „Мурена" подлечила свои раны и теперь спешно готовится в новый поход. В гавани, около гранитной стенки, где пришвартована лодка, громыхают ломовые подводы. Жадно лязгает цепью подъемный кран, а его длинная, как у жирафа, шея то и дело поворачивается. Нату живаются крепкие мускулы матросов, трещат под тяжестью спины. „Мурена" беспрерывно глотает грузы: снаряды, соляровое масло, смазочное масло, мины, ящики с консервами. Перед уходом она старается как можно туже набить свой железный желудок.*

Безоблачное небо обжигает зноем. Море плавится и кажется горячим. На матросах рабочее платье мокро от пота.

Неожиданно хлестнула команда:

– Смирно!

А вслед за этим слышим старчески трескучий голос:

– Здорово, морские орлы!

Около сорока глоток дружно и привычно выбрасывают в воздух готовый ответ:

– Здравия желаем, ваше гит ест во!

Это явился к нам сам адмирал, начальник подводной дивизии. Он тучен – весом пудов на восемь. Сырое лицо с седыми бакенбардами расползлось в стороны. А над этим ворохом мяса и сала возвышается громаднейшая лысина, слов-

но каменный мол над морем. Заочно матросы называют его Гололобый.

Офицеры и матросы поражены небывалым явлением: адмирал привел на подводную лодку свою дочь. Все смотрят на нее угрюмо, враждебно – быть теперь беде. Но что можно поделать? Гололобому все позволено – на золотых погонах его грозно чер неют орлы.

Дочь, как только спустилась внутрь «Мурены», пришла в вос торг:

– Прелесть! Светло, как в театре. Папочка, да тут столько приборов разных, что можно запутаться! Я бы ни за что не ра зобралась.

– Поэтому-то, Люсик, ты и не командир, – смеется Гололобый.

– Папочка, а это что за машины?

Отец говорит ей о дизель-моторах.

– Нет, все здесь удивительно! Нечто фантастическое!

У Люси звонкий голос, а с молодого лица радостно излучаются две спелые вишни, как два солнца. На тонкой фигуре белое прозрачное платье. Она кажется мне чайкой: спустилась на минуту в лодку, но сейчас же упорхнет в синий морской воздух. И уже не верится, что от такой радостной женщины может случиться несчастье. Я смотрю на нее и думаю: неужели Гололобый, напоминающий собою гиппопотама, – ее отец?

– Папочка! А где же перископ? Я хочу посмотреть в него.

– А вот командир покажет тебе.

Она поднимает ресницы и бросает на командира ласковый взгляд.

– Пожалуйста! Я с удовольствием вам покажу.

Гололобый продолжает осматривать лодку, всюду заглядывать. Вот здесь-то и случилась непредвиденная каверза. Не успел он войти в офицерскую кают-компанию, как на него набросился наш Лоцман. Это был командирский пес, лохматый, клыкастый, с голосом, точно у протодьякона, – ревущий бас. Гололобый со страху побелел, как морская пена. Но тут же опомнился, в ярь вошел. Глаза стали красные, как у соленого сазана. Поднялся шум – всех святых уноси.

– Это что за безобразие! На судне псарню завели!…

Но для Лоцмана что нищий в рваной одежде, что адмирал в золотых погонах – все равно: заслуг он не признает. Еще сильнее начинает лаять.

В кают-компанию вбегает командир. Я впервые вижу его таким растерянным, обескураженным, чего не случалось с ним даже при встрече с неприятельским миноносцем. Он даже не пытается унять своего пса, заставить его замолчать.

Гололобый обрушивается на командира, надрывается, синеть стал, как утопленник.

– Это мерзость!… Под суд отдам!… Всех отдам!…

А Лоцман тоже не уступает – поднял шерсть и готов

впиться в бедра его превосходительства.

Нам и любопытно, кто кого перелает, и в то же время страх берет, чем все это кончится.

Наконец Лоцмана уняли, но не унимается Гололобый.

– Папочка! – обращается к нему дочь. – Папочка! Тебе доктора запретили волноваться.

– Да, да, это верно… Горячиться мне вредно. Но меня псина эта вывела из равновесия…

Гололобый начинает затихать, а дальше и совсем обмяк. У него всегда так выходит: нашумит, нагрохочет, точно пьяный черт по пустым бочкам пройдется, и сразу затихает. В сущности адмирал он безвредный, даже добрый в сравнении с другими.

Приказывает выстроить нас на верхней палубе. Обходит фронт, шутит с каждым, улыбается.

– Ты что, братец, женат? – спрашивает у одного матроса.

– Так точно, ваше превосходительство.

– А это хорошо, хорошо. Вернешься домой, а тут тебя женка ждет.

Другой матрос оказался холостым.

– Вот и отлично! – одобряет Гололобый. – Забот меньше, не будешь тосковать, не будешь беспокоиться, как там супруга пожи вает.

Подходит к Зобову.

– Ты что это, братец, серьезный такой, мрачный?

– С детства это у меня, ваше превосходительство.

– Что же случилось?

– С полатей ночью в квашню упал.

– Значит, ушибся?

Зобов преспокойно сочиняет дальше:

– Никак нет, ваше превосходительство, потому что я в са мое тесто попал. И до утра там провалялся. С той поры и на чалось у меня это – скучище. Мать говорит, что мозги мои прокисли…

Хохочет Гололобый, смеется дочь, улыбаются офицеры и команда. Становится весело.

Доходит очередь до Залейкина. Веснушчатое лицо его строго-серьезное, как у монаха-отшельника, а глаза прыщут смехом.

– Ты чем до службы занимался?

– По медицинской части, ваше превосходительство.

– Как по медицинской?

– При университете в анатомическом театре работал вместе со студентами.

– В качестве кого же?

– А без всякого качества – просто сторожем служил. Подавал трупы, а убирал только куски от них…

Гололобого от смеха даже в пот бросает. Он то и дело снимает фуражку и вытирает платком лысину.

– Ты, значит, знаком с анатомией?

– Так точно, я ее, можно сказать, всю на практике про-

шел, наготомию-то эту самую.

– А в таком случае скажи-ка, братец, почему это я толстый?

Залейкин шевельнул бровями и отчеканил серьезно:

– От ума, ваше превосходительство!

– Это что же значит?

– В голове ум не помещается – в живот перешел…

– Хо-хо-хо! – грохочет Гололобый, точно ломовик по мостовой.

– Молодец! Люблю находчивых матросов! Вот тебе за умныйответ.

Дает Залейкину трехрублевую бумажку.

А когда Гололобый удалился, мы еще долго смеялись, смеялись до слез.А когда заговорили об адмиральской дочери, все стали злыми:пребывание на подводной лодке женщины нам даром не пройдет».

В повести оно даром и не прошло: «Мурена» попадает в беду… А вот по жизни все было наоборот. Именно Люси – Елена, де вушка с «глазами как две спелые вишни», спасла подводную лодку «Минога»…

У командира бригады подводных лодок Балтийского моря контр – адмирала Левицкого росли четыре дочери – одна краше другой. Старшие – на выданье – пользовались большим вниманием офи церов подплава, и галантные кавалеры утверждали, что сестры Левицкие со своими огромными глазами и тонкими талиями украсили бы свиту морского ца-

ря, тем более что папа – подводный ад мирал.

О, эти кавалеры из подплава, ходившие каждый день по краю бездны! Ни один из них так и не стал избранником гордых дев. Ни обедневший потомок екатерининского фаворита старший лейте нант Владимир Потемкин, ни остзейский барон капитан 2-го ранга Вильгельм Нилендер, ни сын командующего Балтийским флотом старший лейтенант Антоний Эссен. Последнего постигла и вовсе горькая участь. Его подлодка запуталась во вражеских сетях, и он застрелился, не дожидаясь смерти от удушья…

За Еленой Левицкой ухаживал пылкий кавказец мичман Гарсоев, командир экспериментальной подводной лодки «Почтовый» – первой в мире с единым двигателем для подводного и надводного хода. Познакомил его с Еленой ее брат – лейтенант Александр Левицкий, учившийся вместе с Гарсоевым в либавском отряде подводников.

Однажды весенним днем 1913 года Гарсоев назначил девушке свидание, в полной уверенности, что он успеет сходить в море на пробное погружение и вернуться к сроку. Подводная лодка «Минога» – его назначили на нее командиром совсем недавно – таила немало сюрпризов для нового экипажа. Гарсоев забрал с «Почтового» всех своих людей – бывалых, сплаванных сверхсрочников. Именно поэтому он был уверен, что старинное морское поверье – «не загадывай в море возвращения» – на сей разего не коснется.

Коснулось, и еще как…

Елена ждала долго. Она еще никому не позволяла так безбожно опаздывать. Девушка давно бы ушла, но сердце подсказывало недоброе… Ее окликнул знакомый офицер, спросил, кого ждет. Узнав, что Гарсоев не вернулся из моря к сроку, забил тревогу.

Работы в порту прекратились, на место последнего погружения «Миноги» – у Либавского маяка – двинулись подъемный кран, киллектор, буксиры с водолазами и офицерами – слушателями Учебного отряда подплава.

Девушка теребила отца: что случилось?! Но контр-адмирал Левицкий и сам толком ничего не знал…

То, что произошло с «Миногой», описано в романе Валентина Пикуля«Моонзунд». Сигнальщик перед погружением засунул флажки под настил мостика и нечаянно попал ими под клапан шахты судовой вентиляции, клапан не смог закрыть до конца довольно широкую воздушную трубу, и через нее, едва мостик «Миноги» ушел под балтийскую волну, в моторный отсек хлынула вода.

ВЫПИСКА ИЗ КНИГИ*: «Палубу уносило стремглав, и душа расставалась с телом. Никто не понимал, что случилось с исправной лодкой. Она падала, падала, падала… Вода вливалась в нее бурно, гремяще. Если звук „щ“ продолжать без конца, усилив его во много раз, то это и будет шум воды, рвущейся внутрь корабля. И вот лодка мягко вздрогнула.*

– Легли, – перевел дыхание боцман.

– Грунт? – спросил командир штурмана. Быстрый взгляд

на карту.

– Вязкий ил…»

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**: «Команда затонувшей лодки по шуму поступающей воды определила, откуда она поступает. Было решено разрубить трубу вентиляции внутри рубки и заглушить ее. Пример показал командир лодки: сняв свой китель, он приказал забить его в трубу. За ним последовали одежда и белье команды. Однако прекратить поступление воды в лодку не удалось. В кормовом трюме набралось много воды; она уже залила главный электродви гатель. Командир приказал команде собраться в кормовую часть лодки, подальше от аккумуляторной батареи, предвидя тяжелые пос ледствия от ее затопления морской водой (образование при этом удушливого газа – хлора – грозило людям гибелью). Команда вела себя очень беспокойно – некоторые предлагали открыть кормовой люк и выброситься из лодки, пока не поздно. Гарсоев объяснил, что в этом случае смогут спастись только один-два человека, а все остальные погибнут; он приказал вести себя спокойнее и ждать помощи извне, которая, безусловно, будет оказана.*

Гарсоев знал, что быстрое покрытие аккумуляторов толстым слоем воды предохранит от большого выделения хлора, который растворяется в воде. Вода уже подходила к верхней кромке цистерн центрального поста и грозила вскоре залить аккумуляторы, поэтому Гарсоевпринял решение продуть воздухом кормовую балластную цистерну. Корма

при этом несколько приподнялась, а вода из кормового трюма быстро перелилась в носовой трюм и залила аккумуляторы. Облегченная корма лодки поднялась настолько, что на поверхности моря стал виден кормовой флаг (в те времена кормовой флаг на лодках при уходе под воду не спускали).

После затопления аккумуляторов свет в лодке погас. Осталась только крошечная пальчиковая лампочка-свеча перед иконой Николая Угодника, который считался покровителем моряков старого флота (такая икона имелась на всех кораблях). Многие из экипажа «Миноги» уже находились в бредовом состоянии и проклинали всех святых на свете…

Когда Гарсоев почувствовал, что теряет сознание, он подозвал боцмана Гордеева, передал ему всю полноту командирской власти и через несколько секунд лишился чувств».

О том, с какими перипетиями шла спасательная операция, увлекательно рассказал в своей книге «Конструкторы подводных кораблей» Юрий Стволинский. Здесь же важно сказать вот что: промедли спасатели еще хоть полчаса – подводникам уж не быть в живых, и Гарсоеву в первую голову; его и так вытащили без признаков жизни. Лицо командира, выбеленное хлором, навсегда осталось мертвенно белым. Девять часов в же лезном гробу, насыщенном углекислотой, парами кислоты и акку муляторным хлором, – это почти за пределами человеческих возможностей. И если бы у милого существа «с глазами как два солнца» не хватило бы терпения прождать эти «лишние» полчаса, о несчастье с «Миногой» в

порту узнали бы не в семь часов вечера, а гораздо позже.

По всем романическим канонам после такой истории спасенный и его спасительница должны были сыграть свадьбу. Но в жизни все вышло иначе. Елена Левицкая стала женой судового врача «Авроры» Н. И. Башкирцева, а Гарсоев до конца дней своих жил один.

После «Миноги» он командовал новейшей подлодкой типа «Барс» – «Львицей». В Красном Флоте Александр Николаевич Гарсоев занимал довольно высокие должности, возрождал Учебный отряд подплава, созданный Щенсновичем и выпестованный Левицким, в 1920 году вместе с Домерщиковым, Гернетом и другими красными военморами создавал морские силы на Азовском и Черном морях. В Военно-морской академии организовал принципиально новую ка федру – тактики подводных лодок.

Аттестация 1928 года, подписанная начальником Военно-Морских Сил РККА Муклевичем: «Исключительно добросовестного отношения к делу. Работает не жалея себя. Огромные знания и феноменальная память. Подводное плавание, как своим сохранением, так и теперь новостройками, обязано А. Н. Гарсоеву весьма многим. Хороший, честный человек, но устал и требует любовного к себе отношения – приходится оберегать».

Однако оберегали его плохо. В 1931 году начальника дивизиона подводных лодок серии «Д» Александра Николаевича Гарсоева арестовали по ложному обвинению. Сидел он

недолго – довольно скоро разобрались и выпустили. Однако и без того подточенное опасной подводной службой здоровье не выдержало, и через год-другой Гарсоева не стало.

Елена Павловна Левицкая-Башкирцева пережила со старшей сестрой блокаду Ленинграда. Мария в голодном сорок втором овдо вела и ослепла, и ее взяла к себе младшая. Вдвоем они коротали свой век в ленинградской коммуналке и умерли с разницей в три месяца в 1979 году.

Такова судьба либавских наяд, дочерей адмирала Левицкого.

Впрочем, перед ним я в долгу. В повести «Взрыв корабля» я обмолвился, что П. П. Левицкий был отстранен от бригады подвод ных лодок за бездарное командование. Теперь, когда открылись новые документы и новые обстоятельства, я беру назад свои слова… Но сначала надо вернуться к повести Новикова-Прибоя «Подвод ники». Пожалуй, это было первое художественное произведение в мировой литературе (а уж в отечественной-то наверняка) о моряках, воюющих в морских глубинах (фантастика не в счет). Дебют начинающего мариниста состоялся весьма заметный. Повесть выписана энергично, красочно, сочно. По манере своей это род лубочной литературы.

Не вижу ничего дурного в этом исконно народном жанре. «Подвод ники» – первоначально рассказ назывался «В царстве Нептуна» – мастерски сработанный матросский лубок, он волнует и трогает любого, как и бесхитростная, ставшая

почти народной песня «Раски нулось море широко…». Я перечитывал «Подводников» много раз и всегда поражался силе той простоты, с которой на писана эта вещь. Положа руку на сердце, признаюсь: в том, что однажды меня властно потянуло на подводный флот, виноват отчасти и автор злоключений «Мурены».

Алексей Силыч на подводных лодках не служил, но в 1921 году отправился в Кронштадт с намерением изучить и описать мало кому известную жизнь моряков «потайных судов». Контр-адмирала Левицкого он никогда не видел и о том, что тот приводил дочь на подводную лодку, знал лишь по рассказам очевидцев. Жанр лубка и дух пореволюционных годов требовали карикатурного образа царского адмирала. Так в повести появился Гололобый – дородный, самодурственный, хотя и безобидный, вельможа. Портрет его был списан, скорее всего, с контр-адмирала Вердеревского, который сменил Левицкого в 1915 году. Тот был и тучен, и лыс, хотя это и не мешало ему быть великолепным знатоком подводного дела. Левицкий носил волосы бобриком и отличался худощавой, подтянутой фигурой.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Павел Павлович Левицкий родился в 1859 году в семье доброго моряка, тоже Павла Павловича, командира пароходофрегата «Смелый», оставившего свое имя на морской карте – одна из банок Балтийского моря в Або-Аландских шхерах названа* в *честь участника гидрографических работ капитан-лейтенанта Левицко-*

го. Когда Павел учился в Морском корпусе, отец был произведен в генерал-майоры по Адмиралтейству. Юный гардемарин гордился не только отцом, но и дедом, Павлом Григорьевичем Левицким, человеком судьбы незаурядной. По настоянию своего брата, знаменитого художника Дмитрия Левицкого, тихий семинарист оставил духовное поприще, стал военным инженером. В чине инженер-генерала он возглавлял работы по строительству Ревельского морского порта.

Мичман – будущий адмирал-подводник – не посрамил своих предков. Имя его поминается в доброй дюжине книг, начиная от фундаментальной «Боевой летописи русского флота» (где оно, к сожалению, помещено с искаженными инициалами), кончая популярными брошюрами по истории подводного плавания. Павел Павлович Левицкий вошел в историю флота и как командир крейсера «Жемчуг», ходившего в Цусиму, и как крупный организатор подводного плавания в России.

Правда, в Цусиме крейсерский отряд – «Аврора», «Олег», «Жемчуг» – особых лавров не снискал. Но о Левицком говорили и писали только хорошее. Так, в Маниле, где стояли интернированные крейсера, в кают-компании «Авроры» под его председательством офицеры отряда довольно откровенно обсуждали и анализировали причины поражения. Результатом этих событий стал обобщенный лейтенантом Г. Старком доклад «Каким быть флоту», отправленный Энквистом в Главный морской штаб.

Во время владивостокских волнений в 1906 году командир «Жемчуга» ни в чем не запятнал своей чести.

Через год капитан 1-го ранга Левицкий со всем своим многочислен ным семейством – четыре дочери и три сына – пустился в дальний путь через всю Россию: из Владивостока в Либаву. Ему доверили продолжать дело Щенсновича – центр нарождающегося подводного плавания – Учебный отряд. Новой службе он отдался с энтузиазмом, редко окрыляющим пятидесятилетних людей. Вместе с ним учился новому делу, а потом обучал и других его старший сын – лейтенант Александр Левицкий. Он внес важное техническое усовершенствование в конструкцию торпед, которое позволяло им сохранять непроницаемость на больших глубинах. Известны и другие его изобретения.

В 1913 году Левицкий испортил свои отношения с морским министром, что сказалось на его карьере. Речь шла об изобретении мичманом М. Никольским так называемого единого двигателя для подводных лодок, работавшего на жидком кислороде. При всех его конструктивных несовершенствах он давал огромные преимущества по сравнению с громоздкой и сложной системой электродвижения. Левицкий сумел оценить перспективное новшество и, защищая молодого изобретателя от нападок Главного управления кораблестро ения, привлек на свою сторону корифея инженерной мысли Александра Николаевича Крылова. Совместными усилиями они убедили морского министра И.К. Григоро-

вича снять свою отрицательную резолюцию и оснастить новым двигателем списанную подводную лодку «Почтовый», на которой лейтенант Гарсоев совершал свои отчаянные испытательские походы.

Скорее всего, именно эта история вкупе с безрезультатными действиями балтийских подводников в первый год войны и послужили причиной удаления Левицкого в тыл. Григорович велел ему сдать бригаду и ехать в Ревель для наблюдения за постройкой новых подлодок…

Замечательный флотский прогрессист – командующий Балтийским флотом адмирал Николай Оттович Эссен издал по случаю ухода Левицкого прощальный приказ:

«С 1907 года, сначала в чине капитана 1-го ранга, а затем – Контр-Адмиралом, Павел Павлович Левицкий стоял во главе подводного плавания в Балтийском флоте. Это время как раз совпало с нарождением новых идей в подводном плавании, как в области минного дела, так и в судостроении. Ему пришлось принять самое деятельное участие в разработке программ подводного судострое ния, под его же руководством шло обучение личного состава подвод ного плавания для той боевой работы, которую ему приходится нести теперь.

Всегда ценя работу Контр-Адмирала Павла Павловича Левицкого, теперь, расставаясь с ним, я приношу ему от себя лично и от лица службы благодарность за понесенные им труды и желаю ему успеха в его дальнейшейслужбе. Уверен,

что его деятельность всегда будет направлена на пользу флота и любимого им подвод ного плавания.

Адмирал фон Эссен».

Февральскую революцию Левицкий встретил в Ревеле. Для него она началась с безобразного инцидента. В коменданта Ревельского порта вице-адмирала Герасимова запустили на городском митинге камнем, старику попали в лицо, выбили глаз. Левицкий вернулся домой в полном смятении…

Он гордился своим честно выслуженным адмиральством. В день, когда был объявлен долгожданный приказ, он вошел к обеду в столовую, где его поджидали многочисленные домочадцы, пригла живая, как всегда, серебристый бобрик на голове, но рук при этом не опускал, а когда опустил, все ахнули: на плечах его сияло широкое золото новеньких контр-адмиральских погон. В его тревожном блеске пересверкивало пламя Цусимы, пожары Владивостока, грядущих войн и революций.

От Октября Левицкий не ждал для своей семьи ничего хорошего. Оставшись не у дел, он увез в спокойный до поры Крым Марию Васильевну, младших дочерей Веру и Наденьку (старшие оставались при мужьях), маленького Колю.

В Севастополе жила дочь Елена; муж ее, Николай Иванович Башкирцев, служил в Морском госпитале. У них и остановились. Но вскоре занялся в огне гражданской и Крым. Питомцы Левицкого по Учебному отряду подплава – их бы-

ло немало в Севастополе – предложили стареющему адмиралу синекуру: должность коменданта Ялтинского порта. Что было дальше – описано Булгаковым в «Беге»: лихорадочная погрузка на битком набитые пароходы, густые дымы, никнувшие к осеннему морю, узкая щель Босфора, минареты Стамбула, трущобы Галаты и три неотступных эмигрантских ВВВ – вши, валюта, визы. Из Турции Левицкие перебрались в Грецию, где тамошний король затеял строительство собственного подводного флота и потому охотно выдавал визы русским офицерам-под водникам.

От пережитых невзгод занемогла и вскоре умерла Мария Васильевна. Похоронив жену в Пирее, 65-летний адмирал с тремя детьми на руках почел за благо вернуться в Ревель, ставший назы ваться к тому времени Таллинном. Их былая квартира во втором этаже домика близ Кадриорга оказалась заселена. Удалось найти пристанище в пригородном поселке Ныме.

В Эстонии бросили свой эмигрантский якорь немало бывших офицеров российского флота. Немногие из них – то были счастлив чики чаще всего из остзейских баронов – служили в миниатюрном эстонском флоте (мичман Фест и пр.); другие, как бывший командир эсминца «Спартак» лейтенант Николай Павлинов, зарабатывали на хлеб насущный линейными электромонтерами, третьи, их тоже можно причислить к редким удачникам, вроде лейтенанта Сергея Гернета (прадед его когда-то вручал ключи от Ревеля Петру Первому),

удачно женились на состоятельных эстонках, открыли магазины модного платья или кафе… Но как бы кто ни устроил свою судьбу, редко кто из них забывал, что он питомец Морского корпуса. Память о гардемаринской юности, о флоте, о Родине объединяла их во всевозможные сообщества, кружки, кают-компании. Главой тал линнской кают-компании бывших русских моряков офицеры-эмигран ты избрали Левицкого. «Олежец» и «богатырец» капитан 1-го ранга Сигизмунд Политовский был у него заместителем, вел финансовые дела кассы взаимопомощи. В 1930 году Левицкий – чисто симво лически, за 50-летнюю офицерскую выслугу и в знак былых его деяний, – удостоили чина вице-адмирала. Он умер в роковом для многих его сотоварищей, оставшихся по ту сторону кордона, 1937 году. Младший сын Николай, таллиннский таксист, и обе повзрослевшие дочери похоронили отца на фамильном участке Александро-Невского кладбища, где покоился прах его деда – инженер-генерала Павла Григорьевича Левицкого, главного строителя Ревельского порта; брат-художник увековечил его на прекрасном портрете.

В 1941 году авиабомба выбросила из земли гроб с останками адмирала и развеяла их по ветру. А в 1988 году местные экстремисты разрушили старинное мраморное надгробие П. Г. Левицкого. Бесследно исчез и его знаменитый портрет, хорошо известный по многочисленным репродукциям. Последний раз подлинник видели в 1902 году в петербург-

ском собрании барона де Риделя.

Меч революции рассек большую семью Левицких надвое: старшие сестры («наяды») и один из братьев – Павел – остались жить в Ленинграде. Судьба некогда блестящего минера лейтенанта Александра Левицкого сложилась печально. В буржуазном Таллинне ему пришлось зарабатывать на жизнь варкой сапожной ваксы.С приходом советских войск в Эстонию он был репрессирован и сгинул.

Мичман Павел Левицкий, участник Ледового перехода, сумел устроить свою жизнь куда более удачно. Долгие годы он служилсдаточным капитаном на Петрозаводе, где контролировал постройку спасательных судов для ЭПРОНа Михаил Михайлович Домерщиков. Наверняка им было о чем поговорить, сыну командира «Жемчуга» и бывшему ревизору этого корабля… Они умерли водин и тот же ледяной год – Домерщиков и Павел Павлович Левицкий-младший – в сорок второй…

Что сталось с Верой, Надей и Николаем Левицкими – никому не известно.

СУДЬБА КОРАБЛЯ. *С началом войны легкий крейсер «Жемчуг» под командованием капитана 2-го ранга барона И. А. Черкасова ушел в южные моря Тихого океана для боевых действий в составе англий ской эскадры. После поиска немецких пароходов, снабжавших углем германские рейдеры, «Жемчуг» вошел в малайский порт Пенанг и встал на якорь. Команда приступила к щелочению котлов и пере борке меха-*

низмов, а командир съехал на берег, где его ждала жена, молодая экспансивная особа, следовавшая за мужем из страны в страну. Черкасов посылал ей телеграммы с указанием порта, где они смогут увидеться, и отважная женщина добиралась туда рейсо выми судами. Потом возникла легенда, будто бы германские агенты следили за ней и после очередной депеши мужа вызнали, что «Жемчуг» пойдет в Пенанг. Так это или не так, но только 28 октября 1914 года германский рейдер «Эмден», поставив четвертую – фаль шивую – трубу, чтобы быть похожим на английский крейсер, вошел на рассвете в гавань Пенанга, подкрался к «Жемчугу» и с дистанции кинжального удара выпустил из бортового аппарата торпеду, затем вторую. На крейсере сдетонировал носовой патронный погреб, и через считанные минуты он затонул. Погибло восемьдесят два человека, сто пятнадцать было ранено.

Барон Черкасов за беспечность и оставление корабля был раз жалован в матросы.

На братской могиле русских моряков в Пенанге Министерство обороны СССР поставило в 1972 году новый памятник взамен об ветшавшего.

Ленинград. 25 ноября 1988 года

Вот уж и во сне не приснилось бы, что свой день рождения я отмечу вдвоем с… внуком адмирала Левицкого!

Я приехал в Ленинград утром, рассчитывая, что улечу в тот же день вечерним самолетом в Москву и поспею к име-

нинному столу.

Я гонялся за очередным «летучим голландцем» книжного моря, надеялся, как всегда, на Центральную военно-морскую библиотеку – на ее библиографов и ее каталоги. «Летучим голландцем» на сей раз был третий том монографии профессора Г. Н. Четверухина «История развития корабельной береговой артиллерии», выпущенный Военмориздатом в 1942 году. Нужен этот третий, завершающий, том позарез, а в Ленинской библиотеке он не значился… Впрочем, как вскоре выяснилось, и в каталогах ЦВМБ тоже. Знающие люди посоветовали справиться о загадочном третьем томе у сына профессора – Кирилла Георгиевича Четверухина – и снабдили адресом.

Едва я оказался в улицах, где когда-то квартировался Измайловский полк, как забрезжила надежда, что нынче мне обязательно повезет. Должна же фортуна расщедриться на подарок ко дню рождения! К тому же дом Четверухина стоял на берегу Фонтанки, где по ту сторону Египетского моста жил сын младшего штурмана «Орла» Андрей Леонидович Ларионов и где мне так посчастли вилось с точно такой же неуловимой книгой его отца.

В ночном заснеженном дворе я поспешно отыскал низенькую, обитую крашеной жестью дверь некогда «черной», а теперь главной лестницы. За годы странствий по ленинградским адресам я многого навидался в подъездах и квартирах ветшающего Питера. Но такого запустения, такой убогости

я не ожидал вовсе. Дом, не ведавший капремонта с начала века, держался лишь на доброй совести воз ведших его мастеров. Знаменитая балтийская сырость изъела его стены, краска свисала с них нищенскими лохмотьями. Густой кошачий дух, стоявший в подъезде, отнюдь не отпугивал крыс от ведер для сбора пищевых отходов. Дребезжащая кабинка разболтанного лифта подняла меня на полутемный этаж, и я, чиркнув газовой зажигалкой, отыскал дверной номерок квартиры Четверухина. Открыл мне очень пожилой человек, стоявший на полукостылях, – Кирилл Георгиевич. Не берусь описывать его более чем скромную комнату. Неуют инвалидского одиночества сквозил из каждого угла. Недосожженная в блокаду мебель – старой изящной работы – доживала свой трудный век вместе с хозяином. Вещей здесь было так мало, что всякому входящему сразу бросались в глаза три большие фотографии в рамках из красного дерева, висевшие над столом. Три корабля и над каждым маленький портретик: крейсер «Жемчуг» и его командир кавторанг П. П. Левицкий (1905 год), линкор «Полтава» и его старший артиллерист старший лейтенант Г. Н. Четве рухин (1916 год), линкор «Марат» и молодой моряк, в лице которого угадывались черты хозяина дома (1937 год). Три поколения, три войны, три судьбы. Дед, отец, внук…

– На линкоре «Марат», бывшем «Петропавловске», я проходил практику как студент Ленинградского кораблестроительного инсти тута, – начал Кирилл Георгиевич. – Однажды

на палубе линкора меня окликнули по фамилии. Мимо проходил контр-адмирал Самойлов. Он пригласил меня в салон и сказал, что очень рад видеть сына своего бывшего командира и наставника. Константин Иванович Самойлов служил в первую мировую на «Полтаве» младшим артиллеристом и считал моего отца своим учителем. В гражданскую войну Самойлов командовал канонерской лодкой «Ардаган» на Каспии… В сорок первом он был начальником военно-морских учебных заведений. Осенью, в шторм, на Ладоге разломилась баржа с эвакуируемыми курсантами. Погибли люди. Самойлова судили и расстреляли…

Так начался удивительный сказ о судьбах моряков старого флота, который заставил меня забыть о возвращении в Москву, о накрытом дома столе. Впрочем, стол мы накрыли и здесь, на холостяцкой кухне, и пили чай из стаканов в старомодных корабельных подстаканниках, тяжелых, чтобы не ерзали по столу в качку…

Кирилл Четверухин окончил аспирантуру и работал в Центральном научно-исследовательском институте кораблестроения имени А. Н. Крылова, когда началась война. Он нес дежурство в отряде МПВО. Рядом разорвалась авиабомба. Тяжелейшее ранение головы, перелом позвоночника… Как он выжил в тот чудовищный зимний голод, немощный, бездвижный?…

В тридцать лет – инвалид II группы, без костылей ни шагу. Он забывал о них только за чертежом, распластанным на

кульмане. По суше он передвигался с трудом, зато его катера, сначала тор педные, потом ракетные, неслись по морю, обгоняя все, что резало волны. За труд конструктора, за человеческое мужество – один надцать правительственных наград, орден Трудового Красного Знамени.

Что помогло выстоять? Для себя я нашел ответ на этот ба нальный вопрос; он заключен в трех рамках из красного дерева: «Жемчуг», «Полтава», «Марат»… Дух человеческий, как и кровь, передается донорами. Он никогда не забывал, что он внук адмирала Левицкого, сын адмирала Четверухина. Он растворил свою скорбную личную жизнь в славном морском прошлом отца и деда. Он жил их походами и боями, общением с их однокашниками, друзьями, соратниками. В его памяти – поразительной глубины и ясности – стоял, словно град Китеж в озере, русский флот в кораблях и лицах. В развалюшном кресле с одним подлокотником передо мной сидел оракул балтийских моряков, их семей, кораблей, кают-компа ний… Почти все, о чем поведано в этой главе, – дар удивительной памяти этого человека и неизданных мемуаров его отца.

Ему дала жизнь старшая дочь адмирала Левицкого – Мария Павловна, та самая, чьей руки добивался несчастный мичман Тучков. Спустя год после гибели «Камбалы» она стала женой небогатого и неродовитого мичмана Четверухина. С ним неразлучно кочевала по военно-морским базам – вслед за кораблем мужа: Либава, Гель сингфорс, Петро-

град, Севастополь… В Севастополе бывший старший артиллерист «Полтавы», участник Ледового перехода, возглавлял береговую артиллерию Черноморского флота, носил нашивки командира РККФ II категории, что соответствовало званию контр-адмирала. Речь, разумеется, не о чинах, а о том, что Георгий Николаевич принимал самое деятельное участие в создании двух подземных крепостей Севастополя, его «парадных» морских ворот, – 30-й и 35-й береговых батарей.

В 1930-м, неожиданно для всех и для него самого, Четверухина арестовали. Лубянка. Трибунал. Десять лет. Лагерь в Кеми. Болезнь сердца, лазарет. В лазарете за ним присматривала сестра-хозяйка, дочь бывшего морского министра И. К. Григоровича, вдова вице-адмирала Карцева, последнего директора Морского корпуса. Ей не куда было деться, и она доживала свой век в Кемьлаге…

Через год, опять же неожиданно для всех и для него самого, Четверухина освободили и отправили в распоряжение Коморси – командующего Морскими Силами Республики. (В 1936 году ВЦИК снял судимость, а через тридцать три года Военная коллегия Верховного Суда СССР уже полностью реабилитирует Г. Н. Четверухина посмертно.)

Последние годы жизни Георгий Николаевич преподавал в ЛЭТИ – Ленинградском электротехническом, был деканом приборо строительного факультета. По вечерам писал главный труд своей жизни – трехтомную монографию по истории береговой артил лерии.

– Когда он умер? – спросил я, уже предчувствуя навязчивую черную дату.

– Он умер в сорок втором… – вздохнул Кирилл Георгиевич. – От острой сердечной недостаточности. Мы свезли его на Волково кладбище, предали земле. Каково же было наше горе и отча яние, когда, придя через несколько дней на могилу, мы увидели, что в ней похоронен кто-то другой, а труп отца вырыли и бро сили неподалеку в общую кучу… На наше счастье, поблизости работали саперы. Мы упросили их взорвать мерзлую землю то лом. Они это сделали, и мы опустили отца в яму на Квистовой дорожке…

Мама ослепла в блокаду. После войны ей назначили пенсию, но очень маленькую. У отца на советском флоте выслуга из-за ареста получилась небольшая, по гражданской линии он тоже не успел набрать положенный стаж. Правда, адмирал флота Иван Степанович Исаков возбудил ходатайство о присвоении вдове Четверухина персональной пенсии областного значения, но дело так ничем и не кончилось.

Первый том монографии вышел при жизни отца. Второй он видел только в гранках перед самой смертью. А третий… Третий так и не издан. Он лежит у меня в рукописи.

За стеной терзали пианино. Кто-то настырно долбил одним пальцем, подпевая:

Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке воду пил…

Я вышел на набережную Фонтанки поздно, за полночь. Светофоробливал лицо предмостного сфинкса алым светом.

По ту сторону не спал, как и Четверухин, корпел над чертежами старинных па русников Андрей Леонидович Ларионов. Судьбы их отцов, судьбы книг, написанных их отцами, были столь же похожими, как оба берега Фонтанки, на которых жили их благодарные сыновья.

Севастополь. Июнь 1988 года

За красными черепичными крышами, за серыми, как парусина, стенами, за бурыми, выжженными солнцем взгорьями, за рафинадно-белыми фортами – синело, голубело, зеленело севастопольское море. В его недальней дали сквозь дымку моря и марево города едва проступали призрачно-голубоватые силуэты кораблей.

Вот такой вид открывался с вершины косогора коммунхозовского кладбища № 3, куда я взобрался, чтобы высмотреть в густых зарослях рубку злосчастной «Камбалы». Ведь это был единственный в стране памятник первым русским подводникам, а значит, и всем тем героям этой хроники, что остались без могил и без надгробий: Ризничу, Домерщикову, Беклемишеву, Щенсновичу, Левицкому…

Я проискал в заросшем лабиринте перископ с мраморным ан гелом битый час. Бабка-сторожиха не знала ровным счетом ничего; куда и по какой тропе идти, не подскажут ни указатели, ни план, их не было здесь от века. Я продирался сквозь колючие кусты наугад мимо гостеприимно распахнутых – с гражданской еще – фамильных склепов, мимо расколотых мраморных плит, поверженных крестов, буйно порос-

ших жесткими крымскими травами. Могилы моряков были отмечены якорями и цепями, висящими на артилле рийских снарядах. Якорей этих громоздилось здесь не меньше, чем в ином порту, а снарядов – чем в ином арсенале.

Я обнаружил могилу капитана 1-го ранга Голикова, командира броненосца «Потемкин», унтер-офицера Олиференко, рулевого с подводной лодки «Карась», мичмана Верещагина с канонерки «Ку банец»… А перископ «Камбалы» все не попадался. Густая зелень скрывала его столь же невидимо, как когда-то морская глу бина…

Вообще-то это было довольно светлое, солнечное, жизнерадостное кладбище. Оно походило на руины древнего города где-нибудь в южноамериканской сельве или индокитайских джунглях. Здесь охотно уединялись влюбленные парочки и любители разлить на троих без свидетелей. Тоску наводили лишь многочисленные следы молодых вандалов, сокрушавших тут все и вся: саркофаги, ажурный чугун решеток, урны, склепы, кресты, плиты…

Я уж собрался было уходить, как вдруг, выйдя на южную сторону, поймал на себе угрюмый взгляд шести насупленных под броневыми приливами смотровых щелей, прорезанных в толстой стали рубки. Темно-зеленые туи, росшие по сторонам, вздымались выше поднятого перископа. Мраморный ангел был давно отбит, но боевой металл подводного корабля устоял под ударами варваров. Более того, он был заботливо выкрашен в светло-серый – шаровой – цвет, а якорь

у подножия посверкивал новеньким лаком. На одной из его лап лежал букетик лаванды. И я знал, чьи руки привели в порядок этот уникальный памятник.

Это сделал Вячеслав Зенцов, бывший офицер флота, а ныне капитан катера «Эколог», ходившего под флагом Академии наук СССР; он и его друзья по клубу любителей истории города выгребли из рубки полцентнера винных пробок, заварили входной люк, чтобы местные выпивохи не оскверняли могилу, положили новый якорь…

Две волны схлестнулись над рубкой старой субмарины – волна забвения и волна памяти.

Глава седьмая
ЛЬДЫ И ЗВЕЗДЫ КАПИТАНА ГЕРНЕТА

Ленинград. 1988 год

«В семь утра восьмого августа тысяча девятьсот сорок третьего года в степном Казахстане умер счетовод павлодарского колхоза «Спартак»…»

Стол дрогнул, и чай в моем стакане заходил кругами. Это тремя этажами ниже заработали мощные печатные машины…

Я жил в «комнатах для приезжих», что устроены в ленинградском корпункте «Правды» над местной типографией. Часа за два до полуночи начинали печатать центральные газеты, и тогда пол, стены, стол мерно вздрагивали и «комнаты для приезжих» напо минали каюты вблизи корабельных машин.

Я перечитал первую строчку своего очерка, и мне вдруг захотелось бежать с этим листком в типографию, сунуть его выпускающему и сказать ему: «Остановите ротацию! Это нужно в номер. Это очень важно! Восьмого августа тысяча девятьсот сорок третьего года в степном Казахстане умер счетовод павлодарского колхоза «Спар так»…»

Чернорецк. 1943 год

Его отнесли к той баньке-мазанке, где он жил последний год своей жизни. Тело накрыли серым брезентовым плащом. Пожитки покойного счетовода, сложенные в черную фуражку, сдали председателю колхоза, чтобы тот переслал их родственникам, если таковые объявятся.

Опись счетоводова имущества, сделанная милиционером из Краснокутска, уместилась на бумажной четвертушке:

«1. Портсигар серебряный с надписью «Командиру – Человеку».

2. Стаканчик для бритья, алюминиевый.

3. Книга «Небесная механика» М. Ф. Субботина.

4. XXIII том Полного собрания сочинений В. И. Ленина».

В эту опись не было занесено самое главное – звездное небо, ибо оно тоже принадлежало счетоводу на правах совершенно особых…

О новом счетоводе ходил по селу странный, то есть не то что странный – невероятный, кощунственный слух, пущенный не иначе старухами, веровавшими в беглых царей, вроде Александра Первого, который вовсе не почил в бозе при загадочных обстоятельствах в Таганроге, а на самом деле, как уверяли сведущие люди, тайно ушел в скит. Только безгодовые старухи, чего только не державшие в своей старорежимной памяти, могли придумать такое: будто новый счетовод есть не кто иной, как вождь мирового пролетариата Влади мир Ильич Ленин, тайно покинувший Москву из-за разногласий с новыми вождями и скрывавшийся в глубинах зна-

комой ему по енисейской ссылке Сибири. Поводов к таким толкам набиралось по меньшей мере три. Во-первых, счетовод разительно походил на Ильича: бородка, усы, мощный голый купол черепа, непременный узел галстука при воротничке, подколотом булавками… Во-вторых, счетовод отличался праведным образом жизни, знал языки, много читал и даже что-то пописывал. В-третьих, он не расставался с томиком Ленина из Полного собрания сочинений…

Теперь этот томик, с цифрой XXIII на корешке, лежал под фуражкой счетовода, и председатель, до которого тоже дошли пре странные пересуды, не без любопытства перелистал книгу. Из нее выпал старый фотокартон: молодой черноусый морской офицер в стоячем белом воротничке, обхваченном галстуком. На обороте паспарту председатель, нацепив очки, с трудом разобрал тусклую карандашную надпись: «Порт-Артур. 1904 г.».

– Вона что, – сказал себе председатель. – Из бывших… Однако понятно, каким ветром в наши края занесло… Евгений Сергеевич Гернет… Из немцев, што ль?…

«Нет, товарищ председатель, – отвечу я из своего временного далека, – не из немцев. Из шведов. Прадед вашего бывшего сче товода, комендант Ревеля, вручал Петру Первому ключи от города. В Таллинне на улице Усе еще и сейчас стоит старинный особнячок, известный среди краеведов как «дом Гернета».

…Счетовода хоронили поздним вечером, когда над сте-

пью высоко и купно, как над океаном, стояли обе Медведицы, Дракон, Воло пас, Возничий и Лира… Созвездия лета 1943 года… Их мерцающие иероглифы теперь четко складывались в последние знаки судьбы, которые так и не смог прочитать там, в Порт-Артуре, китаец-звездо чет, взявшийся предсказать блестящему мичману его будущность.

Тело счетовода, завернутое в брезентовый плащ, везли на арбе. Лошадку, тянувшую повозку, вел под уздцы старый уйгур, бритого ловый, щелоглазый, очень похожий на китайского прорицателя из Порт-Артура. А может быть, это и был он? Кто знает этих восточных мудрецов? Что стоило ему, ученику тибетских магов, перенестись на каких-то жалких десять тысяч ли, чтобы убедиться в своей непостижимой ошибке – ведь звезды обещали так много! Могли ли предречь они юному морскому офицеру, бесстрашному к тому ж и удачливому, познавшему законы движения светил и умевшему править по ним свой путь в океане, столь жалкий исход: сначала сторож в туберкулезной больнице, потом колхозный счетовод в степной глуши? Или в точный ход планет вмешались неодолимые силы?

Звезды хоронили счетовода… Вся хроника его не бог весть какой долгой жизни сияла над степью. Читай!

Если историю сельского счетовода, точнее, эпилог его жизни, пересказать языком мифа, притчи, легенды, то звучать он будет примерно так…

…Жил-был на заре нашего века боевой, отважный мо-

ряк. Играл со смертью в Порт-Артуре, дерзил фортуне со столь отчаянной смелостью, что богиня судьбы неизменно ему улыбалась.

Капитан любил не только море, но и звездное небо над ним, но и землю под звездным куполом. Суровую землю Севера, ско ванную вечной мерзлотой и панцирями ледников. Капитан верил, что эту землю можно оживить, сделать краем лесов – обильных, благодатных, щедрых, как в древние времена миоцена. Он был великим мечтателем и романтиком. Он предлагал растопить вер шины гренланд ских ледников, после чего льдообразование на пла нете пошло бы на спад и в зоне вечной мерзлоты воцарился бы климат тропиков. Эта дерзкая идея взбудоражила умы многих современников. Среди тех, кого она покорила, были и люди, знав шие толк в мечтах и фантазиях: Константин Паустовский, Максим Горький…

Книга о льдах, написанная Капитаном, на добрых полвека опередила тогдашнюю науку о льдах. Его теории – догадки гени ального дилетанта – и поныне питают мысль ученых…

Пока Капитан искал пути спасения планеты от повторного нашествия ледников, в его стране произошло великое оледенение общественной жизни. Айсберги властолюбия, чиновного раболепия, клеветы, косности и прочих зол вторглись в судьбы народа, и вместе с миллионами несчастных Капитан оказался в царстве холода, лютых морозов и вечной мерзлоты. Эту злую шутку фортуна сыграла с Капитаном как бы в

отместку за те удачи, которые он сумел вырвать когда-то из ее цепких рук…

У Капитана были две дочери. Старшую сгубила стужа ленинград ской блокады: истощенное голодом тело обратилось в ненавистный Капитану лед. То была великая месть ледников…

Младшая дочь освоила звездное ремесло от Капитана, штурмана, навигатора. Она стала звездочетом, и там, в вымирающем от голода и стужи городе, она внимала холодному блеску светил и на трескучем арифмометре переводила их вечное небесное движение в столбцы цифр, которые нужны были штурманам боевых кораблей и артил леристам. По этим цифрам определяли свои координаты подводные лодки. Эти цифры вливались в расчеты баллистических трасс тя желых снарядов, и они метко разили врага.

Она вымолила у звезд смягчение судьбы отца!

В середине войны Капитану, ставшему в ссылке сельским счето водом, разрешили приехать в тихий тыловой город, куда перебралась младшая и теперь единственная дочь. И когда Капитан купил билет в город, где ждала его дочь – последняя частица пожранной войной семьи, когда он спрятал на груди этот самый счастливый в его жизни клочок бумаги, сердце его не выдержало – разор валось…

Могила отважного Капитана, дерзкого мечтателя, скромного счетовода, сгинула в бескрайних, как море, степях Казахстана.

Вот так, разве что куда более поэтично и трагедийно, могла быть изложена история капитана Гернета, если ее записать как легенду. Но я должен пересказать ее языком фактов и доку ментов.

Факт первый. «Боевая летопись русского флота»: «3 августа 1904 г. Прорыв мичманом Гернетом на парусной джонке блокады и переход его из Порт-Артура в Чифу для доставки донесений контр-адмирала Витгефта наместнику на Дальнем Востоке адмиралу Алексееву».

Так спустя пять лет после смерти счетовода колхоза «Спартак» имя его было занесено в хронику важнейших событий военной истории русского флота с IX века по 1917 год, изданную Институтом истории АН СССР.

Что стоит за этой строкой?

Порт-Артур. 1904 год

Порт-Артур, осажденный японцами, задыхался без связи с внешним миром. Самый быстроходный миноносец эскадры – «Лейте нант Бураков» (мичман Гернет служил на нем штурманом) – не раз и не два прорывал морскую блокаду и доставлял в китайский порт Инкоу, имевший прямую связь со штабом наместника, секретные депеши. Однажды японские корабли подкараулили дерзкий мино носец и всадили в него торпеду. Она попала в машинное отделение и едва не переломила корабль. «Лейтенант Бураков» чудом выбро сился на мель. 17 июля 1904 года, едва только японцы попытались приблизиться к миноносцу, его команда взорвала

корабль. Так Порт-Артур лишился последней нити, которая связывала его с Большой землей. Восстановить ее взялся 22-летний мичман Гернет. Он взялся доставить секретные документы на китайской джонке в одиночку. Это было равносильно самоубийству: сто миль сквозь линии морских дозоров на утлом суденышке… Гернет не раз участвовал в парусных гонках по Финскому заливу на приз главного командира Кронштадтского порта адмирала Макарова. В этой же ночной гонке призом была сама жизнь. В случае удачи японцы, не церемонясь, могли расправиться с отчаянным курьером как с обыкновенным шпионом.

Бывший военный штурман Василий Галенко, живущий в Звениго роде, много лет собирал сведения о жизни Гернета, а потом напи сал повесть о трех подвигах этого незаурядного моряка – боевом, революционном и научном. Он составил жизнеописание Гернета картографически точно, с хронологическими привязками, ссылками на архивные документы. Его повести можно доверять как хорошей лоции.

Итак, факт второй. Из примечаний к XXIII тому сочинений В. И. Ленина (3-е издание), где говорится о постановлении матрос ского делегатского собрания «идти в Новороссийск, избрав вместо Саблина командующего флотом Гернета».

О, как много и за этой строкой из ленинского тома…

Севастополь лета 1918 года. Решается судьба Черноморского флота: уйти в Новороссийск или ждать прихода немец-

ких войск в надежде, что они не тронут корабли, столь досаждавшие кайзеру на Черном море. Ленин и Троцкий, опираясь на мнение коллегии Морского комиссариата, требуют перехода флота в Новороссийск. Команду ющий флотом контр-адмирал Саблин медлит, тянет и, в конце концов, решает оставить флот в Севастополе, прикрыв его от немцев желто-голубым флагом украинской Центральной рады.

На кораблях закипели страсти.

«В 22 часа состоялось оперативное совещание командиров всех кораблей и делегатов от команд, решивших покинуть Се вастополь, – пишет в своей повести В. Галенко. – На эсминце «Пронзительный» в кают-компании не продохнуть. На большом обеденном столе – план перехода. Гернет (капитан 2-го ранга, коман дир эсминца «Калиакрия») в своем выступлении огласил порядок выхода, порядок построения в походный ордер, меры по обороне на переходе. Совещание единогласно утвердило Гернета команду ющим отрядом и флагманом перехода. Его заместителем был назначен преданный советской власти командир эсминца «Керчь» В. Кукель.

Гернет увел из Севастополя под красным флагом 14 эсминцев, вспомогательный крейсер, 10 катеров-истребителей и 8 транспортов. На следующий день контр-адмирал Саблин вынужден был повторить маршрут Гернета и провести к отряду независимого кавторанга два линкора и эсминец «Дерзкий».

Факт третий. «В целях объединения военно-морской власти на Азовском море, – писал представитель старейшего морского рода капитан 1-го ранга Г. А. Бутаков дочери Капитана, – Е. С. Гернет был назначен в 1920 году командующим Азовской военной флотилией».

Там, в Мариуполе, щедрая на встречи с людьми пламенных душ судьба Гернета свела его с будущим писателем и бывшим гардемарином Морского корпуса Сергеем Колбасьевым. Колбасьев командовал во флотилии 2-м дивизионом канонерских лодок. Набумаге эти слова звучат довольно грозно: флотилия, дивизион. Что это было на самом деле, Колбасьев поведал в своих велико лепных рассказах.

РУКОЮ ПИСАТЕЛЯ. *«Строить морскую силу не просто. Не просто, даже когда есть люди и пушки, хорошие корабли и времени сколько угодно. А еще трудней, когда людей не хватает, корабли не корабли, а одна смехота, а времени вовсе нет, потому что противник владеет морем и на падает, когда захочет…*

Флотилия действительно строилась.

Землеотвозные шаланды «Буденный», «Красная звезда» и «Свобо да» превращались в канонерские лодки. У них были открывающееся днище и вода в люках по ватерлинию. Поверх воды укладывали дощатые настилы, а на них устраивали жилые помещения и артил лерийские погреба. Тяжелые орудия устанавливали на невероятной системе стальных креплений».

И еще – на всю флотилию был один компас. Тем не ме нее красные азовцы под флагом Гернета выходили в море и по беждали.

Дочь Колбасьева, тоже Галина – в переплетшихся судьбах этих людей было так много общего, от имен дочерей до ор-деров на арест, – писала о командире своего отца, а потом о друге их семьи так: «Гернет был не только выдающимся командиром, но и талантли вым инженером. Чтобы создать флотилию из дырявых, еле дер жавшихся на воде посудин да еще успешно воевать с сильным врагом, нужно было быть человеком дерзкого ума и сильной воли. Именно таким был Гернет».

Гернет входил в книги знавших и даже не знавших его лично писателей так же легко и просто, как на корабли своей флотилии. И уж конечно же, остался он на страницах Колбасьева: «Говорил командующий – невысокий, похожий на учителя человек с седеющей бородкой, говорил он тихо, но внятно, и, оглядывая присутству ющих, щурился».

Военмор Гернет вошел в историю гражданской войны в СССР столь же прочно, как и в историю обороны Порт-Артура, как и в историю… гляциологии.

Ну и носило же его по свету!

Китай и Филиппины, Италия и Япония, Монголия и Турция, Финляндия и Казахстан… И все-таки Япония. Почему-то именно эта страна сыграла в его жизни роковую роль.

Тогда, в Порт-Артуре, играя в жмурки с японскими миноносцами, уходя на зыбкой джонке от их прожекторных, несущих смерть его утлому суденышку лучей, он вряд ли догадывался о том, что ему придется прожить на родине своих гонителей целых пять лет, и каких лет!

В 1927 году капитан дальнего плавания Гернет был командиро ван в Японию в качестве агента по фрахтовке японских судов для разоренного гражданской войной советского флота на Дальнем Востоке. В Иокогаме его дом стоял на зеленом холме. Неподалеку жил бывший белоказачий атаман Семенов, глава русской эмиграции в Японии. Дочь Гернета – Галя – ходила в английскую школу как раз мимо решетки сада, где под цветущими вишнями лежал мальчик, сын атамана, парализованный полиомиелитом. Впрочем, живи Гернет не в Японии, а в Китае или Корее, для ежовских следователей он был бы, соответственно, китайским или корейским шпионом. Так что вовсе не годы, проведенные в Кобе и Иокогаме, сыграли злую шутку с Капитаном. Гернет, меченный золотом офицерских погон, изначально был обречен на любое удобное следствию обвинение… Обрекало его еще одно обстоятельство – встреча с братом.

Революция рухнула на дворянскую семью Гернетов, словно ко ваная решетка ворот родового замка. По одну ее сторону остался Евге ний Гернет, по другую – два младших брата: Сергей и Георгий, тоже морские офицеры. Подпоручик по Адмиралтейству Георгий Гернет осел после гражданской

в Париже, а лейтенанта Сергея Гернета эмигрантская судьба забросила в Шанхай, где он покончил с собой в тридцатом году. Но прежде того случай даровал братьям встречу.

В Китае шла гражданская война, и Евгений Гернет был направ лен в Шанхай как морской эксперт при легендарном Блюхере. Сюда, в Шанхай, к нему приехала жена Лидия Ивановна (урожден ная Шелагурова) с обеими дочерьми – Ирой и Галей.

Велик и шумен Шанхай, но братья нашли друг друга, и старший побывал с семьей в гостях у младшего… Потом и это поставят в вину «японскому шпиону».

И все же Япония! Именно здесь свершил Капитан третий подвиг, который принес ему славу не меньшую, если не большую, чем все прежние боевые и революционные заслуги.

«В Японии, – писал в 1935 году Горькому один из сотрудников Главсевморпути, – Гернет среди пальм и бананов думал о льдах Арктики и написал книгу…»

Не только написал, но и сам набрал ее в одной из токийских типографий, где нашелся русский шрифт, отпечатал за свой счет пятьсот экземпляров, а по возвращении на Родину стал дарить их друзьям.

Книга была отнюдь не о морских странствиях и приключениях, коими столь богата была жизнь Капитана. Книга была научной, и называлась она «Ледяные лишаи. Новая ледниковая теория, общедоступно изложенная».

С той же дерзостью, с какой он прорывал блокады, выса-

живал десанты, водил корабли в атаки, Гернет вторгся в запретные для дилетантов пределы наук.

«Я не только не ученый-геолог, – объяснялся он перед читателями, – но не получил по геологии вообще никакого образования. Оправданием того, что я, не будучи квалифицированным геологом, взялся за книгу по геологии, является то обстоятельство, что затрагиваемый в ней вопрос – о причинах миоценового климата в нашей полярной области и «ледниковой эпохи» – геологами не разрешен, а мною, по глубокому моему убеждению, разрешен вполне».

Это убеждение разделили с ним и ведущие ученые-гляциологи. Правда, не сразу – спустя несколько десятилетий…

Ленинградский биограф Гернета Л. Титова в своем «Рассказе о человеке, на много лет опередившем научные идеи своего времени» пишет: «Несколько экземпляров «Ледяных лишаев» он занес к букинисту на Литейный. Как-то раз зашел в магазин. Книжку по просил человек в старом, потертом френче. Стоя у прилавка, начал ее листать, но, лениво долистав до середины, бросил обратно на прилавок. Тогда первым и единственным покупателем своих книг стал сам Гернет.

Он унес книги домой, раздавал их знакомым, друзьям, детям – одноклассникам Иры и Гали. И, беззаботно одаривая очередную подругу, Галя не могла знать, что пройдет несколько лет, и не будет уже в живых ни Иры, ни мамы, ни отца рядом, останет ся только одна она, Галя, и, уезжая

из блокадного Ленинграда в эвакуацию, она, потерявшая память, обессилевшая, измучен ная, имеющая в своем распоряжении считанные минуты на сборы, возьмет скудный багаж – и главным в нем будут шесть тоненьких книжечек с пятнами и потеками от таявших в комнате сосулек.

А пока… Знакомые от подарка не отказываются. Но когда разговор заходит о теории, стараются незаметно перевести его на что-нибудь другое. Для одних она – нелепая выдумка, для других – красивая сказка, для третьих – чудачество, которое позволил себе серьезный, всеми уважаемый человек.

И только двое по-настоящему увлеклись идеей книги – идеей возвращения климата миоцена на нашу землю. Но учеными они не были.

Они были писателями – Паустовский и Горький.

«Сегодня познакомился с книгой человека, – сообщал Алексей Максимович Ромену Роллану, – который предлагает уничтожить по лярные льды и возвратить Сибирь и Канаду в «райские условия» миоценового периода. Эта фантазия говорит о возбуждении твор ческой мысли, направленной к цели действительного «изменения мира».

«Подумайте, – обращался Горький в другом письме к Корнею Чуковскому, – Вам придется говорить о льдах Арктики, о лесных массивах и тундрах Севера, о «вечной мерзлоте» и всякой всячине этого рода в наше время, когда гипотетическое мышление ста новится все более обычным и «безумным». Вон капитан Гернет предлагает уничтожить

Гренландский ледяной лишай и возвратить Сибирь с Канадой в миоценовый период…»

С Гернетом Горького познакомил Паустовский. Познакомил заочно, рассказав тому о поразившей его жизни и книге Капитана. Именно поразившей, ибо, как справедливо считает Л. Титова, Гернет, несомненно, был героем Паустовского – романтик, моряк, человек, не только выдвигавший дерзкие научные теории, но и вели колепный практик и знаток своего дела. Все эти качества были присущи любимым героям книг писателя. Даже фамилия, и та была словно придумана им – звучная, необычная, в ней при желании можно услышать порыв паруса при повороте шхуны на новый курс, поскрипывание мокрого шкота в деревянных талях, толчок воды в днище. И не случайно фамилию Гернета Паустовский дал в рассказе «Соранг» дедушке, рассказывающему восьмилетнему мальчугану легенду о теплом ветре, внезапно налетавшем на землю и превра щавшем зиму в настоящее лето.

Но главное, конечно, что Гернет был выразителем идей, вол новавших самого писателя.

В «Золотой розе» Паустовский как бы предвещает отдельную повесть о Гернете.

Каковы же были волнение и радость аспирантки Петрозаводского университета Ф. Макаровой, когда, работая в семейном архиве пи сателя, она извлекла на свет неприметную папку.

«Эта папка с бумагами, – делилась своей радостью мо-

лодая исследовательница, – внешне ничем не отличалась от других. Но меня поразило заглавие хранящейся в ней рукописи – «Теория ка питана Гернета». Такого названия не было ни в собрании сочинений писателя, не упоминалось оно и в библиографических указателях творчества К. Г. Паустовского… Таким образом, повесть «Теория капитана Гернета» оказалась своеобразным «белым пятном» на литературной карте «страны Паустовского».

В 1974 году найденную повесть опубликовал журнал «Север», после чего она была переведена на иностранные языки… Но все это – писательская оценка дерзновенных идей Гернета.

Паустовский первым заметил это поразительное сходство: «Седой капитан, лицом похожий на Ленина». Это Евгений Сергеевич Гернет.

А что же ученые? Рано или поздно, они оценили книгу Гернета, его догадку, его гипотезу. Они приняли его теорию.

В 1968 году в Ленинграде на научном симпозиуме географ Стрелков поведал своим коллегам о книге Капитана. Географа горячо поддержал видный гляциолог О. П. Чижов:

– Стрелков упомянул в своем выступлении о книге Гернета «Ледяные лишаи». Мне было очень приятно слышать высокую ее оценку. В этой книге были высказаны представления, теперь полу чающие общее признание. Кто-то, если не ошибаюсь, из физиков сказал, что всякая научная гипотеза проходит при своем распростра нении три этапа. Первый:

«Какая чушь!» Второй: «Нет, в этом что-то есть». И наконец, третий: «А кто же этого не знает?» Книга Гернета вышла в 1930 году. Она осталась незамеченной учеными. Отношение к высказанной им гипотезе находилось в первой фазе «Какая чушь!» В 1955 году появилась статья американского геолога Стокса «Иной взгляд на ледниковый период», в которой была выска зана (безусловно, независимо от Гернета), по существу, та же гипотеза. Эта статья также не привлекла особенно большого вни мания. Но еще через год, в 1956 году, появилась в том же журнале «Сайенс» статья более известных соотечественников Стокса, сотрудников Ламонтской геологической обсерватории М. Юинга и В. Донна «Новая теория ледниковых периодов», развивавшая ту же гипотезу. Теперь, очевидно, настало время для второй фазы («В этом что-то есть»). Гипотеза получила широкую известность как теория Юинга и Донна. Ее обсуждают, высказываются «за» и «против», подробный ее разбор и, в общем, положительная оценка даются в двухтомном «Курсе гляциологии» Л. Лабурти, вышедшем в 1965 году в Париже. Однако называть новую гипотезу именами Юинга и Донна не справедливо, следует говорить о гипотезе Гернета – Стокса, так как они предложили ее впервые.

По-видимому, – говорил О. П. Чижов, – мы близки к последней фазе в изменениях отношения к гипотезе Гернета («А кто же этого не знает?»)… По гипотезе Гернета – Стокса, существует оп ределенное взаимодействие между сушей

и морем, между материко выми и морскими льдами. Это взаимодействие и определяет автома тические колебания климата и оледенения Земли. Общие основания и особенности оледенения были показаны и объяснены Гернетом, но почти не затронуты другими из упомянутых мною авторов.

Море не хранит следов кораблей, даже тех, что вошли в историю. Что остается от жизни морехода? Груда заморских диковинок, при везенных из дальних походов? Старые, угасающие фото? Сам ко рабль, пока его не отправят в переплавку? Кресты и медали за мор ские баталии?

От жизни настоящего моряка остается имя на борту корабля или на карте, которую он пополнил открытым им мысом, островом, проливом. Увековечен и тот, чье имя осталось в книгах о странствиях и сражениях. От Гернета, сгинувшего в глубинах казахской степи, не осталось ни крестов, ни орденов, ни точки на карте, ни имени на борту корабля, но осталась книга и осталась дочь…

«Мой отец был арестован в ночь на 1 мая 1938 года. Он не успел предстать перед «тройкой»! «Железный нарком» Ежов был снят с должности и расстрелян. Многих заключенных выпустили из тюрь мы. Моему отцу не повезло. Его не освободили. Отца обвинили в шпионаже в пользу Японии…»

Всю ночь подо мной гремели печатные машины, койка вздраги вала, и мне снилось, что я в каюте эсминца, который кавторанг Гернет вел в свой последний поход. Утром я покинул свой тряский приют и отправился за Черную речку, на

Омскую улицу, где живет дочь капитана Гернета. По странному совпадению и станция метро, и улица носили имена тех мест, где отбывал ссылку отец Галины Евгеньевны.

Серенький блочный дом – двадцать раз пройдешь мимо и не заметишь. И, конечно же, без лифта, а квартира на самой верхотуре…

Мне открыла худощавая седая женщина в черном – неулыбчи вая и все же приветливая. Каждое движение, каждое слово ее были отмечены той особой выверенностью, которая свойственна людям точных наук. Выпускница мехмата ЛГУ, ныне доцент кафедры мате матики, Галина Евгеньевна Гернет долгие годы преподавала в Ленин градском институте связи.

И еще бросилось в глаза – старинное, с молоком матери всосан ное, по отцовскому наследству переданное чувство собственного достоинства. Она держалась так, что ее две крохотные, очень скром но обставленные комнаты превращались если не в дворцовые залы, то уж во всяком случае в весьма представительные апартаменты.

Главной мебелью в этом доме были книжные полки. Когда-то их украшали нарядные японские куклы (Гернет дарил их дочерям), но куклы были проданы в трудные годы, наступившие после ареста отца.

Окна комнат выходили даже не на улицу – на безотрадную про секу в жилом массиве, по которой шагали железные мачты высоко вольтной электролинии.

Галина Евгеньевна только что похоронила мужа, поэтому гово рить о гибели отца, о блокадных утратах ей было очень трудно, и мы договорились так: когда сможет, напишет обо всем в письме.

Через два месяца я получил объемистый пакет. С разрешения Галины Евгеньевны привожу это письмо полностью.

«В ночь на 1 мая 1938 года в Гидрографическом управлении Севморпути было арестовано пять человек: начальник Гидрографи ческого управления Орловский и начальники всех секторов – Нико лаев, Хмызников, Гернет. Кто был пятый – не помню. Эти пять человек якобы составляли шпионскую группу.

Падение Ежова задержало вынесение приговора. Отца держали в различных тюрьмах Ленинграда более двадцати месяцев. В основ ном он сидел на Шпалерной.

При Ежове дела решались проще и примерно в два раза быстрее. В лагеря отправляли через 8-10 месяцев. Никого не освобождали.

Сразу после падения Ежова Николаева выпустили. Остальную группу судил военный трибунал 23 декабря 1939 года. Отца приго ворили к пяти годам высылки в Казахстан. После приговора нам разрешили три свидания и передачи в пересыльной тюрьме. По тем временам это была неслыханная радость. Каждая из нас – мама, Ирина и я – получили по свиданию.

Во время правления Ежова о приговоре узнавали в тю-

ремных кассах. Порядки были такие: в определенные дни в тюрьме в кассе принимали от родственников деньги для арестованных. Разрешалось передавать по 100 рублей (10 руб.) в месяц. Насколько помню, прием происходил раз в неделю. Дни месяца были распределены по буквам алфавита.

Очереди были длинные. Стоять нужно было долго. О судьбе заключенного узнавали от кассира, который денег, в случае окончания дела, не принимал и сообщал, что узник отбыл на десять лет без права переписки. Иногда сообщали, куда отправлен осужденный – в лагеря Казахстана, Магадана, Воркуты… Иногда место заключения не называли. Иногда кассир сообщал, что арестованный умер…

Свидания происходили в большом зале. Вдоль трех стен, как в зверинце, тянулись длинные ряды клеток, прижатые друг к другу. В каждой клетке – окошко. В каждом окошке – серое лицо. Худые измученные лица. Я не могла найти среди них отца. Наконец меня остановили глаза. Молящие, блестящие глаза, устремленные на меня.

Когда отца уводили из дома, ему было 55 лет и 5,5 месяца. Сей час на меня смотрел изможденный старик. Между решеткой, за которой находился отец, и мною было пространство шириною при мерно метра полтора. Пространство было отгорожено деревянным барьером. Здесь вышагивал часовой с винтовкой.

О чем говорили во время свидания, не помню. Я передала отцу теплые вещи, необходимые в дорогу, и еду. Отец не ви-

дел белого хлеба почти два года. Разрешено было передать белый батон. Часо вой разломил батон на несколько частей. Что он искал? Пилу или отвертку? Отец собрал кусочки батона.

В январе в тюремном вагоне отца отправили в Казахстан. Отцу определили место жительства – село Чернорецк Павлодарской области.

Получив это известие, мама выехала к отцу. Она повезла с собой носильные вещи и продукты – чай, сахар, крупы, папиросы… Это было в январе 1940 года.

О том, чтобы отец работал весной 1940 года, не могло быть и речи. Ему нужно было поправлять здоровье и отдыхать после почти двух летнего пребывания в тюремных застенках.

Зиму 1939/40 года я училась на третьем курсе механико-мате матического факультета университета. В июне была сессия. В июле – практика в обсерватории университета.

На каникулы – август и сентябрь – я поехала с полными чемо данами продуктов и вещей в Чернорецк. Отец собирался разрабаты вать новую научную проблему и просил привезти ему учебник по курсу дифференциального и интегрального исчисления. Я взяла для него первый том курса высшей математики Смирнова.

По железной дороге доехала до Омска, там пересела на пароход и по Иртышу добиралась до Чернорецка.

Примерно в полдень пароход остановился в Чернорецке.

Приста ни не было. Но берег в месте остановки был пологим на небольшом участке. Можно было спуститься с высокого берега прямо к реке. Все это и называлось «остановка Чернорецк». Положили сходни. С парохода я увидела встречавших меня родителей, а рядом с ними толпу любопытных, пришедших посмотреть на меня. День приезда был счастливым. Еще бы – встретить отца, с которым мысленно распрощалась навсегда. Мне было известно из писем, что родители живут в баньке-мазанке. Просторного и удобного жилья я не ожидала.

Пока мы добирались от пристани к баньке, отец сказал, что дома меня ждет сюрприз-подарок.

Вошли в баньку. Кого я увидела! На полу сидел черный щенок-дворняга. Щенку было месяца два.

– Тобка! – воскликнула я и тут же взяла его на руки.

– Нет, – сказал отец, – это Бобка. Бобик, а не Тобик.

– Хорошо, пусть он будет Бобка!

Трудно себе представить Чернорецк. В этом селе не было ни одно го кустика, ни травинки. Считалось, что село стоит в степи. Возмож но, весной на обширной равнине и росла трава, но к моему приезду, в августе, она вся выгорела. Вокруг поселка все было голо. Все было унылым, бежево-серым, пыльным. В селе не было ни кур, ни гусей, ни коз, ни свиней. Ничего живого. Только люди.

При мне мама прожила в Чернорецке недели две. Она боялась потерять свою ленинградскую прописку. Договорилась

о комнате для папы в теплой бревенчатой избе на зиму, наладила нашу с папой жизнь и уехала в Ленинград.

И стали мы жить втроем – папа, Бобка и я. Жизнь наша текла однообразно. Описывать почти нечего. Ярких событий не случалось. Я вела наше нехитрое хозяйство. Отец часто сидел возле нашей баньки с Бобкой. Сидел на солнышке, думал о чем-то своем и курил. Я была счастлива, что вижу отца, что могу ему помочь, сделать для него что-то. Радовалась, что он отдыхает после двух страшных лет. Благословляла судьбу, что он в ссылке, а не в лагере.

В Чернорецке не было ни магазина, ни ларька, ни лавки. Одна жительница поселка пекла хлеб два раза в неделю. Она или ее сын приносили нам круглый хлеб.

Из каких-то далеких колхозов, где росла трава и жили куры, приезжали женщины на грузовиках. По договоренности с мамой они привозили яйца. Топленое масло мы возили из Ленинграда или посы лали его посылкой.

Яйца и кур нам привозили в обмен на заказанные промтовары, привезенные мною из Ленинграда. Помню, я привезла самовар, одеяло и еще что-то. Яйца мы закапывали в землю. Считалось, что так их можно сохранить на зиму. Зимой куры не неслись.

Вместо чая отец пил шиповник. Других витаминов в нашей пище не было.

В сентябре я перевезла отца в зимнюю комнату, ту, о которой ранее договорилась мама. Пол в комнате был земля-

ной. Спали на деревянных топчанах.

Вечером мы зажигали керосиновую лампу, но керосин нужно было экономить. Мы рано ложились на свои топчаны и разговаривали. Отец был молчаливым, сдержанным человеком. Только в Японии помню его оживленным. После возвращения в Советский Союз он стал очень замкнутым. И теперь, в Чернорецке, он неохотно рас сказывал о прошлом. Отвечал только на мои вопросы. Всегда кратко, лаконично. Он не любил воспоминаний.

В Японии, когда мне было восемь-девять лет, он живо и интересно рассказывал нам с Ириной о Порт-Артуре, о потоплении «Калиакрии», об Азовской флотилии. Он гордился тем, что командовал Волжской флотилией под Царицыном.

Вернувшись в Советский Союз в 1931 году, отец перестал вспоми нать что-либо о своей боевой деятельности. Все его заслуги были забыты. Никто о них не помнил.

Появилось много воспоминаний о гибели Черноморской эскадры. Но никто, ни один человек, не назвал имени Гернета. Когда пере числяли потопленные корабли, «Калиакрию» ставили на последнее место.

Эсминец «Калиакрия» был флагманским кораблем, и вел эскадру Гернет. Но даже Кукель в своих записках забыл упомянуть имя командира «Калиакрии».

В начале тридцатых годов, еще до начала террора, в Центральном военно-морском музее экспонировались фотографии, но Гернета там не было. Его с легкостью вычеркнули из

истории. Появились другие имена, новые герои.

Летом 1940 года отцу было 57 лет.

Он больше любил говорить о будущем, о том времени, когда кон чится его срок. Он надеялся еще жить и работать. Он знал, что все в жизни меняется. Ночью, разговаривая в темноте, мы строили пла ны будущего. Оба считали, что в 1943 году отец вернется в Ленинград. Так наивно мечтали. Откуда мне было знать тогда, что все осужденные останутся в лагерях и в ссылках до XX съезда партии, до 1956 года, и даже позже!

В двадцать лет я еще во что-то верила. Отец был оптимистом всю жизнь. Всегда.

У нас в комнате стоял стол вполне приличного размера. На нем я готовила, на нем мы обедали и завтракали. Когда стол освобождался, занимались, сидя друг против друга. Было хорошо и уютно.

Как я теперь жалею, что не использовала последнюю возмож ность расспросить его обо всем, что он видел и пережил. На мой вопрос, почему он встал на сторону красных в граждан скую войну, отец даже рассердился. «Я никогда не воевал против своего народа», – ответил он.

Я не запомнила никого из местных жителей. Вспоминаю только общие черты хозяйки теплой зимней комнаты. Смутно вспомина ются мне силуэты женщин, носивших хлеб и молоко. Одна повыше, другая поменьше ростом и более худая. Все в платках.

Девочку Лизу, дочку молочницы, запомнила потому, что она никогда не видела сахара. Обычно, если она приносила молоко, она получала от меня конфету. Как-то я сказала, что дам ей кусок сахара. Она запрыгала от восторга – ведь ей только слышать приходи лось, что есть на свете сахар.

Лиза долго рассматривала кусочек рафинада…

Спрашивала: «А правда, будто в Ленинграде дома в 4-5 этажей? Как же это может быть?! И как коровы поднимаются по лестнице на четвертый, пятый этаж?!»

Никаких киносеансов, кинопередвижек в Чернорецке не было.

Быстро пролетели два месяца. Наступил конец сентября. Приближался день моего отъезда. Уезжала я рано утром на грузовике. Сиде ла в кузове. На всю жизнь остался у меня в памяти отец в черной морской шинели. Он смотрит мне вслед и делает несколько шагов за набирающим скорость грузовиком. Бобка с лаем бежит за машиной…

В начале 1941 года отец написал, что «власти» переводят его в Павлодар. Отцу предложили работать, но в Чернорецке для него работы не нашлось. Даже место учителя в первом классе было занято.

Тогда его направили работать счетоводом в туберкулезной боль нице в Павлодаре.

То, что отца перевели в Павлодар и трудоустроили, оказалось благом. Когда началась война и блокада, мы не могли ему высылать ни посылок, ни денег. Только посылки могли

обеспечить ему сносное существование в Чернорецке. Только на посылки из Ленинграда он мог прокормиться в Чернорецке – это было единственное, что мест ные жители принимали на обмен.

Работа в больнице спасла отца от голодной смерти.

В сентябре 1942 года отец переехал в колхоз «Спартак» Павло дарской области и стал работать счетоводом.

1 мая 1943 года окончился срок ссылки. Начались хлопоты о приезде. В том же году я оказалась в Казани, где рабо тала в Астрономическом институте Академии наук СССР. Институт хлопотал о моем отце.

Заместитель директора института Валентина Клавдиевна Морфорд договорилась с казанскими властями о его прописке. После разговора Морфорд с начальником НКВД города Казани я была у этого начальника на приеме. Он хотел посмотреть на меня, полу чить лично от меня заявление, выслушать лично мою просьбу о раз решении моему отцу приехать в Казань.

Все было выполнено так, как того хотел начальник НКВД горо да Казани.

Отцу были посланы вызов из института и разрешение на прописку в столице Татарии. Отец купил билет и должен был выехать 8 августа 1943 года. Но утром он умер».

Пожалуй, ни у кого из землян не связано со звездами столько острых переживаний, благодарений, воспоминаний, как у штурманов. Что ни звезда, то места памяти: вон та от-

крылась в ночном тумане как свет в конце тоннеля, эта – своим путеводным светом вела к дому.

Когда с глаз моряка скрываются все приметы земли, то только огни ночного неба воплощают для него в океанской пустыне тот мир, что надолго исчез за горизонтом.

О, бесстрастные путевые оракулы, сколько морских драм разыгралось на ваших ледяных глазах, сколько живых человеческих глаз уносило ваш скупой свет, как последнее видение этого мира! Сколько страхов, сомнений, надежд, озарений рассеяно по мерцаю щим станам созвездий! В этом звездном шифре записан и дневник морской жизни Гернета. Ключ к нему он унес с собой… Кто прочтет его теперь?

Не по той ли крупице голубоватого света – Царь-звезде – выво дил свою джонку Гернет из осажденного Порт-Артура? Не эти ли небесные пунктиры обещали ему спасение, когда пароход «Карляйль», который он вел в осажденный город, лишился в шторм руля и вин тов, плыл по воле ветров и течения в неизвестность? Три месяца длился тот тягостный дрейф, и только звезды над океаном были главными советчицами капитана. «Туда, туда, там острова, там спа сение», – вещали ему Вега и Альтаир, Арктур и Антарес, качаясь в зеркальцах секстана… А звезды Азова и Черного моря, звезды Мессины и Трапезунда, Севастополя и Мариуполя, немые свиде тели его риска и отваги, его дерзости и военного счастья!

Где она, звезда Гернета? Знал ли он сам, откуда она слала

ему лучи удачи? А ведь был он везуч, как заговоренный. Не тронули его японские пули в Порт-Артуре. Уцелел он и под вулканическими бомбами Этны, когда вместе с другими русскими моряками спасал жителей Мессины из-под руин домов. Пронеслись мимо его транс порта и турецкие снаряды во время высадки десанта под Трапезундом в шестнадцатом году. Промолчал и главный калибр севастопольских лин коров, что угрюмо провожали своими стволами эсминцы, уходившие из Севастополя под флагом Гернета. Ни один осколок не задел его в боях на Азове и под Царицыном. Лишь в первомайскую ночь трид цать восьмого закатилась звезда капитана Гернета, чтобы потом вспыхнуть россыпями степного звездостана над головой колхозного счетовода. Чтобы сгореть в метеорных дождях Персея, что так обиль ны в густой темени августовских ночей…

Степь поглотила могилу колхозного счетовода. «Его зарыли в шар земной…» Вслед за Иммануилом Кантом он мог с полным правом сказать: «Звездное небо надо мной, нравственный закон во мне».

Нравственный закон Гернета стоял на четырех максимах, веч ных, как льды и звезды, окружавшие Капитана: отвага, честь, вер ность, истина…

Глава восьмая
НЕКРОПОЛЬ «РУССКОГО КАРФАГЕНА»

В царскосельской электричке я подобрал газетку «Дворняжка», которую издают питерские защитники бездомных собак и кошек, прочел в разделе скорбных объявлений: «Из далекой Бизерты Анастасия Александровна Ширинская сообщает о кончине своего четвероного друга Бонни, который двенадцать лет скрашивал жизнь ей и ее сыну».

Ширинская? Неужели та самая? Но другой-то в Бизерте нет и быть не может…

Севастополь. Ноябрь 1920 года

Такого еще не бывало: флот покинул Севастополь! Душа оставила тело… Да, Севастополь остался однаж ды без кораблей. Но тогда – в первую оборону – корабли ушли на дно родной бухты, а не в чужие порты… В том проклятом восемнадцатом Черноморский флот впервые подвергли разделу: его, как и всю страну, разделили на красных и белых. Красная частина самозатопилась в Це месской бухте, а белая – покинула через два года воды Черного моря, ушла в Стамбул, а затем в Бизерту. Все было так, как описал в стихах казачий поэт Николай Туроверов:

Уходили мы из Крыма
среди дыма и огня,
я с кормы все время мимо
в своего стрелял коня…
А он плыл, изнемогая,
за высокою кормой,
все не веря, все не зная,
что прощается со мной…

На одном из таких беженских пароходов увозили в изгнание и восьмилетнюю девочку Настю. Впрочем, сначала ее с мамой забрал к себе на эсминец «Жаркий» отец – старший лейтенант Александр Манштейн. Он доставил свою семью вместе с десятками других беженцев в Константинополь.

Моряки, казаки, остатки белой русской армии не сбежали из Крыма в ноябре двадцатого, а отступили, ушли, как говорили их деды, в ретираду, с походными штабами, со знаменами, хоругвями и оружием. Французы, вчерашние союзники по германской войне, дали черноморской эскадре Врангеля приют в своей колониальной базе – Бизерте. Осколок России вонзился в Северную Аф рику и таял там долго, как айсберг в пустыне. Год за го дом на севастопольских кораблях правилась служба, подни мались и спускались с заходом солнца андреевские флаги, отмечались праздники исчезнувшего государства, в храме Александра Невского, построенном русскими моряками, отпевали умерших и славили Христово Воскресение, в теат ре, созданном офицерами и их женами, шли

пьесы Гоголя и Чехова, в морском училище, эвакуированном из Севасто поля и размещенном в форту французской крепости, юно ши в белых форменках изучали навигацию и астрономию, теоретическую механику и практическую историю России, но не по Покровскому, а по Карамзину и Соловьеву… Ме стный летописец Нестор Монастырев выпускал журнал «Морской сборник». Редакция и станок-гектограф разме щались в отсеках подводной лодки «Утка». Ныне несколько экземпляров этого сверхраритетного издания хранятся в главной библиотеке страны…

Как отмечал еще один флотописец Бизерты капитан 1-го ран га Владимир Берг в своей книге «Последние гардемарины», севастопольцы в Бизерте «составили маленькое самостоя тельное русское княжество, управляемое главой его вице-адмиралом Герасимовым, который держал в руках всю полноту власти. Карать и миловать, принимать и изгонять из княжества было всецело в его власти. И он, как старый князь древнерусского княжества, мудро и властно правил им, чиня суд и расправу, рассыпая милости и благоволения».

Эскадра как боевое соединение прекратила свое суще ствование после того, как Франция признала СССР. В ночь на 29 октября 1924 года с заходом солнца на русских ко раблях спустили синекрестные флаги. Тогда казалось – на всегда. А оказалось – до поры…

Большинство из 33 русских кораблей, пришедших в Бизерту, были проданы на лом. Орудийные башни с линко-

ра «Генерал Алексеев» служили французам на береговых укреплениях Атлантики.

6 мая 1925 года в гардема ринском лагере Сфаят корабельный горн протрубил сигнал «Разойдись!» Разошлись, но не рассеялись, не разбежа лись, не сгинули, не забыли, кто они и откуда. Написали книги, возвели церковь, отчеканили памятный нагрудный крест. Одним словом, явили миру подвиг верности флагу, присяге, Отчизне. Ничего об этом в СССР не знали. Точнее, не хотели знать. Партийные идеологи распорядились считать Бизерту по зорной и черной страницей истории флота и провели оче редную препарацию памяти…

Да, страница черная, горькая, но – гордая!

Черноморцам в Бизерте пришлось начинать жизнь заново, с нуля, несмотря на былые чины, ордена, заслуги перед царем, Богом, отечеством…

…Осенью 1976 года подводная лодка, на которой я служил, входила с деловым визитом в военную гавань Бизерты. Я оглядывался по сто ронам – не увижу ли где призатопленный корпус русского эсминца, не мелькнет ли где ржавая мачта корабля-земля ка. Но гладь Бизертского озера была пустынна, если не считать трех буев, ограждавших «район подводных препят ствий», как значилось на карте. Что это за препятствия, ни лоция, ни карта не уточняли, так что оставалось предпола гать, что именно там, неподалеку от свалки грунта, и поко ятся в донном иле соленого озера железные

останки рус ских кораблей.

Нашу плавбазу «Федор Видяев» и подводную лодку ту нисцы поставили в военной гавани Сиди-Абдаллах, там, где полвека назад стояли наши предшественники.

По утрам по палубной трансляции плавбазы крутили бод рые советские песни. Были среди них и старинные русские вальсы. Вот на их-то рулады, словно птицы на манок, собира лись на причале русские старики, те самые, с белой эс кад ры. Несмотря на то, что «особисты» не рекомендовали об щаться с белоэмигрантами, тем не менее судовой радист, откликаясь на просьбы стариков, повторял по несколько раз и «Дунайские волны» и «На сопках Манчжурии». Знать бы тогда, что среди тех дедов приходила к нам и и дочь командира «Жаркого» Анастасия Александровна Ширинская…

Несколько лет в теле Туниса жил осколок русского государства в виде эскадры черноморских кораблей, ушедших из Севастополя в конце 1920 года. Писатель Сент-Экзюпери назвал колонию наших соотечественников в Бизерте (именно там обосновались на долгие годы корабли-изгои и моряки с семьями) «русским Карфагеном». Сегодня от «русского Карфагена» остался один человек – дочь командира эсминца «Жаркий» Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн. Мог ли я представить, что однажды не только смогу побывать у нее в Бизерте, но и буду принимать у себя дома в Москве? Но все так и случилось…

Итак… Жила-была девочка. Звали ее Настя. Папа у нее

был капитаном, точнее, командиром корабля на Балтийском флоте. Девочка видела его редко, поскольку жила у бабушки под Лисичанском в небольшом усадебном доме с белыми колоннами. Там было все, чем счастливо детство: бабушка, мама, подруги, лес, река… На этом сказку оборвала революция, октябрьский переворот и гражданская война. Потом был бег на юг, в Крым, в Севастополь, где к тому времени отец – старший лейтенант Александр Сергеевич Манштейн – командовал эсминцем «Жаркий». На нем в ноябре 1920 года он и вывез свою семью вместе с другими беженцами в Константинополь. А оттуда 8-летняя Настя вместе с сестрами и мамой переправилась на переполненном пароходе «Князь Константин» через Средиземное море в Бизерту. Отец же, как полагали поначалу, сгинул со своим эсминцем в штормовом море. По счастью, «Жаркий», изрядно потрепанный, все же пришел в Бизерту после Рождества.

На несколько лет их домом стал старый крейсер «Георгий Победоносец». До сих пор в детской памяти младшей сестры Анастасии Александровны – Анны – «родной дом» рисуется как бесконечный ряд дверей в корабельном коридоре. Насте повезло: для нее «родной дом» – это белые колонны среди таких же белых берез… В тоске по тому, навсегда оставленному дому, она приходила на мыс Блан Кап, Белый мыс, который, как ей рассказали взрослые, самая северная оконечность Африки, и потому оттуда до России ближе всего, и кричала в морскую даль: «Я люблю тебя, Россия!» И

самое удивительное, что соотечественники ее услышали! Но об этом чуть позже…

Бизерта. Июнь 1999 года

Волею все тех же морских судеб я оказался в Бизерте, спустя четверть века после первого визита в этот североафриканский порт. Мы прилетели с писателем Сергеем Власовым, чтобы… Впрочем, все по порядку.

Могилы русских моряков, погребенных на чужбине, рассеяны за триста лет наших войн и дальних походов по всему миру. Прах одних покоится в прибранных некрополях, как в японских городах Хакодате и Мацуяма, где упокоены защитники Порт-Артура, умершие от ран в плену. Другие, как экипажи крейсеров «Жемчуг» и «Пересвет», погибшие в годы первой мировой войны, лежат под мраморными обелисками в Маниле и Порт-Саиде… Худо-бедно, но почти все зарубежные захоронения находились под присмотром министерства обороны бывшего СССР. Все, кроме Бизерты, объявленной советской пропагандой «черной страницей» черноморского флота. О русском некрополе в Бизерте не желали знать ни министерство обороны СССР, ни МИД, ни советское посольство в Тунисе. Это белые моряки врангелевского флота, и знать мы их не желаем.

Волна всенародной памяти, поднятая исторической публицистикой Валентина Пикуля и других писателей, заставила вспомнить и Бизерту.

Московский литератор Сергей Власов положил себе де-

лом чести привести русские могилы в Тунисе в должный вид. Его стараниями была выпущена своеобразная энциклопедия Русской эскадры – книга воспоминаний «Узники Бизерты». Работа над этой книгой и познакомила нас.

– Когда три года назад мы оказались на кладбище Бизерты, чтобы положить цветы на русские могилы, – рассказывал Сергей Михайлович, – я пришел в ужас. Никогда не видел таких заброшенных могил. Это были даже не могилы, а просто ямы в земле, без крестов, без имен. Редко встречались надгробные плиты с обрывками надписей. Мы поняли, что это национальный позор России и надо что-то делать. А как?

Когда мы обратились в наше посольство в Тунисе, нам ответили: это невозможно. Мол, мы и сами давно добиваемся восстановления русских могил, но местные власти не позволяют: по законам Туниса, в подобных работах не могут участвовать иностранцы. То же самое год назад нам ответили в мэрии Бизерты. Но надо же что-то делать!

Каким-то образом Власову удалось изыскать средства для поездки в Бизерту, чтобы составить план русских захоронений, уточнить фамилии моряков на разбитых плитах и еще раз призвать местные власти, а также сотрудников российского посольства позаботиться о заброшенных могилах. С тем мы и поднялись в воздух из шереметьевского аэропорта.

Свою работу решили начать с посещения Анастасии Александровны Ширинской. Только она знала, кто где погребен под сломанными крестами и раздробленными над-

гробьями. Мы долго искали путь к ее дому. Никто не мог сказать, где в лабиринте припортового района затерялась улочка Пьера Кюри. Но когда в очередной тщетной попытке прояснить дорогу я случайно произнес ее имя, как молодой араб улыбнулся и, воскликнув: «А, мадам Ширински!», тут же привел к нужному дому. Ее знает вся Бизерта.

Анастасия Александровна Манштейн, по мужу Ширинская… Последняя живая душа из той истаявшей Русской эскадры. Она хранит ее славу, ее память, ее фотографии, документы… Я был наслышан о ней немало. Из Москвы казалось: доживает свой век божий одуванчик в тишине и забвении… При встрече увидел престарелую шекспировскую королеву: достоинство, мудрость и человеческое величие.

Когда она идет по улице, с ней здоровается и стар, и млад. Почему? Да потому что она всю жизнь проработала в бизертском лицее учительницей математики. У нее учились даже внуки ее учеников. И вице-мэр Бизерты, и многие высокопоставленные чиновники Туниса, ставшие министрами. Все помнят добрые и строгие уроки «мадам Ширински», она никогда не делила своих учеников на бедных и богатых, занималась у себя на дому с каждым, кому математическая премудрость давались с трудом.

– Никого из моих учеников не смущало, что уроки проходят под иконой Спасителя. Один студент-магометанин попросил меня даже зажечь лампаду в день экзамена.

Но все наши расспросы были, конечно же, о русской эс-

кадре, которая все еще жила, дымила трубами и трепетала флагами в памяти этой женщины.

– В арабской части города был Русский дом, где собирались моряки со своими женами, – рассказывала Ширинская. – Офицеры приходили в безукоризненно белых отутюженных кителях, даром что с заплатами, аккуратно поставленными женскими руками.

Арабы знали, что русские, несмотря на золотые погоны, были так же бедны, как и они сами. Это вызывало невольное расположение туземцев к пришлым изгнанникам. Мы были бедные среди бедных. Но мы были свободными! Понимаете? Я говорю об этом безо всякого пафоса. Ведь мы, и в самом деле, не испытывали того страха, который пожирал по ночам наших соотечественников у себя на родине. Они, а не мы, боялись, что ночью войдут в твой дом, перероют вещи, уведут невесть куда. Мы могли говорить о чем угодно, не опасаясь чужих ушей, доносов в охранку. Нам не надо было прятать иконы – это в мусульманской, заметьте, стране. Нас не морили голодом в политических целях, как на Украине. Слово «Гулаг» я узнала только из книг Солженицына.

Мы были бедны, порой нищи. Мой отец мастерил байдарки и мебель. Адмирал Беренс, герой «Варяга», на старости лет шил из лоскутков кожи дамские сумочки. Но никто не повелевал нашими мыслями. Это великое благо – думать и молиться свободно.

Я никогда не забуду того ужаса, с каким вылезал из моего

окна один советский гражданин, когда в дверь позвонил сотрудник советского же посольства. Это было в 1983 году, и мой гость боялся лишиться визы, если кто-то скажет, что он общается с белоэмигранткой.

Совсем недавно президент Туниса Бен Али вручил старейшей учительнице орден «За заслуги перед Тунисом». Она одна сделала для укрепления доверия арабов к русским больше, чем целый сонм дипломатов. Слава Богу, имя ее известно и в России.

Я знаю человека, который пришел из Севастополя на яхте в Бизерту, повторив весь путь Русской эскадры, с одной целью: поднять Андреевский флаг в том городе, где он развевался дольше всего, поднять его в тот самый день, когда он был печально спущен – 29 октября. Это сделал мой товарищ и сослуживец по Северному флоту капитан 2-го ранга запаса Владимир Стефановский. Он очень торопился успеть, чтобы символический взлет сине-крестного полотнища на мачту произошел на глазах той женщины, которая одна из всех не доживших до того дня изгнанников помнила, как его спускали, и верила, что однажды его снова поднимут. Верила все семьдесят лет и еще три года. И дождалась!

Это был воистину рыцарский жест, достойный офицера русского флота.

Потом Стефановский принимал ее в Севастополе. Из всех, кто покинул город в двадцатом году, только ей одной удалось туда вернуться.

«Я люблю тебя, Россия!» – кричала девочка с африканского мыса Блан Кап. И Россия ее услышала! И это не стилистическая фигура. Услышала, в самом деле! Правда, не сразу, спустя полвека. Мало-помалу в дом на припортовой улице Пьера Кюри стали приходить соотечественники. Расспрашивали о жизни русских в Бизерте, о судьбах черноморских кораблей… Первым, кто поведал нам о ней во всеуслышание, был телепублицист Фарид Сейфуль-Мулюков. Затем по голубым экранам прошел фильм Сергея Зайцева о Ширинской. Снял свою ленту о ее судьбе и Русской эскадре тунисский режиссер. В «эпоху гласности» Бизерту и ее «последнюю могиканку» открыли для себя и своих читателей многие газеты и журналы. В год 300-летия российского флота Президент РФ наградил Анастасию Ширинскую юбилейной медалью. А два года назад она получила в российском посольстве свой первый(!) в жизни настоящий паспорт, почти такой же, какой был и у мамы – с двуглавым орлом на обложке. До этого она перебивалась беженским свидетельством, так называемым «нансеновским» паспортом. В нем было записано: «Разрешен выезд во все страны мира, кроме России». Почти всю жизнь прожила она под этим страшным заклятьем, не принимая никакого иного подданства – ни тунисского, ни французского – сохраняя в душе, как и отец, как и многие моряки Эскадры, свою гражданственную причастность к России. Именно поэтому известный французский журнал назвал Ширинскую «сиротой великой Рос-

сии».

Теперь она не сирота. Эхом тех давних девчоночьих возгласов с Белого мыса вернулось Ширинской и ее гражданство, и награды, и многочисленные приглашения на родину, и целая стая писем, прилетевших в Бизерту из всех уголков России, даже из Магадана. Ей желали здоровья, расспрашивали, звали в гости… Народ у нас отзывчивый. С недавних пор начался поток визитеров на улицу Пьера Кюри. Даже за время моих недолгих встреч с Ширинской я каждый раз знакомился в ее гостиной то с военно-морским атташе России, то с предпринимателями из Санкт-Петербурга, то с историком из Москвы… Она всех принимает по-русски – под иконой Спасителя с эсминца «Жаркий», с чаем и пирогами, которые печет сама, несмотря на годы.

Чем она занята еще в свои 89? На ее попечении безработный 55-летний сын. Помимо обычных домашних забот, она готовит русское издание своей мемуарной книги. Переводит на французский язык русские романсы. Ищет спонсора для перевода тунисского видеофильма о Русской эскадре на более долговечную кинопленку. Хлопочет о восстановлении русских могил на муниципальном кладбище, выплачивая из пенсии по десять динаров сторожу за добрый присмотр. Собирается на Украину в Лисичанск к подруге детства Оле, которой сейчас уже за девяносто и которая сказала ей: «Не стану умирать, пока не повидаюсь с тобой».

Ширинская уже побывала там недавно. На месте родного

дома с белыми колоннами – школа.

– Но мне стало теперь много легче. Ведь тот дом, который мне столько снился, уже больше не уходит от меня.

В свои без малого 90 она воительница, железная леди, человек действия.

Выпустила в московском Воениздате книгу своих воспоминаний «Бизерта. Последняя стоянка». Это в наше-то время выпустить книгу, да еще прилететь в Москву на презентацию! Она это сделала – прилетела и достойно представила и книгу, и себя, и Русскую эскадру в Бизерте. А потом улетела обратно – с осенними перелетными птицами. Я провожал ее, и невольно вспомнилась старая песня:

А я остаюся с тобой,
Родная моя сторона.
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна.
Однако – нужна…

Жила-была девочка. Звали ее Настя… Она выбегала на мыс Кап Блан и, оборотившись в сторону Севастополя, кричала в бурное чужое море: «Я люблю тебя, Россия!»

Россия услышала ее спустя семьдесят семь лет и прислала ей большой корабль под белыми парусами – барк «Георгий Седов». Это случилось под Рождество 2000 года. Молодые люди в белых форменках, почти таких же, какие носили здешние гардемарины Морского корпуса, пришли к ней

в дом и пригласили ее, поседевшую Ассоль, к себе на парусник.

Она единственная из «русского Карфагена» дождалась этот корабль…

Кресты под пальмами

Давно исчезла, изошла Русская эскадра, оставив по себе в Бизерте лишь белый кристалл памяти – храм, на мраморной доске которого выбиты имена кораблей да нестройный ряд каменных крестов на городском кладбище.

Терновый венок – символ белого движения. Терновые венцы из зарослей африканских колючек возложила на плиты заброшенных могил сама здешняя природа. Под ними лежат русские моряки – адмиралы, капитаны всех рангов, начальник кадетского морского корпуса, командиры больших и малых кораблей. Догадаться о том можно с большим трудом: плиты разбиты, надписи стерлись, кресты повалены. А рядом – ухоженный участок сербских солдат. А дальше – великолепные мемориалы американских, английских, французских воинов, павших в боях за Бизерту в годы второй мировой.

Правда, весной 1999 года трудами сотрудников российского посольства в Тунисе на здешнем кладбище поставлен мраморный памятный знак в честь моряков Русской эскадры и всех россиян, погребенных в тунисской земле. Но он не решает проблемы. Зияющие могилы на бизертском кладбище по-прежнему взывают к нашей совести.

Там же в Бизерте возникла вполне осуществимая идея: создать в заброшенном склепе-часовне генерал-лейтенанта флота Владимира Попова пантеон памяти моряков Русской эскадры. Для этого необходимы мраморные доски с именами адмиралов, офицеров, матросов, мозаичная икона, лампада и хороший замок на железной двери от вандалов. Но все решилось проще.

Летом 2001 года Сергей Власов вернулся из Бизерты почти счастливый:

– Более трети русских могил удалось привести в идеальный порядок!

И показал фотографии – что было и что стало.

– Если долго мучиться, что-нибудь получится! – радостно пропел он. – Мы стучались во многие двери: в Морское собрание, в Посольство Туниса, в наш МИД, к премьер-министру Евгению Примакову. Многие хотели помочь, но делу мешал закон Туниса, о котором я говорил. И тогда мы набрались смелости и обратились с письмом прямо к Президенту Туниса господину Бен Али. И вот тут случилось настоящее чудо. Через неделю после того, как по диппочте наше письмо было передано, меня пригласил в посольство Туниса советник-посланник господин Зухейр Аллаги и сообщил, что президент Бен Али обещал помочь.

– И он сдержал свое обещание…

– Да, он дал команду восстановить могилы. Сейчас в работах участвуют и тунисцы, и граждане России. Как видим,

при желании можно и закон слегка нарушить.

Стали приводить в порядок русские захоронения не только в Бизерте, но и в столице Туниса. И вот тут, как говорится, камни заговорили, вопреки слову, которое из песни не выкинешь: «Не скажет ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага…»

Эта строчка из «Варяга» оказалась пророческой по отношению к бывшему младшему штурману легендарного крейсера и последнему командиру Бизертской эскадры Михаилу Беренсу. Многие годы никто не знал, где покоится прах героя с «Варяга», ставшего контр-адмиралом – последним командующим Русской эскадрой в Бизерте. Михаил Андреевич скончался 20 января 1943 года в Тунисе и был погребен на окраине столицы. Со временем могила затерялась… В последние годы ее пытались отыскать многие энтузиасты, включая и сотрудников российского посольства в Тунисе. Но все многочисленные поиски были безрезультатными.

И только Анастасия Александровна Ширинская сумела разыскать последний след на земле контр-адмирала Михаила Беренса. Его могила оказалась на одном из окраинных кладбищ Туниса, которое подлежит ныне сносу. Встал вопрос о переносе праха русского адмирала туда, где покоятся его бывшие сослуживцы. В конце концов, могилу перенесли на городское кладбище Боржель.

А осенью 2001 года в Бизерту пришел флагманский корабль Черноморского флота ракетный крейсер

«Москва» (бывший «Слава»). На нем доставили мраморную плиту для могилы контр-адмирала Михаила Беренса. Плиту положили на столичном кладбище Боржель. Потом мимо нее под марш «Прощание славянки» прошел почетный караул в белых форменках, белых тужурках при золотых погонах. Над моряками развевался Андреевский флаг. Все было так, как и должно было бы быть полвека назад.

Этого Анастасия Ширинская дождалась, нет, добилась всей своей многолетней жизнью, чтобы ее Эскадре, нашей Эскадре, Русской Эскадре Россия отдала высшие воинские почести. Она по-прежнему живет в Бизерте, не зная покоя. К ней, как к местночтимой святой, идет на поклон всякий приехавший в Бизерту россиянин, будь это турист ли, моряк ли, дипломат…

Президент Российской Федерации Владимир Путин прислал ей свою книгу с автографом.

«Мадам Русская эскадра». Это не титул конкурса красоты. Это пожизненная должность Анастасии Александровны Ширинской, чей дом в тунисском порту Бизерта знает каждый прохожий.

Пером писателя. «Бизерта – символ нашей общей трагедии в XX веке, – утверждает Сергей Власов. – Единый народ был разбит, разделен на „наших“ и „ненаших“. Еще три года назад, когда создавался наш Комитет по восстановлению бизертского некрополя, я слышал: о чьих могилах вы беспокоитесь? Это же враги народа! Теперь такие слова зву-

чат все реже.

Воссоединение российского народа – самое насущное дело сегодня. Возрождение державы начнется не с экономики, а с нашего осознания себя единым народом. И сейчас в Бизерте этот «процесс пошел»…

Глава девятая
ПОСЛЕДНИЙ ГАРДЕМАРИН, ИЛИ ЗОЛОТОЕ ЗВЕНО

Я был уверен, что объемистый справочник офицеров русского флота, выверенный ГУЛИСО по ноябрь 1917 года, столь же мертв, как свитки древнеегипетских папирусов. Все эти некогда блестящие и горделивые мичманы и лейтенанты, кавторанги и капитаны – цвет и соль Балтики, Черноморья, Каспия, Амура, Северного Ледо витого, Тихого океанов – давно ушли в пучину со своими корабля ми, сгинули на чужбине или вымерзли в сталинских лагерях, умерли от голода в блокадном Ленинграде и лишь немногие – самые счаст ливые – почили в глубокой старости… И вдруг в этих многорядных списках мертвых имен замигало, запульсировало одно живое – Александр Александрович Пышнов.

Если бы этого человека не существовало, мне надо было бы его придумать, ибо судьба его, как золотое звено, схватывала, сплетала, соединяла все главные нити этого романа. По счастью, придумывать мне ничего не пришлось.

Помните, как ушел из мира жюль-верновский капитан Немо? Он повернул слабеющей рукой бронзовый маховик и погрузил свою чудо-субмарину на дно, лег меж подводных скал и затих навсегда…

Пышнов определил себе, как говорят подводники, «точку покладки на грунт» в глубине Сибири, на левом берегу Иртыша.

О координатах его тихой гавани знают всего несколько чело век – три дочери да последний командир его подводного корабля «Пантера» Дмитрий Быховский.

Почти полвека Пышнов никому не подавал о себе вестей, никому ничего о себе не рассказывал, если не считать, конечно, допросов у кронштадтских следователей в тридцать восьмом…

Я узнал о нем в Ленинграде. В одну прекрасную зимнюю ночь нахоженным путем – через Египетский мост, мимо заснеженных сфинксов на набережной Фонтанки– я заглянул на огонек в сумрач ный, петербургский еще дом, где квартировал «адмирал судомодель ного флота» Андрей Леонидович Ларионов. За чашкой чая и домаш ним капустным пирогом речь впервые зашла не о младшем штурмане с «Орла», а о хозяйке дома, жене Ларионова – Ксении Борисовне Пышновой, дочери бывшего мичмана с линкора «Слава» Бориса Пышнова, корректировавшего артогонь в легендарном Моонзундском сражении и кончившего свои дни в рядах ЭПРОНа – я поразился, в какой уж раз всплывала эта дата, – сорок втором году… Вот тут-то и помя нули его младшего брата Александра, поступившего в Морской кор пус в 1916 году…

Его однокашники по корпусу ужаснулись бы, увидь они

в волшеб ном зеркале судьбу своего собрата, закрывавшего теперь последнюю страницу двухсотвековой истории их альма-матер.

Итак, последний гардемарин русского флота, продолжатель славного дворянского рода, старейшина отечественных подводников капитан 1-го ранга в отставке Пышнов коротает свой век на берегу Иртыша, в старинном казачьем селе…

Первым моим движением было немедленно лететь в Омск, а там добираться на чем придется в Черлакский район, в село Иртыш. Там, там жил человек, который знал в лицо давным-давно исчезнувших героев этой книги, который помнит их живыми – их обычаи, их смех, их шутки, пристрастия и страсти, их дела, подвиги и смерти! Там жил человек, чья жизнь – роман с неразрезанными страница ми; на его глазах, при его участии разворачивалась героическая авантюра подводного плавания первых лет советского флота.

Память его, словно несгораемый сейф, хранила множество «дел», помеченных грифами «Исторически важно», «Оглашению не подле жит», «Хранить вечно!» Ему были ведомы судьбы многих сброшен ных в Лету моряков, их сгинувших подводных кораблей… Но он был нем, как капитан Немо. В его молчании, в его затворничестве угады валась трагедия – судьболомная, непреходящая и поныне… Зачем он обрек сам себя на пожизненное пребывание «во глубине сибир ских руд»? Что это – покорность судьбе или горделивый ей вызов: «Раз уж ты забросила меня сюда, здесь и оста-

нусь. Не сбегу. И в Си бири солнце встает…»

Село Иртыш. Декабрь 1987 года

Под острой кормой моторной гондолы, под дрожащим недвиж ным крылом плыла земля зимней Сибири – безымянная карта реч ных извивов и заснеженных равнин, почти без признаков челове ческого труда, жилья, жизни. В оспинах занесенных озер она каза лась простором иной планеты.

Я летел в Омск, я летел к Пышнову почти безо всякой надежды, что «сибирский сфинкс» нарушит обет молчания, данный им в камере кронштадтской следственной тюрьмы.

Самолет вывалился из облака над самыми городскими крышами, над уличными фонарями, над рекой с проломленным ледоколом руслом, в котором дымилась на морозе черная вода. Иртыш!

От огромного омского автовокзала маленький «пазик» вывернул на шоссе, уводящее в казахские степи, и через несколько часов вымо раживающей душу езды я вылез у околицы большого села. Две длинню щие, километровые улицы тянулись вдоль Иртыша – Ленина и Круп ской. Над заснеженными крышами горели редкие фонари. Маленький гипсовый Ленин в крашенном золотянкой пиджаке стоял на невысо ком постаменте по колено в снегу перед правлением совхоза.

В самом конце бесконечной улицы примостился крепкий кирпич ный домик в три окна. Я постучался в глухие, плотно сколоченные ворота. Мое явление среди ночи не было

неожиданностью для хозяев домика. Я предупредил о своем визите по телефону, который поста вили Пышновым с месяц назад.

Иртышский затворник – бритоголовый сухонький старец с породистым тонким носом и голубыми глазами под седыми бровями – встретил напросившегося гостя с сибирским радушием: на столе дымились пельмени, пел самовар.

Он много и жадно расспрашивал меня о московских новостях, о Севастополе, в котором родился, о Кронштадте, в котором служил, и, конечно же, о флоте: что за лодки теперь, что за моряки ныне?…

Я рассказывал, разглядывая украдкой стены его пожизненного «отсека», пытаясь понять, как живет вдали от морей старейшина русского флота.

То было обычное деревенское жилище весьма среднего достат ка: крашеные дощатые полы, покрытые дорожками, беленые стены с фото в рамках. В красном углу – телевизор под белой салфет кой…

Моряцкое прошлое хозяина выдавали лишь пластмассовый яко рек-сувенир на столе да фотопортрет в простенке: 30-летний коман дир РККФ в беловерхой фуражке, с нарукавными нашивками «седь мой категории».

Странно было слушать в этих стенах по-петербургски правиль ную, городскую речь… Вой пурги, пение самовара, ночной собачий перебрех настраивали на охотничьи рассказы и прочие идиллические темы. Но Пышнов говорил о срочных

погружениях, о балтийских глубинах, о навсегда исчезнувших в них подводных лодках…

Я готовился к великому труду – разговорить великого молчаль ника. Но мне не пришлось прибегать ни к каким ухищрениям. Просто в душе Пышнова прорвало наконец плотину. Ему надо было выгово риться за все пятьдесят лет, и более благодарного слушателя в этот момент рядом не оказалось.

Нет, он вовсе не жил бирюком. И здесь, в Иртыше, к нему заха живал иногда сосед-приятель, бывший старшина эскадрона; с ним Пышнов толковал о международных делах. Но разве мог эскадронец понять, что такое срочное погружение с дифферентом в трид цать градусов или всплытие под форштевнем линкора?

Мы проговорили почти что до утра. Оба разволновались не на шутку: Пышнов – от нахлынувших воспоминаний, я – от всего услышанного. Чтобы уснуть, и он и я выпили по таблетке диме дрола. А потом короткий зимний день отгорел в рассказах и расспро сах, и вечер, и полночи, и снова таблеточный сон, и еще день…

Да разве перескажешь всю жизнь за трое суток?! Что там тысяча и одна ночь Шахерезады!

Жизнь Пышнова делилась на четыре четкие полосы: белую, как гардемаринские погоны, красную, как флаги его кораблей, черную, как ночи ухтинских лагерей, и снова белую, как снега его одино чества.

Мой собеседник происходил из севастопольских моряков, заслуживших дворянство в морских баталиях и походах. Корни же рода уходили к одному из воронежских плотников, строившему для Петра первые русские галеры и брандеры.

Дед его, контр-адмирал Михаил Яковлевич Пышнов, был произведен в мичманы спустя четыре года после Крымской войны, в которой старший брат его, моряк, отличился на севастопольских бастионах. Вообще, Пышновы участвовали во всех войнах, которые вела Россия на Черном море; за это родичи Александра Александровича получили три десятины степной земли под Севастополем, на которых выстроили дом, разбили сад, виноградник и баштан. В этом-то доме и появились на свет семь братьев Пышновых и три их сестры – десять детей было у старого адмирала, бросившего свой семейный якорь на степном хуторе. Из семерых сыновей шестеро стали морскими офицерами (седьмой – армейским артиллеристом). Среди этой новой волны Пышновых-моряков был и отец последнего гардемарина – Александр Михайлович Пышнов, чье имя знакомо истори кам флота. Артиллерист от Бога, А. М. Пышнов был назначен коман диром заложенного в Николаеве наиновейшего для своего времени дредноута «Измаил». Вскоре он передал новостройку Иванову-Тринадцатому, а сам ушел на броненосный крейсер «Рюрик», спущен ный на воду спустя два года после героической гибели его предшест венника. Почти

сто лет носили это славное имя русские корабли. Капитан 1-го ранга (впоследствии контр-адмирал) Пышнов был послед ним командиром последнего – пятого по счету – «Рюрика» и участ вовал почти во всех его боевых операциях на Балтике в первую миро вую войну, за что и был награжден золотым Георгиевским оружием.

– После февраля семнадцатого, – рассказывал Пышнов, – отец некоторое время командовал 2-й бригадой крейсеров Балтийского моря и далее принимал активное участие в спасении наших кораб лей и имущества от немецкого нашествия. До окончания граждан ской войны он служил в центральных учреждениях флота в Петро граде. А в двадцать девятом – умер дома от прободной язвы желудка.

Брат отца, мой дядя, старший лейтенант Дмитрий Михайлович Пышнов, погиб со своим эсминцем, которым он командовал, – «Лей тенант Пущин» – у вражеских берегов на Черном море. Михаил Михайлович сложил голову еще раньше – в русско-японскую войну во Владивостоке. Он был капитаном дальнего плавания Доброфлота. Алексей Михайлович, артиллерист, убит на турецком фронте в конце войны.

Яков Михайлович, старший лейтенант, служил на гидрографи ческих судах, в гражданскую воевал на стороне красных, плавал на Тихом и Северном океанах. Неизвестны мне лишь судьбы Бориса и Василия Михайловичей. Оба были кавторангами на Черноморском флоте и, скорее всего, ушли со своими кораблями куда-нибудь в Бизерту.

Такая вот родословная…

Нас с Борисом, со старшим братом, определили сначала в Москов ский кадетский корпус – в Петроградский недобрали полбалла по математике. Потом отец сказал: «Ну хватит «ать-два» изучать, пора к делу приобщаться». И я подал рапорт о переводе в Морское училище. Перейти туда можно было, только если по всем предметам высокие баллы. Никаких скидок на династию, деда-адмирала, отца-коман дира… Мне пришлось год заниматься в пансионе отставного капераига Анцова, который готовил юношей для поступления в Мор ской корпус весьма и весьма…

Наконец в 1916 году я стал гардемарином…

Морской корпус… Еще не все, что должно, сказано об этом зна менательном творении Петровом – школе навигацкой, морском учи лище, из которого двести восемнадцать лет выходили командиры бригов, фрегатов, клиперов, крейсеров, броненосцев, эсминцев, лин коров, подлодок… И не только они, но и знаменитые художники, поэты, бунтари, открыватели земель, мужи науки, покорители морей и океанов… И доныне эти старые стены на Васильевском острове передают что-то такое своим питомцам, что долго отличает их потом от выпускников всех прочих училищ страны…

Все герои этого романа вышли из ворот Морского корпуса: Ризнич, Домерщиков, Ларионов, Щенснович, Беклемишев, Левицкий…

В марте 1918 года Морское училище упразднили.

Пером писателя. *«В один мартовский день, – писал одно кашник Пышнова выдающийся советский маринист Леонид Собо лев, – те из гардемаринов, которые за это время не смылись к Кале дину на юг или к Миллеру на север, вышли на набережную с бухан кой хлеба и фунтом масла, отпущенными комитетом на первое время, и разделились на две неравные части: большая подалась по семьям, где их через родных пристроили по продкомиссиям, по службам или по университетам – доучиваться, а меньшая, бездомная и не имеющая в Петрограде теток, скромно пошли по судовым комите там „наниматься в бывшие офицеры“.*

Все так и было. Бело-синие цвета гардемаринской жизни сме нились на бело-красные. Последний – «ленинский» – выпуск был втянут в огненную круговерть гражданской войны. Немногим удалось отсидеться по домам. Гардемарин Анатолий Иванов-Три надцатый ушел на Дон к Каледину; там в морской роте, которой командовал кавторанг Потемкин, тот самый, что добивался руки Маши Левицкой, младший сын командира «Пересвета», был тяже ло ранен, а вскоре погиб: его выбросили с верхнего этажа госпи таля.

Гардемарин Соловьев сражался в красных рядах и был убит под Шенкурском.

Гардемарины братья Вердеревские, сыновья морского министра, разошлись по разные стороны баррикад. Андрей эмигрировал вме сте с отцом, окончил политехнический институт в Льеже, проекти ровал тоннель под Дарданеллами;

Виктор остался в подводном фло те РККФ, дважды подпадал под репрессии, 18 лет в лагерях, умер в Нальчике в 1976 году.

О судьбах этих юношей, мечтавших о кругосветных походах и морских сражениях, дороживших своим братством и познавших цену ему, себе и своим наставникам, напишут еще и поэт, и романист, и историк.

На том непростом распутье восемнадцатилетний Саша Пышнов выбрал себе Север. Он хотел одного – плавать, плавать, плавать. И тот год, который ему не пришлось доучиться в Морском корпусе, добрать на мощной ледокольной флотилии, что базировалась тогда на Архангельск: «Илья Муромец», «Святогор», «Микула Селянинович»… Вопреки семейной традиции, он выбрал не артиллерию, а штур манское дело, более того, самую трудную его часть – девиацию, науку, отчасти схожую с колдовством: уничтожение магнитных капризов компасов, выверка и приведение к максимальной точности путеуказующих приборов. Учитель у Пышнова был отменный – полковник корпуса гидрографов Александр Николаевич Арский, один из отважного племени флотских первопроходцев, немало поски тавшийся по «медвежьим углам» необжитых морей. За исследование Закаспийской области он был награжден персидским орденом Льва и Солнца. Он описывал и промерял финские шхеры, ставил маяки на Белом море… В 1913 году был избран почетным членом Общества архангельских лоцманов имени царя Михаила Федо-

ровича.

Двое сыновей Арского – Владимир и Борис – носили погоны лейтенантов. Владимир погиб в штормовом Каспийском море, коман дуя красным Средне-Астраханским речным отрядом. Борис, бывший младший флаг-офицер штаба командующего отрядом заграждения Балтийского моря, эмигрировал в Норвегию и сгинул перед второй мировой войной где-то в Дании.

Папа Арский принял старательного и толкового гардемарина как третьего сына. Правда, когда тот умудрился сдать ему карту прогнозов за прошлый год, полковник Арский посадил Александра на трое суток каютного ареста с «пикадором», то есть с часовым. То был самый первый арест в жизни Пышнова и, увы, не последний… Каким смешным и милым казалось потом то каютное заключение из глубины ухтинских лагерей!

Вряд ли в том бурном восемнадцатом году, стоя у памятника Петру на набережной Двины, Пышнов думал о том, что нить его ста рого моряцкого рода наматывается на все то же историческое вере тено, запущенное Петром. Старейшая гавань России, ее порт, ее город решали свою судьбу. Решал ее и начинающий навигатор Гидрогра фической экспедиции Белого моря.

Все определилось, когда его товарищ по Морскому корпусу Ярослав привел Александра на единственную в Архангельске под водную лодку, которой командовал его старший

брат лейтенант Павел Лазаревич-Шепелевич. То был знаменитый «Святой Георгий», зазимовавший в Архангельске после океанского перехода. Его пер вый командир – капитан 2-го ранга Ризнич – отбыл в Мурманск, а лод ку принял весьма жизнерадостный офицер-подводник, гитарист, не чуравшийся вина и женщин. Кораблем и командой занимался он мало и кончил прескверно. С флота его выгнали, какое-то время работал завхозом в системе НКВД, там спился окончательно и умер под забором.

Пышнов облазил «Святой Георгий» от аккумуляторных ям до мостика. Он никогда не видел подводных лодок и вряд ли догады вался, какое место в его жизни займут отныне эти странные ко рабли…

В своей заветной гардемаринской тетради Пышнов рисовал дред ноуты Ютландского сражения, крупнейшего в истории флотов. Ох как бы обиделся он, если бы рука провидца изобразила бы среди благородных и грозных силуэтов допотопный профиль речного колес ного буксира!

«Вот ваш первый боевой корабль, гардемарин Пышнов, – хихик нул бы при этом ему на ухо голос Провидения. – Называться он будет тральщик «Пикша». А воевать придется вместе с «Пилой-рыбой», «Пескарем», «Мойвой», «Рябушкой»… А как вам понравятся боевые спутники «Вера», «Гриша» и «Пеструшка»? А колесный бук сир 1862 года постройки «Химера»?

Ну а базироваться вы будете отнюдь не на европейские

столицы, не на Гельсингфорс или Ревель, а на озерную глухомань, где селяне жили в лесу, молились колесу, веревкой хлеб резали и каждый год платили языческую дань Онего-морю: сталкивали в воду дырявую лодку с чучелом из соломы, и та тонула под древние песнопения стариков…»

– Вот такими же ветхими были и наши корабли, – усмехается Александр Александрович. – Когда управление Северо-Западного речного пароходства узнало, что ему надо выделить суда для нашего дивизиона траления, то есть на верную гибель для английских мин, оно и собрало эту великолепную армаду из колесных «химер» и «пеструшек». Борта их можно было пробить простой «шкрябкой», что частенько и случалось. Никаких паровых шпилей или лебедок на них не было, тральные работы проводились вручную – авралом всей небольшой команды. Даже якоря – «навались!» – вымбов ками1 выхаживали. Бывало, что вместе с тралом подтягивали к кор ме и саму мину. Так погибла «Пила-рыба», унеся с собой всех, кто на ней плавал, до единой души… А что делать? Англичане замини ровали Онегу так, что парализовали все судоходство. Питеру же нужны были дрова, лес, рыба… То была трагическая эпопея…

Три года ходил он на «Пикше» по минам. На Балтику вернулся военмором, да еще с наградными часами «За оборону Петрограда». В двадцать втором получил в командование свой первый корабль – бывшую яхту генерал-адмирала «Стрела», назначенную посыльным судном, а затем траль-

щиком. Носилась «Стрела» между Питером и Крон штадтом, возя порой высокое морское начальство. Вот тут оконча тельно решилась флотская судьба ее двадцатитрехлетнего команди ра. Пышнов любил парус и частенько спускал шлюпку под гротом, не раз и сам выходил на Кронштадтский рейд. Он и знать не знал, что на его одинокий парус поглядывал из своего кабинета начальник штаба Балтийского флота Лев Михайлович Галлер. Однажды – это было в 1923 году – начштаба шел на «Стреле» в Петроград. Галлер поднялся на мостик, долго присматривался к молодому коман диру и вдруг спросил:

– Это ваш брат на «Славе» служил?

– Мой.

Галлер помнил, что артогонь на его линкоре корректировал в Моонзундском бою мичман Борис Пышнов.

– Хотите вторым помощником командира на линкор «Марат»?

– Куда угодно, только не на линкор! – взмолился Пышнов и пояснил: – На тральщике я сам себе хозяин, а на линкоре – Каштанка, беги-неси-подай.

– Хорошо. Доложу Викторову.

Командующий Балтийским флотом знал Пышнова не понаслышке, не раз и не два ходил на «Стреле». Он-то и распорядился: «Пыш нова – в подплав».

И тогда, и потом этот неожиданный перевод Александр Алек сандрович объяснял себе просто – парус. Кто-кто, а

Викторов, офи цер старого флота, прекрасно знал, что настоящий моряк начина ется с паруса, как казак – с коня. А моряки подводной дивизии нужны были более чем настоящие – отчаянные и хладнокровные, грамотные и умелые… Ибо на тех стальных гробах, что третий год ржавели без ухода в Кронштадтском порту, могли выходить в море, а уж тем более погружаться, сорвиголовы, самоубийцы, – кто угод но, только не те, кому был дорог душевный покой.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА:*«Сейчас осталась только одна лодка, год ная для строевой службы, из девяти, числящихся в составе морских сил Балтийского моря, – это „Краснофлотец“… Этот краткий пере чень говорит сам за себя и показывает, что мы идем к факту полной гибели нашего подводного флота. Только экстраординарными мера ми можно задержать его гибель».*

Пышнова назначили минером на «Товарищ» (бывшую подлодку «Тур»). Командовал ею Александр Ждан-Пушкин, в недавнем прош лом мичман.

– Тогда у нас такой обычай был заведен, – вспоминал под одышливый вой пурги за окном помолодевший вдруг Пышнов. – Перед выходом в море вся команда, от командира до кока, писала завещания. Конверты с ними хранились в сейфе у старшего адъютан та командира бригады. Страховали только сдаточную команду, а нас нет… Ну да мне и завещать-то чего было?! Чемоданчик, койка на бербазе – вот и все имущество… Зато кормили как на убой: на каж дый день

полагалось 400 граммов мяса! От цинги – клюквенный экстракт, хлеб выдавали всегда мягким – проспиртованным на не мецкий манер.

Подводников, даже во времена молодости их кораблей, считали смертниками. Теперь же, когда их «барсы», «леопарды», «вепри» были изрядно потрепаны войной, когда вышли все мыслимые и немыслимые сроки ремонтов, с обржавленными корпусами, текущими сальниками, залитыми перископами, «газующими» аккумуляторами, чей водород взрывался неожиданно и страшно, они и вовсе были дважды смертниками.

Любой пустяк мог стоить жизни. Ну кто бы мог подумать, что перемена только сорта сурика, который входил в состав действую щей массы аккумуляторов, будет стоить кому-то жизни?! До революю ции сурик покупали в Бразилии, он славился химической чистотой и не «водородил». Когда в двадцатые годы его заменили на отечест венный, менее чистый, то по лодкам прокатилась серия «гремучих» взрывов. Что такое взрыв водорода в аккумуляторной яме, весьма впечатляюще рисует человек, чудом переживший подобный удар, – матрос Александр Злокозов.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА:*«Заканчивали мы зарядку аккумуляторов. Я находился в первом отсеке у торпедных аппаратов. Переборочная дверь во второй (аккумуляторный. – Н. Ч.) отсек, как всегда в боевом походе, была закрыта на клиновой запор. Вдруг раздался глухой, но сильный взрыв. Лодку*

тряхнуло. Меня отбросило к торпедным аппаратам, я ударился о них. Свет погас. Отсек стал наполняться дымом.

Сквозь дым я увидел через приоткрывшуюся дверь голубоватого цвета пламя во втором отсеке. Оттуда слышались стоны людей. Потом они прекратились. Я стал кричать. Но никто мне не ответил. Тогда я бросился к двери – раздумывать больше было некогда.

Переборочную дверь сорвало с клинового запора. Я подумал, что надо ее задраить, чего бы это ни стоило. Задраивать было очень труд но – барашки с винтов поотлетали. К тому же темнота полная. Но я отдал все силы и дверь все же задраил. После этого позвонил своему старшине Егорову в седьмой отсек и доложил, что дверь задраена, а я задыхаюсь от дыма. Егоров приказал открыть нижнюю крышку люка. Крышку я открыл из последних сил и тут же поте рял сознание…

В отсек отправилась аварийная партия с надетыми масками изолирующих спасательных аппаратов. Матросы открыли дверь сначала во второй, а потом и в третий отсеки. В свете ручных фона рей они увидели страшную картину: изуродованные трупы, беспоря дочно разбросанные груды обломков деревянных переборок и коек. Один из краснофлотцев, не вынеся потрясения, упал в обморок.

Половина экипажа во главе с командиром погибла. В отсеках царил мрак, стоял тяжелый запах дыма и хлора. Лодка могла дви гаться только в надводном положении – электро-

энергии для под водного хода не было. И что самое страшное, не было ее и для того, чтобы запустить дизеля, привести в действие радиостанцию и гиро компас».

Именно так погиб на «Сталинце» командир Пышнова по дивизио ну подводных лодок, один из первых советских подводников, мич ман «керенского выпуска», участник Ледового похода, бывший ми нер «Пантеры», выпускавший торпеды по «Виттории», – Генрих Таубе.

– В тот поход вышли все три лодки нашего дивизиона, – вспоминал Александр Александрович, – Л-1, Л-2 и Л-3. Я командовал последней. Таубе должен был идти со мной. Он сказал мне, что этот поход для него последний, так как его должны перевести в Учебный отряд подплава на преподавательскую должность. Как сказал – «последний», – так и получилось. Перед самым отходом комбриг Самборский пересадил Таубе на Л-2, «Сталинец»…

После гибели Таубе меня назначили командиром дивизиона подводных минных заградителей. Прокомандовал я им с год, а в июле тридцать пятого меня снова повысили – столь же неожиданно и опять же после трагического случая, – мне пришлось занять долж ность командира бригады малых подводных лодок…

Пышнов явно скромничал, говоря о случайности своего назна чения. К тому времени он закончил специальные командирские классы. Другое дело, что у него, с его адмиральской родословной по царскому флоту, не было никаких шан-

сов занять адмиральскую должность во флоте красном. Тут нужны были титанические уси лия по службе и в науках, чтобы подниматься вверх с пудовым грузом своего дворянского «соцпроса» – социального происхож дения.

Да, в те времена были и высокие взлеты, тот же Галлер, напри мер. Но Галлера, как и других спецов, спасал боевой опыт, специаль ные знания. Пышнов же пришел на РККФ недоучившимся гарде марином, с классово чуждым прошлым. И тем не менее он шагал по ступеням служебной лестницы, не отчаиваясь от мысли, что иному его коллеге, с безупречной пролетарской анкетой, все то, чего добил ся он ценой неимоверных усилий и самоограничений, далось во много раз проще и легче.

Бывший черный гардемарин, Адмирал Флота Советского Союза И. С. Исаков, вспоминая на склоне лет своих предков, рассказал своему биографу, что его прадед был иеромонах в Восточной Арме нии, а дед – мельник в одном из сел под Гянджой. «Но только, ради бога, не пишите, – с лукавым испугом предупредил он писателя, – что дед был мельником, хоть и сто лет тому назад. Дед-мельник, даже бедный мельник, – кадровики этого не вынесут».

Ну а дед – адмирал? О чем вообще говорить?!

Только взяв во внимание все эти обстоятельства, можно понять, какое это удивительное явление – тридцатишестилетний комбриг Пышнов. Через год он уже был первым кандидатом в команди ры дивизии подводных лодок. Эстафе-

та подводницких флагманов Щенснович – Левицкий готова была продолжиться в личности Пышнова.

То, что нравилось кадровикам, порой не нравилось подводным лодкам, существам коварным, не прощавшим ошибок ни врагу, ни своему экипажу.

Анкета командира подводной лодки № 4 («Леопард») Атавина, типичного выдвиженца из рядов гегемона, импонировала кадровикам, несмотря на то что новоиспеченный командир служил на флоте без году неделя и никаких кораблей, даже катеров, по морям не водил. Беда не замедлила грянуть…

– В 1931 году две подводные лодки – «Ерш» и «Леопард»1, – рассказывал Пышнов, грустно покачивая головой, – вышли в Фин ский залив на отработку задач совместного плавания. «Ершом» командовал мой однокашник по Морскому корпусу, с которым я всегда был очень дружен, – Николай Александрович Царевский. Он тоже отвоевал на гражданской, а перед подплавом служил помощ ником командира миноносца № 213.

Ночью в сильный шторм лодки потеряли друг друга из виду, но продолжали идти прежним курсом. Атавин решил догнать Царевского, лечь ему в кильватер. Но не рассчитал скорости, а главное, дистанции, задел корму «Ерша» правым ограждением носовых ру лей глубины и пробил ему прочный корпус. Пробоина неболь шая – с ладонь, да вся беда, что к ней не подберешься: ее закрывала главная судовая ма-

гистраль… Переборок тогда, разделявших корпус на отсеки, не было, и «Ерш» очень быстро затонул со всем эки пажем.

Атавина судили, дали ему 10 лет и отправили в Соловецкий ла герь, откуда он пытался бежать, захватив парусную шхуну. Его расстреляли.

Некомпетентность, полузнайство, самонадеянность – наша дав няя беда. Именно она погубила подводную лодку «Буки-три» – бывшую «Рысь», переименованную в «Большевик».

Шли большие маневры Балтийского флота, по плану которых Б-3 должна была выйти в атаку на флагманский линкор «Марат» с подныриванием под кораблем.

Я хорошо знал эту лодку, поскольку командовал ею раньше. Те перь на ее мостике стоял бывший командир плавбазы «Смольный» Голоднов, выпускник параллельных классов училища имени Фрунзе. Подводное дело знал он неважно, служил на лодках всего лишь несколько месяцев. Он даже по складу характера не подходил на роль командира-подводника, будучи от природы большим флегмати ком и тугодумом.

27 июля 1935 года в Финском заливе Б-3 вышла в учебную атаку на линкор, шедший под флагом начальника штаба КБФ Исакова. С линкора лодку заметили лишь тогда, когда она вошла в «мертвый угол» и отвернуть уже было нельзя. Таранный удар на линкоре почти не ощутили. Лодка же попала под огромные линкоровские винты. Гибель ее была мгновенной. Только воздушные пузыри да нефтяное пятно

недолго обозначали место трагедии.

Потом выяснилось, что виноват был не только Голоднов, но и тот, кто стоял за спиной Исакова на мостике линкора. Если не ошибаюсь, это был Ворошилов, некомпетентно вмешавшийся в управление кораблем. Однако всю вину за гибель Б-3 Исаков взял на себя.

Даже в те весьма немилосердные годы военное ведомство не стыдилось отдавать долг памяти погибшим воинам. В центральных газетах был опубликован список жертв и сообщение ТАСС: «25 июля с. г. в Финском заливе во время учений Балтийского флота, при выпол нении сложного маневрирования, на подводную лодку Б-3, находив шуюся в подводном положении, наскочил надводный корабль. Лодка затонула. На лодке находилось 55 человек команды и курсантов морских училищ. Люди все погибли.

Лодка Б-3 – старого типа «Барс», постройки конца империали стической войны (вступила в строй в 1917 году).

Правительство постановило выдать семьям всех погибших коман диров и краснофлотцев по 10 тысяч рублей единовременно каждой и установить персональные пенсии. Приняты меры к подъему лодки. Похороны погибших будут произведены в Кронштадте с надлежа щими воинскими почестями».

– Если рассказать, как мы жили и как мы плавали, – усмеха ется Пышнов, – современные подводники просто не поверят.

Холодильников не было. Питались консервами. Пресной воды хватало на 21 сутки, потом протухала. О приборах регенерации воз духа и не помышляли. Определяли его годность для дыхания дедов ским способом:

– Боцман, чиркни спичкой! Горит или нет?

– Так что трешшит!

Спичка шипела, но от нехватки кислорода не загоралась.

– Пора всплывать!

И всплывали, и плавали. А что делать? Пока не построили новые лодки, надо было плавать на стальных гробах. Надо было учить моря ков, сохранять кадры. Подводное плавание, как и любое непрерывное производство, не начнешь с нуля… Мы знали – строятся новые корабли. И мы их дождались.

Мне выпала честь быть первым командиром новейшего подвод ного минного заградителя Л-3. Того самого, на долю которого в годы Великой Отечественной войны пришелся едва ли не самый крупный счет побед – 28 потопленных кораблей и транспортов. Эта лодка стала гвардейской, о ней написаны книги, ее рубка стоит на поста менте в Балтийске… Ну а мне пришлось испытывать ее на проч ность в глубоководном погружении. Представляете себе, что такое отыскать в мелководье Финского залива глубину в сто метров?! Я отыскал!

И Пышнов зашелся тихим счастливым смешком. Он прихлопнул себя по коленям худых стариковских ног, засуну-

тых в глубокие валенки. То было невидимое миру командирское счастье; то была одна из его моряцких удач. Вообще, он очень везучий человек. На звать его счастливым? Боюсь, многим его счастье покажется куском ржаного подводницкого сухаря или ломтем черного сырого лагер ного хлеба, лежащими рядом с пирожным. И все ж таки в том – «красном» – периоде его жизни он был по-настоящему, по-человечески счастлив. Работа, прекрасная мужская работа, к которой он рвался с детства, – корабли и море! – доставшаяся по наследству от отца, деда, прадеда… Еще жена, милая, интеллигентная женщина, врач Нина Ивановна Сперанская. Из рода *тех самых* Сперанских.

– Скажи, командир, у тебя есть дети? – спросил его Киров, поднявшись на мостик Л-3. Подводная лодка стояла в Балтийском заводе.

– Дочь, Сергей Мироныч!

– А ты ее музыке учишь?

– Нет.

– Зря.

– В музыкальную школу прием ограничен.

– Пойди к секретарю райкома и скажи, что я рекомендовал… А языку учишь?

– Нет.

– Опять зря. Заставь выучить английский; Ну а по секрету мне можешь сказать – на лодке твоей все советское?

– Все, Сергей Мироныч, кроме воздуходувок.

– Ну ничего. И воздуходувки научимся делать. Счастья тебе, командир.

Они и жили по соседству. Киров на Каменноостровском про спекте, а Пышнов в угловом доме, что на набережной реки Карповки, в том самом, где квартировал когда-то изгнанный с флота Ризнич.

К концу тридцатых комбриг Пышнов – один из самых видных подводников Балтики. Вместе с другими авторитетными моряками его приглашают в Кремль, к Сталину, на совещание о перспекти вах подводного флота страны.

– Заранее сфотографировали. Потом сверяли в каждом кори доре. Пока до зала дошли, нервы все в пружину сжались. Дали мне слово. А я ничего умнее не придумал – все страх подлый! – возьми да и заведи речь о тапочках. Что палуба на лодках хоть и рифленая, но скользкая, и подводникам нужна специальная обувь – тапочки на кожаной подошве… Тут Ворошилов нажал кнопку звонка: три минуты истекли. Сталин остановил: «Дай закончить. Его прорвало…» Так про все наши беды и сказал. Обошлось. А на память о той встре че остались две пачки «Герцеговины Флор».

И он улыбнулся боязливо и радостно, как мальчишка.

Он не спешит переходить к черной полосе. Он хочет побыть еще комбригом, моряком…

Любил приезжать к Пышнову в бригаду писатель Леонид Собо лев. Поражался неистощимому подводницкому юмору. В память о тех встречах – цикл веселых рассказов из жиз-

ни капитана 2-го ранга Кирдяги. Пышнов подарил мне еще один, который вполне бы мог прозвучать из уст соболевского балагура.

– Вдруг московскому начальству показалось, что подводников очень уж балуют. И то у них, и это. И кормят, как в ресторане. При слали полковника-инспектора, чтобы тот на месте разобрался, в чем у нас избыток роскоши. Посадили мне его на лодку, и комбриг шеп нул на ухо: «Качни его, чтоб потравил, как кит».

Вышли в море. Встал к волне лагом. Качает весьма ощутимо. Даже слишком. Шторм собирается. Гость мой побледнел, с лица спал. А море не на шутку расходилось. Погрузился. Лег на грунт. Там и на 60 метрах покачивало. Инспектор сам не свой, ко всякому шороху прислушивается: «Слышь, капитан, вроде бы кто-то за бор том шепчет?!» Я ему на магнитный компас показываю: «Видите, стрелка слегка ходит. Грунт каменистый, вот нас течением и водит». Вроде бы убедил.

Лежим на грунте. Всплывать нельзя. Угодишь под такую волну, что электролит из баков выплеснешь. Уже и дышать тяжело. Все признаки отравления углекислотой: потливость, зевота, слабость, апатия… Что делать? Иду по отсекам, подбадриваю людей. Вдруг кто-то с койки за руку хватает: «Умираю, умираю…» Полковник-москвич. «Капитан, высадите меня на берег!…» – «Куда ж я вас выса жу? Справа – Финляндия, слева – Эстония». – «Умру…»

Вижу, умрет. В возрасте человек. Приказал всплывать. Всплыли удачно. Вытащили инспектора под шахту рубочного люка – под свежий воздух с ледяным душем. Так он потом в своем акте нам не только ничего не урезал, но и прибавил кой-чего.

Пышнов снова тихо смеется. Беззубый рот его растягивается до ушей, отчего он разительно походит на доброго диснеевского гнома. Свет в его голубых глазах гаснет враз, и враз лицо каменеет. Оно становится страшным. Передо мной маска зэка.

Пятнадцать лет испытывал Пышнов зыбкую судьбу подводника. Вековой моряцкий опыт предков, живший в его крови, «фирменные» знания, которые он успел получить за два года Морского корпуса, врожденная осмотрительность и предельная собранность– что еще? да, конечно же, счастливая звезда– все это позволило ему выжить под водой, не взорваться с аккумуляторными батареями, не угодить под чужой форштевень, избежать еще множества прочих опасных подводницких «не»…

Он и не догадывался, что главная опасность грозит ему не на море, а на берегу.

Впрочем, догадывался. Окна его дома на Каменном острове по ночам тридцать восьмого года горели тревожным, нездоровым светом. Ждали. Ждали, когда взревет у подъезда полуночный мотор, и лязгнет двер ца, и забухают по лестнице тяжелые шаги…

Однажды поздно ночью Пышнов возвращался со службы. У подъезда его остановил подполковник с петлицами НКВД. «Ска жите, где живет, – он заглянул в бумажку, – такой-то? …» Молодой комбриг мельком прочел: «Ордер на ар…»

Это был первый звонок судьбы.

«НКВД не ошибается», – пробовал он себя успокоить.

26 февраля 1938 года командир 3-й бригады подводных лодок капитан 1-го ранга Пышнов был арестован уполномоченным особого отдела в кабинете командующего Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирала Трибуца.

Он говорит об этом, понижая голос по давней привычке. Будто и здесь, на диких брегах Иртыша, нас могут подслушать, донести…

– Мне тогда показалось, что комфлота был смущен этим неожи данным обстоятельством… В тот же день начальник особого отдела Хомяков, позже судимый за издевательства над арестованными, объявил меня на бригаде «врагом народа». Тогда мой комиссар Серебряков – все-таки были настоящие коммунисты! – выступил против Хомякова и защищал меня на людях всячески. Конечно же, ему это даром не прошло. Арестовали его на другой же день «за поте рю политической бдительности и пособничество врагу народа». Прав да, вынуждены были скоро освободить. За Серебрякова вступился Николай Герасимович Кузнецов, который хорошо знал моего комис сара по совместной службе на «Красном Кавказе». У меня же, увы, не было таких влиятельных

заступников.

В день ареста я узнал, что некто Е. А. Шпаков направил Жда нову донос, в котором утверждал, что комбриг Пышнов, бывший офи цер, тесно связан с Тухачевским и вообще окружил себя на бригаде такими же, как он, бывшими офицерами. Все это было ложью чистейшей воды. Тухачевского я видел один раз, и то из толпы, на митинге. В офицерах старого флота не числился, так как произведен не был. Ну а кадры на бригаде подбирало Управление комплекто вания флота. Позже выяснилось, что был и еще один донос – от моего бывшего подчиненного Момота, которому я чем-то не угодил. В ту пору достаточно было и одного доноса. А тут сразу два.

Три года просидел я в кронштадтской тюрьме особого отдела КБФ. Наконец – суд. Трибунал КБФ под председательством Колпакова вынес приговор: десять лет штрафных лагерей. Мне намекнули, что по кассации приговор лопнет, как мыльный пузырь, ибо дело шито белыми нитками. Так оно и случилось. Но особый отдел предъявил мне новые обвинения и вынес постановление о продол жении следствия. Что это было за «следствие» и какими методами оно велось, рассказывать не буду. Все равно не поверите. Скажу только, что более страшных лет, чем те три года, в моей жизни не было. Вместе со мной прошли все эти ужасы товарищи по подплаву: мой бывший комбриг А. А. Иконников, командиры лодок К. К. Неми рович-Данченко (племянник русского писателя

и советского режис сера), В. С. Воробьев и А. Васильев. Через пересылочную тюрьму, забитую до отказа, нас отправили в Коми АССР, в Ухтинский ла герь НКВД. Когда я отбыл этот срок, «особое совещание» объявило мне новый приговор: ссылка без объявления срока, с прикреплением к городу Ухте. Всего я там пробыл с 1941 по 1957 год.

Ухта. 1941 год

…Долбя киркой вымороженную в камень землю, бывший комбриг прощался с жизнью. Он и в молодости-то не отличался крепким сложением, пятнадцать лет подплава и три года кронштадтской тюрьмы отнюдь не укрепили здоровье. Пышнов сразу же попал в разряд «доходяг безнадежных». Здесь, в Ухтинском штрафлаге, из шести выживал один. Мороз и голод – отменные палачи. Иногда пайку выдавали мукой. Лепили из нее шарики-галушки и ели. Дол били же землю по десять часов в сутки.

По ночам Пышнову снился дирижабль. Тот самый, на котором находился воздушный пост управления подводными лодками и на котором комбригу частенько приходилось подниматься в воздух. Дирижабль зависал над просекой, из гондолы выбрасывали вере вочный трап, и чей-то радостный голос кричал: «Товарищ комбриг, мы за вами!» Пышнов бросал кирку и бежал по недостроенной доро ге к спасительному трапу, бежал, спотыкаясь о комья мерзлой земли, увязая в снегу, задыхаясь, пригибаясь от пуль конвоиров… Вот он, рядом, качается, только бы подпрыгнуть и ухватиться…

Перекладина выскользает из рук и уплывает вверх, вверх, вверх…

Спасение пришло не с неба. Спас себя он сам…

Трасса будущей дороги делала крутой поворот. Радиус плавного сопряжения рассчитывает и определяет инженер-геодезист. Такого специалиста в бригаде дорожников не было, хотя она и состояла сплошь из бывших армейских командиров рангом не ниже майора. Возглавлял их бригадир из уголовников, едва знавший азы ариф метики. Для Пышнова, профессионального штурмана, не составило труда сделать нужные расчеты, соорудить из планок с гвоздика ми примитивный экер1, наметить плавную кривую… Когда на трассу приехало начальство, в свите был инженер-дорожник, ко торый сразу же обратил внимание не идеально плавный изгиб полотна.

– Чья работа? – спросил он.

– Моя, – хвастливо выставился бригадир.

– Врешь! Тут опытная рука. Чья работа?

Тогда показали на Пышнова.

– Ты кто по профессии?

– Штурман. Моряк.

– Будешь работать в расчетной части.

Спасибо Морскому корпусу! Спасибо папе Арскому!

Перевод в «шарашку» отодвигал гибель от холода и физического изнурения. Но призрак голодной смерти, терзавший его семью в бло кадном Ленинграде, стоял и у него за

спиной неотступно.

– Пали две лошади с саповой пеной на мордах, – рассказывал Пышнов за блюдом с горячими пельменями. – Начальник лагпункта, ленинградский вор-рецидивист Алеша, кстати, очень любивший моря ков, поручил мне увезти трупы и залить известью. А мы зарыли их в снег и всю зиму ели мясо. Саповое мясо! Представляете?! И ничего. Обошлось.

И он снова засмеялся тихим счастливым смехом, приглашая и меня порадоваться той его невероятной лагерной удаче. И я засмеялся вместе с ним, радуясь выносливости человеческого организма, а только потом дошло: каков же был тот лагерный голод, если он убивал даже палочки сапа – конской смерти.

И все же от голода спасла его не заразная конина. Все то же дело, которому честно служили он и его предки.

А было так. Приказали срочно раскорчевать участок. Работы – на месяц, а дали неделю. Начальник лагпункта хватался за голову… выручил Пышнов. Предложил стропить пни особым морским узлом – быстроразвязывающимся. И дело пошло. В срок уложились. За этот «подвиг Геракла» начальник лагпункта в знак великой мило сти велел Пышнова расконвоировать. Вот это уже было настоящее спасение. Теперь он мог свободно передвигаться по окрестным се лам, мог ходить в лес, собирать летом ягоды.

– Бруснику. Клюкву. Морошку. Голубику. Княженику… – Он перечислял их, как величайший знаток северной фло-

ры. Нет, он на зывал имена богинь – покровительниц зэков– торжественно и печально.

– Еще собирал грибы. Копил в бутылочке постное масло от каши и потом жарил на нем… Вдруг вызывают к помощнику началь ника лагеря подполковнику НКВД Плаксину. Первая мысль – за что накажут? Может, новый срок? Может…

«Это вы – Пышнов?» – «Я». – «На Балтике служили?» – «Нем ножко». – «Меня не помните? Я был уполномоченным особого отде ла в Военно-медицинской академии. Приходил к вам на бригаду, просил принять сына добровольцем. Ему семнадцать лет было…» – «Помню. Взяли мы его на подводную лодку». – «Погиб он в десанте. На берегу. Такие дела…»

Шел сорок второй год.

Полузакрыв глаза, он перечисляет имена знакомых моряков.

– Капитан-лейтенант Рубавин, командир дивизиона сторожеви ков, расстрелян в тридцать седьмом… Немирович-Данченко умер в лагере… Валя Эмме, гардемаринские классы кончил, брат коман дира «Авроры», у нас в Ухте сидел, электромонтером в лагере рабо тал, – умер… Галлер Лев Михайлович умер в Бутырках… Я часто думаю, что же мне помогло выжить. Мне везло на хороших людей. Самый страшный был первый лагерный год. Новичок. Сгинуть можно было ни за понюшку табаку. Пошел в тюремную баню. Спустился в подвал. Вдруг кто-то предупреждает: «Вправо

не ходи. Там рас стреливают». Это тюремный банщик, бывший матрос с линкора «Севастополь». Дал мне целую пригоршню мыла.

Был конвоир-стрелок, коми. Он когда-то плавал сигнальщиком и потому, узнав, что я моряк, разрешал мне многое из того, что нико му бы не разрешил.

Урки хорошо относились. Из лагерного люда они уважали толь ко врачей и моряков.

Думаю, что из всей нашей арестантской пятерки я выгреб лишь потому, что не падал духом и не опускал рук. Жил верой, что спра ведливость рано или поздно свое возьмет. И не гнушался никакой работы. Вот и весь секрет.

Вызывает командир батальона ВОХР: «Вы плотник, Пышнов?» «Да», – отвечаю не моргнув глазом. «Сможете нам в казарме второй пол настелить?» – «Смогу». Подумал, прикинул как лучше и… на стелил.

Потом пришли токарные станки в мастерскую. Надо их на фун дамент ставить. А как? Взял учебник, полистал. Кое-что вспомнил из сопромата. Поставил. Стали баню строить. Котел, трубы. Тоже ведь по нашей, корабельной, части. Смонтировал. Все-таки в Морском корпусе нас неплохо учили, да и техники до черта было: мины, тор педы, электромоторы, приборы…

Вершиной его лагерного инженерного творчества был «пароход», который он построил из подручных средств. Весенний паводок зато пил дороги, и лагерь оказался отрезан-

ным от Большой земли. Сотни людей остались и без того скудного лагерного хлеба. Надо было срочно наладить подвоз продовольствия. Вот тогда-то Пышнов и предложил поставить на баржу мотор от старого трактора-«фордзона», а к нему приделать что-то вроде гребных колес. И ведь двину лось же это «чудо XX века» по бурливой реке! На «мостике» гибрида стоял Пышнов. Что это было – взлет его лагерной судьбы или гри маса морской фортуны?

Слух о зэке-моряке, который все может, прошел по всем лаг пунктам зырянского «архипелага». Его заказывали, его привозили, он налаживал, строил, изобретал… В 1945-м кончился срок. Дальше должна была быть ссылка. Однако местное начальство не захотело лишаться бесценного спеца, и Пышнова оставили в Ухте. Главку «Востокнефтедобыча» нужны были не только дешевые рабочие руки, но и даровые инженерные «мозги», по злому року (и на счастье главка) потерянные морским ведомством. Пышнова бросили в прорыв на совершенно новое для него дело – бухгалтерское. Автотранспорт ная контора Ухтинского комбината срывала все плановые показа тели…

Профессора Морского корпуса очень удивились бы, узнав, что подготовленные ими штурманы обращаются на сухопутье в клас сных экономистов. За несколько месяцев Пышнов сумел пере строить работу конторы на совершенно новый лад, тот, что сейчас зовется хозрасчетом. Это в конце сороковых-то! Это в системе-то НКВД!

Дела ухтинских транспортников быстро пошли в гору.

В награду выдали Пышнову огородный участок и мешок семен ного картофеля. Все это было весьма кстати, так как Александр Александрович женился.

Нина Ивановна Сперанская, первая любовь, первая жена, погиб ла в поезде, разбомбленном под станцией Инза. Никто ему о ее гибе ли не сообщил, узнал о том случайно, вскоре после войны. Судьба даровала ему крестьянскую девушку из далекого сибирского села, работящую, заботливую, и тоже Нину Ивановну. На Север она при ехала по комсомольскому призыву, работала землекопом в кот ловане.

В 1957 году, после полной реабилитации и операции по удалению больного легкого (подплав и Север сделали свое дело), Пышнов уехал доживать свой век на родину жены – в село Иртыш.

Рельсы судьбы, грозно лязгнув в тридцать восьмом, пере-скочили на новые стрелки бесповоротно.

Нина Ивановна подарила ему двух дочерей (ныне обе – врачи в Ленинграде). Более того, она подарила ему долголе-тие, вторую жизнь, полную душевного покоя и такой нужной человеку близости к земле, реке, всему растущему и цвету-щему вокруг. Она и сейчас души не чает в своем необыкно-венном муже.

Здесь, на берегу Иртыша, Пышнов открыл в себе еще один та лант – талант земледельца, овощевода. Как и все напла-вавшиеся моряки, он с головой ушел в мир цветов, зелени,

плодов. Поверить в то, что он выращивает в этом суровом краю дыни, помидоры, перец, баклажаны, можно, лишь увидев все это в руках гордого сеятеля. Селекционеры-сибиряки ведут с ним разговор на равных, слушают его советы, просят выслать семена. И никто из них не подозревает, что имеет дело не с агрономом, а с питомцем Морского корпуса. Сам Пышнов об этом никогда не забывает.

По старой штурманской привычке он каждый день записывает в разграфленную тетрадь «гидрометеоусловия»: температуру, силу и направление ветра… Он и на ночное небо поглядывает штурман ским глазом, привычно выискивая родные навигационные звезды, будто сверяет по ним ход своей долгой жизни.

В канун 300-летия русского военного мореплавания от флота, ходившего под Андреевским флагом, в строю остался один корабль – спасатель подводных лодок «Волхов» (ныне «Коммуна»), а в живых один моряк – последний гардемарин Морского корпуса Александр Александрович Пышнов.

Последнюю страницу истории «гнезда Петрова» – Навигацкой школы – закроет на брегах Иртыша потомок петровского же кора бельного плотника. На тот случай приуготовлен Пышновым вместе с парадным костюмом и белый флаг с косым синим крестом, сши тый из простыни.

Последняя справка в «деле Пышнова» – из Прокуратуры СССР; сухие строки бесстрастно извещают, что все приговоры и поста новления отменены «за отсутствием состава

преступления». Точ ка. Но чего-то не хватает в этом документе… Не хватает столь обычных в официальной переписке слов в конце: «с уважением». Более того, «с глубоким сочувствием и извинением». Четвертушка желтеющей казенной бумаги с текстом не более, чем в телефонном счете.

После реабилитации Пышнову выплатили два оклада по его последней флотской должности. Не хочется думать, что именно так оценило советское государство, наше общество все безвинно пережитое этим человеком.

Не хочется… Но именно так оно и вышло.

Глава десятая
ПОДВИГ ТРАЛЬЩИКА «КИТОБОЙ»

Была в жизни Пышнова еще одна тайна, о которой он не стал распространяться и о которой я узнал совершенно случайно. Возможно, именно она, эта тайна, открытая чекистами в тридцатые годы, и стоила комбригу свободы, а не его мифическая связь с маршалом Тухачевским. Но и в этом случае он совершенно безвинно принимал свой лагерный крест: уж если сын за отца не ответчик, как лицемерно декларировали «органы», то уж зять за шурина и подавно. Однако слишком велика была ненависть «энкаведешников» к брату жены Пышновой (тогда еще первой и единственной) Нине Ивановне Сперанской – мичману царского флота Владимиру Ивановичу Сперанскому.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.

Владимир Иванович Сперанский родился в 1893 году. После выпуска из морского корпуса в 1915 году начал службу вахтенным начальником на крейсере «Баян». После октябрьского переворота остался на службе в красном Балтийском флоте, командуя тральщиком «Китобой», который входил в состав 3-го дивизиона сторожевых судов.

Чем же так насолил выпускник Морского корпуса 1915 го-

да большевистской власти? Насолил ядреной морской солью – увел из Красного флота к белым боевой корабль – тральщик «Китобой». Впрочем, сделал он это не в одиночку, а с согласия всей команды.

Это небольшое китобойное судно было построено в Норвегии в 1915 году и сразу же было куплено русским правительством для пополнения тральных сил Балтийского флота. Через три года «Кито бой» ушел с кораблями Бал тийского флота из Гельсингфорса в Крон штадт, приняв участие в легендарном ледовом походе. Его включили в состав Дей ствующего отряда Красного Балтийского флота.

Тактико-технические ка чества «Китобоя» были весь ма скромны: 310 тонн водо измещения, 12-узловой ход. Тридцатиметровое суденыш ко несло на себе две 75-мил лиметровые пушки и один пулемет.

Большому кораблю – большое плавание. А малому? Вопреки присловью и Морскому Регистру малень кий «Китобой» проделал большой и опасный одиноч ный поход, оставив за кор мой воды Балтики, Северно го моря, Атлантического океана, Средиземноморья, наконец, Черного моря…

Свою воспетую потом в стихах одиссею «Китобой» начал 13 июня 1919 года, ко гда под брейд-вымпелом на чальника дивизиона, бывшего лейтенанта Николая Моисеева, нес дозорную службу на подходах к Крон штадту между маяками Тол бухиным и Шепелевым. Ко мандовал «Китобоем» быв ший мичман императорского флота, а тогда военмор Вла ди-

мир Сперанский.

Воодушевленные успеш ным наступлением русской Северо-Западной армии на Петроград, бывшие офице ры без особого труда убеди ли команду перейти на сто рону белых. И «Китобой» рванул самым полным на встречу трем английским ко раблям, входившим в бухту. Вопреки ожиданиям Моисее ва, англичане встретили «Китобой» отнюдь не самым лучшим образом.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА: *«Англичане бу квально ограбили сдавший ся им корабль, – свиде тельствовал историк белого флота лейтенант Ни колай Кадесников, – причем не были оставлены даже лич ные вещи офицеров и коман ды, и через несколько дней передали тральщик как судно, не имеющее боевого значения, в распоряжение Морского управления Севе ро-Западной Армии…»*

Морское управление, во главе которого стоял герой Порт-Артура молодой контр – адмирал Владимир Пилкин, находилось в Нарве. Помимо танкового батальона, дивизиона бронепоездов и полка Андреевского флага, оно располагало крошечной флотилией из четырех быстроходных моторных катеров, приведенных капитаном 1-го ранга Вилькеном из Финляндии. «Китобой» стал ее флагманом. На нем поднял свой брейд-вымпел коман дующий речной флотилией участник Цусимского сраже ния капитан 1-го ранга Дмит рий Тыртов.

Весь экипаж тральщика, за исключением механика и

нескольких специалистов, перевели в полк Андреевско го флага, куда списывали всех неблагонадежных, в том числе и тех, кто служил когда-то у красных. Туда же попал и лейтенант Моисеев. Мичмана Сперанского от правили в Ревель в так на зываемый 5-й отдел Морско го управления, который за нимался разгрузкой парохо дов, доставлявших Северо-Западной армии оружие, бо еприпасы и обмундирование из Англии. Однако Сперанскому выпало служить в танковом батальоне Северо-Западной армии. Танки, подобно кораблям, носили собственные имена. Мичман Сперанский сражался в составе экипажа танка «Капитан Кроми». После гражданской войны перебрался в Прагу.

Судьба же лейтенанта Моисеева печальна. Часть полка Андреевского флага перебежала к красным, за хватив с собой офицеров. Моисеев вместе с лейтенан том Вильгельмом Боком был выдан в ЧК.

«Труп Моисее ва, – пишет Кадесников, – был вскоре найден белыми. Погоны на его плечах были прибиты гвоздями – по числу звездочек». В момент гибели ему не ис полнилось и 33 лет.

Судьба мичмана Влади мира Ивановича Сперанско го тоже печальна. В 1945 году он был насильно репатриирован из Чехословакии в СССР, арестован и спустя пять лет умер в Казанской тюрьме. По злой иронии судьбы в этих же застенках томился и его былой сослуживец по Балтике герой Моонзундского сражения, позже видный советский флото-

начальник – замнаркома ВМФ СССР адмирал Лев Михайлович Галлер. В октябре 1917 года капитан 1-го ранга Галлер был старшим офицером линкора «Слава», героически преградившего путь германскому флоту в Финский залив. Мичман Сперанский и адмирал Галлер. В роковом 1919 году они сделали разные, как им казалось, ставки, один поставил на белое поле, другой на красное, а выпал им один и тот же черный цвет: оба скончались на тюремных нарах в один и тот же год – в 1950-м.

Однако вернемся на «Китобой».

Самый героический пери од жизни тральщика был связан с его новым командиром – лейтенантом Оскаром Ферс маном, выпускником Мор ского корпуса 1910 года.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.

Оскар Оскарович Ферсман (1891—1948) из семьи потомственных дворян Лифляндской губернии. После окончания Морского корпуса в 1910 году начал службу на Черном море в качестве вахтенного начальника на крейсере «Память Меркурия». Осенью 1917 года лейтенант Ферсман исправлял обязанности старшего офицера эскадренного миноносца «Беспокойный». После «вахрамеевских ночей» с расстрелом офицеров в Севастополе покинул город и влился в ряды Северо-Западной армии Юденича. Воевал в танковом батальоне в составе экипажа танка «Капитан Кроми».

К концу 1919 года явственно обозначился крах Северо-Западной армии. Эстон цы, с территории которых дей-

ствовали полки Юденича, стали прибирать к рукам войсковое имущество белых. Судьба «Китобоя» тоже была предрешена: день-другой, и над ним взовьется новый флаг – черно-сине-белый, и новая команда поднимется на его палубу. Чтобы не до пустить захвата единствен ного сколь-нибудь ценного судна Морского управления Северо-Западного правительства контр-адмирал В.Пилкин приказал лейтенанту Ферсману ухо дить из Ревеля в Архангельск к генералу Миллеру. Экипаж «Китобоя», состояв ший почти весь из офицеров русского флота, был полон решимости совершить этот непростой переход. Для мно гих из них это утлое, совсем не военное суденышко было осколком флота, которому они присягали и мечтали служить верой и правдой всю жизнь. К тому же в то смут ное время они были рады убогим каютам и кубрикам несостоявшегося китобоя как последнему пристанищу с га рантированным кровом над головой.

Мы бы никогда не узнали подробностей этой героической одиссеи, если бы потомки русских эмигрантов из американского города Лейквуда не переслали архив своего общества «Родина» в послесоветскую Россию. Среди книг, журналов, рукописей, фотоальбомов, писем и прочих документов обнаружился дневник одного из «китобойцев» мичмана Николая Боголюбова, а также небольшой фотоальбомчик, сделанный и подаренный командиру «Китобоя» сотрудником российского посольства в Копенгагене в 1919 году.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Прижатая к границе Эстонии,*

доблестная Северо-Западная армия, ослабленная потерями на фронте и эпидемией тифа в тылу, как никогда нуждалась в помощи сво ей бывшей союзницы, но, вместо этого, вместо сочувствия и помощи, встретила лишь враждебность, а иногда и пря мое предательство. Эстонцы начали захватывать русские интендантские склады и другое государственное имущество, разоружать и интернировать русские части, находившиеся на территории Эстонии и, зачастую, арестовывать и предавать большевикам белых офицеров и солдат.

8 февраля, всего лишь десять дней после заключения так называемого «Юрьевского» мира с Советской Россией, эстонские власти отдали приказ о сдаче офицерам и солдатам Северо-Западной армии в трехдневный срок имеющегося у них огнестрельного и холодного оружия, под страхом ареста и строжайшего взыскания. Согласно тому же приказу, все граждане Эстонской Республики были обязаны донести властям о всех случаях неисполнения русскими этого постановления под страхом денежного штрафа до 25 000 марок и ареста до трех месяцев.

После издания этого приказа участились случаи нападения эстонскими солдатами на русских офицеров и их избиения и ограбления. Появление в русской офицерской форме даже на улицах Ревеля сделалось опасным.

Хотя в военном отношении маленький «Китобой» не представлял из себя большой добычи, Эстония, весь флот

которой в то время состоял из двух бывших русских миноносцев («Автроил» и «Миклуха-Маклай»), одной канонерской лодки («Бобр») и двух небольших ледоколов, решила захватить его при первом удобном случае, а пока что отказалась снабжать его углем.

Во время зимней стоянки в Ревеле командир «Кито боя» лейтенант Г. В. Штернберг заболел и слег в гос питале, и мичман Д. И. Ососов, исполнявший обязанности вахтеннаго начальника, временно занял его пост. В ян варе 1920 года команда «Китобоя», обескураженная крушением Северо-Западнаго фронта и неопределенностью положения, дезертировала. Мичман Ососов вспоминает об этом так:

«В 20-х числах января я проснулся в одно мороз ное утро от холода: отопление не действовало. Вскочив и обойдя корабль, я выяснил, что кроме меня на „Китобое" никого нет, но котел еще теплый. В командном кубрике я нашел записку, приколотую кнопкой к лино леуму подвесного стола, на которой был перечислен пол ный инвентарь имущества, находившегося в ведении боц мана, с припиской приблизительно следующего содержания:

«Ваше Благородие, Вы, офицеры, сможете устроиться и прожить за границей, а мы, матросы, там пропадем, а поэтому решили скопом возвращаться на родину. Будет и что будет… не поминайте лихом. Прилагаю инвентарь вверенного мне имущества».

Выйдя на пристань, я первым делом завербовал двух ко-

чегаров-эстонцев, искавших работу, чтобы раз вести пары и предотвратить повреждения от мороза трубок котла и парового отопления. Как только пары были подняты, я отправился в город и доложил о случив шемся адмиралу Пилкину».

Для того чтобы сохранить честь Андреевскаго флага и спасти корабль для России и дальнейшей борьбы против большевиков, Морской Министр и Командующий Морски ми Силами Северо-Западнаго Правительства контр-адмирал В. К. Пилкин отдал приказ об укомплектовании «Китобоя» холостыми морскими офицерами. Эти офицеры, находившиеся в районах Ревеля, Балтийского Порта и Нарвы, на Отряде Сторожевых Катеров, так и в Танковом батальоне и бронепоездах, стали прибывать на «Ки тобой» в конце января и начал февраля 1920 года…

Согласно сохранившемуся корабельному расписанию, новую команду «Китобоя» к 14 февраля 1920 года, вклю чая командира, составляли: 23 морских и 3 армейских офицеров, морской кадет и 11 нижних чинов, а все го 38 человек.

Приказом Военно-Морского Управления от 25 января 1920 года командиром «Китобоя» был назначен лейтенант Оскар Оскарович Ферсман с предписанием приготовить корабль к походу на Мурманск, где борьба против большевиков еще про должалась.

С этого момента, по иронии судьбы, на долю 230-тоннаго «Китобоя», вооруженного всего двумя 75-миллиметровы-

ми орудиями, выпала честь защиты Русского имени, Андреевского флага и старых традиций Российского Императорского Флота».

Итак, «Китобой» стал тай но готовиться к походу в по лярные моря. Самая острая проблема, с которой столк нулся Ферсман, – уголь. Угольная яма судна была давно и безнадежно пуста. Снова помог герой Порт-Артура контр-адмирал Пилкин.

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА**. «Эти дрова, купленные на частном рынке на средства, отпущенные адмиралом Пилкиным, мокрые и неровного размера, были подвезены на грузовиках в ночь на 12 фев раля и к утру все свободный места, как на верхней палубе, так и в кубриках, были загружены до отказа. С 30 оставшимися снарядами и скудным запасом воды и провианта, состоявшего главным образом из „корн-бифа", сала и мерзлого картофеля, „Китобой" был готов к вы ходу в море.*

Подс читали, что до Копенгагена топлива должно хва тить. А там – Бог не без ми лости, моряк не без удачи.

***РУКОЮ ОЧЕВИДЦА.** «Отдав приказание лейтенанту Ферсману выйти в пол день 15 февраля, – сообщает мичман Николай Боголюбов в своем дневнике, – адмирал, ввиду ухудшающейся об становки на берегу и возможных осложнений, решил уско рить уход и к 10 часам утра уже был на борту „Кито боя". К собранной команде адмирал Пилкин обратился с напутственным словом, приблизительно такого содер-*

жания:

«Поход трудный… Из-за отсутствия былой могучей России, много незаслуженной обиды придется наглотать ся… Сил и средств к защитите чести Андреевского флага почти нет… Только неукоснительное исполнение долга, вера в правоту нашего дела и чувство собственного досто инства смогут сохранить наше лицо… Надо вести себя осо бенно осторожно и скромно в иностранных портах, да бы поддержать честь русского имени и вверенного вам флага, а также и свою собственную… На корабле живите дружно, без личных ссор и дрязг, только тогда поход может быть успешен… Помогайте командиру, не отвле кайте его пустяками от большого дела, которое ему по ручено… Мы с завистью смотрим на вас. Вы вылетаете из клетки на свободу. Мы будем следить за вами и мо литься за вас Богу…»

Около полудня 15 февра ля, обманув внимание эс тонских часовых с помощью случайно подошедших анг лийских офицеров, «Кито бой» по личному приказу ад мирала Пилкина отдал швартовы и вышел на полу замерзший Ревельский рейд, приготовив к бою свои две 75-миллиметровые пушки и подав к ним весь свой боевой запас, состо явший из 30 снарядов».

Это был скорее побег, чем уход.

«Китобой» шел через не протраленные минные загра ждения. Офицеры-кочегары швыряли в топку тяжеленные поленья. Машина с тру дом развивала четырехузло вой ход. Ска-

зывалось некаче ственное топливо. Тем не ме нее беглец добрался до Либавы в надежде там получить уголь. Но прежде чем это про изошло, латвийские власти изрядно попортили нервы лейтенанту Ферсману – сна чала настырными предложе ниями купить судно, а потом откровенными угрозами за хватить его. Уголь дали анг личане, и «Китобой», разведя пары, поспешно ринулся в проливную зону, нашпигован ную немецкими минами.

27 февраля маленький корабль вышел на внешний рейд Копенгагена. О том, что произошло дальше, луч ше всех рассказал поэт рус ского зарубежья Арсений Несмелов:

«…И с волною невысокой споря,
С черной лентой дыма за трубой, —
Из-за мола каменного, с моря
Входит в гавань тральщик «Китобой».
И сигнал приказывает строго:
«Русский флаг спустить».
Якорь отдан.
Но, простой и строгий,
Синий крест сияет с полотна;
Суматоха боевой тревоги
У орудий тральщика видна.
И уже над зыбью голубою
Мчит ответ на дерзость, на сигнал:
«Флаг не будет спущен.
Точка. К бою! Приготовьтесь!» —
Вздрогнул адмирал».

На рейде Копенгагена в то время стояла 2-я бригада крейсеров английского фло та под флагом контр-адми рала сэра Кована: три лег ких крейсера и пять эскад ренных миноносцев. Хорошо известно, что именно сказал адмирал Кован лейтенанту Ферсману:

«Я надеюсь, что каждый английский морской офицер в подобном положении по ступил бы столь же доблест но, как это сделали вы!»

Конечно, в жизни все бы ло не так просто и эффект но, как в поэме стихотворца. В конфликт «Китобоя» с анг личанами вмешалась Вдов ствующая Государыня Им ператрица Мария Федоров на, жившая в то время в Ко пенгагене.

Англичане стояли на том, что «Китобой» – их законный приз, захваченный в июне 1919 года. Британское адми ралтейство требовало от Ферс мана, чтобы «Китобой» шел в Англию с английским экипа жем и под английским флагом. Русские моряки могут нахо диться на борту судна только в качестве пассажиров.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Для небольшой русской колонии, сконцентрированной вокруг Вдовствующей Государыни Императрицы и состо ящей главным образом из дипломатических предста вителей бывшей Императорской России, после революции приход „Китобоя“ под Андреевским флагом был предметом национальной гордости. Чины личного состава „Китобоя“ были приняты как борцы против красной*

напасти, которым удалось вырваться из России, защитники чести России и как родные члены одной общей русской семьи. Государыня Императ рица Мария Федоровна соизволила принять всех чинов „Китобоя" на аудиенции в королевском дворце и в последующем столкновении с британским морским командованием употребила все свои усилия и все свои связи с английской королевской семьей, для того чтоб помочь „Китобою" и предотвратить его насильственный захват».

В конце концов, благодаря моральной поддержке датских властей, французов и дипкорпуса славянских стран британ ское адмиралтейство отказа лось в официальном порядке от притязаний на «безотечест венный» русский корабль. «Китобой» был снабжен углем и провизией для дальнейшего следования.

В Копенгагене они узна ли, что Северный фронт ге нерала Миллера пал, так что идти в Архангельск надобности более не было. Пос кольку у Ферсмана было право действовать по собст венному усмотрению сооб разно обстоятельствам, он принимает решение идти в Севастополь на соединение с Белым флотом Вооружен ных Сил Юга России.

Германия, не желая осложнять отношения с советским правительством, запретила «Китобою» переходить в Северное море Кильским каналом. Пришлось огибать Ютландский полуостров, прокладывая курс по невытраленным до конца минным полям; минные заграждения выставляли и

немцы, и англичане, но «Китобой», даром что тральщик, шел без карт и без тралов, играя со смертью в «русскую рулетку». Точно так же – вслепую – прошли и Ла-Манш, всего лишь два года назад считавшийся «каналом смерти» для немецких подлодок.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Деньги, ассигнованные на поход „Китобоя", выдава лись частями и с большой волокитой, временами ставя ко мандира „Китобоя" из-за отсутствия средств для покуп ки угля, воды и провизии в очень неудобное положение и, таким образом, замедляя движение корабля. Хотя смета, составленная в Копенгагене, включала небольшое жалованье личному составу „Китобоя", лейтенант Ферсман, в целях экономии и с согласия строевого состава корабля, выдавал регулярное месячное жалованье только кочегарам и коку.*

18 июля, по приходу в Шербур, встретили первые американские военные корабли, а также два русских вооруженных ледокола – «Илья Муромец» и «Микула Селянинович», попавшие в Шербур после эвакуации из Мур манска. Стоянка в Шербуре затянулась до 12 августа из-за промедлений французского морского арсенала с ремонтом и серьезной болезни командира «Китобоя». Перед уходом получили некоторое количество сухой провизии с «Ильи Муромца», которую ему удалось вывезти из складов Мурманска более чем в изобилии. В пол день 12 августа снялись со швартовов и, под крики «ура» с ледоколов, вышли в море, повернув на Брест».

На фоне грандиозных событий гражданской войны поход «Китобоя» почти неразличим глазу историка. Тем не менее это было замечательное событие. Горстка молодых отважных офицеров вышла в море, чтобы обрести свое отечество – сначала на Севере, потом в Крыму. Страна уходила у них из-под ног, как палуба тонущего корабля. Они шли к ее берегам вокруг Европы. И все старинные морские песни, казалось, были написаны именно о них. И «Раскинулось море широко», и «Наверх вы, товарищи, все по местам…». И даже «Белеет парус одинокий» – тоже про них. Белел разве что Андреевский флаг на гафеле, из одинокой же трубы валил дым…

Ни на одном пароходе мира не было такой кочегарной команды: швыряли уголь в топку и князь с мичманскими погонами Юрий Шаховский, и кадет Морского корпуса барон Николай Вреден…

Частые поломки заставляли ремонтироваться то в Лиссабоне, то в Бизерте… Последний Андреевский флаг в Средиземном море на гафеле «Китобоя» по-прежнему резал глаз недавним союзникам. Потом была Мальта, греческий порт Пирей…

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«23-го с рассветом снялись с якоря и вошли в Дарданеллы. Про шли Чанак-Кале не обращая внимания ни на французские, ни на итальянские стационеры, хотя те и пытались сигналами остановить „Китобой“. Как выяснилось позже, при возвращении Южному Русскому*

Правительству миноносцев, уведенных в 1919 году из Черного моря на Мальту, англича не отказались пропустить их через Дарданеллы под Андреевским флагом и затем распространили это не допустимое требование на все русские военные суда. К сожалению, русские власти того времени не нашли достаточной твердости для того, чтобы отстоять наши законные национальные права. Уже по приходу в Константинополь командир „Китобоя" нашел телеграмму генерала Лукомского, представителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России, с приказанием спустить Андреевский флаг при проходе Дарданелл. Эта телеграмма, адресо ванная в Пирей, разошлась с „Китобоем" в пути, предотвратив, таким образом, неприятное недоразумение с нашим высшим начальством, так как согласно записям в дневнике лейтенанта Ферсмана, он Андреевского флага ни в коем случае не спустил бы.

Выйдя из Дарданелл, «Китобой» попал в сильный шторм в Мраморном море. Стало сильно заливать, и ход упал до 2 1/2 узлов. Вместе с греческим пароходом, вышедшим немного раньше, повернули и стали на якорь у Галлиполи, гарнизон которого в то время состоял из французских и греческих оккупационных войск. 25 октября ветер стал стихать, и «Китобой» снял ся с якоря и взял курс на Константинополь, 26-го вошли в Босфор и стали на бочку против дворца султана по соседству с более чем десятком союзных и греческих военных кораблей. Кроме них в порту стояло несколь-

ко русских пароходов под трехцветным торговым флагом, а также пришедшее накануне с Дальнего Восто ка посыльное судно «Якут», на котором находился капитан 1-го ранга Китицын с Морским училищем. 27-го пришел в Константинополь и ледокол «Илья Муромец», которого «Китобой» встретил в первый раз в Шербуре. Выжи дая получение угля и воды с русской базы, производя по чинки и пережидая начавшиеся в Черном море шторма, «Китобой» простоял в Константинополе до 7 ноября. Во время стоянки пополнили команду, взяв восемь человек матросов, только что прибывших из Норвегии, куда они попали после эвакуации из Мурманска».

В Севастополь «Китобой» добрался только 12 ноября 1920 года, то есть тогда, когда впору было ложиться на обратный курс. В Крыму начиналась эвакуация Белой армии, а вместе с ней и множества гражданского люда, начинавшего свой бег в никуда. В любом случае лишнее плавсредство в Севастополе было весьма кстати, и «китобойцы» деятельно включились в общий аврал.

По грустной прихоти судьбы лишь несколько суток удалось провести им в России – в Севастополе. А потом снова к чужим берегам – навсегда. Сначала в Стамбул, потом в Бизерту, потом еще дальше – кто в Аргентину, кто Америку, кто в Бельгийское Конго…

С командой и 150 пассажирами на борту лейтенант Ферсман двинулся в Константинополь. Под его же начало опре-

делили еще два тральщика: трудяга «Китобой» тащил за собой на буксире и потерявший ход эскадренный миноносец «Звонкий».

Из Константинополя Ферсман повел свои тральщики в Бизерту, где через три года «Китобой» закончил свое существование как русский военный корабль. Его продали итальянцам. С новым флагом и новым именем «Итало» бывший тральщик начал свою службу в качестве портового буксира в Специи.

СУДЬБА КОРАБЛЯ.

Был ли в истории флотов корабль, которому выпала судьба нести службу под шестью разными флагами и четырьмя именами? Сказка о колобке в военно-морском варианте. «Китобой»-«Итало» был призван в 1940 году на службу в итальянский королевский флот и был переименован в рейдовый буксир G79. Дальнейшую его судьбу установил историк Константин Стрельбицкий: «Всю войну буксир обслуживал дноуглубительные работы в Генуэзском заливе Лигурийского моря…» После выхода Италии из войны команда G79, опасаясь захвата судна немцами, затопила буксир в порту Генуи 10 сентября 1943 года.

Что же касается лейтенанта Оскара Оскаровича Ферсмана, то о нем известно, что из Бизерты он перебрался в Копенгаген, где еще хорошо помнили его нашумевший поступок. Там он и прожил остаток жизни вплоть до 1948 года, когда, уже будучи больным, отправился на пароходе в Аргентину,

чтобы повидаться с братом. Там и умер, аргентинская земля приняла прах отважного морехода.

Ни один российский флот не пережил таких мрачных трагедий, как Черноморский. В годы Крымской войны он был затоплен, дабы преградить путь в Севастополь с моря. В 1918 году добрая часть его была снова затоплена – под Новороссийском, другая – медленно сгинула в далекой Бизерте. В память об этих кораблях, которым выпал столь печальный жребий, поставлены три прекрасных памятника: один в виде одинокой белой колонны-свечи украшает севастопольскую бухту, другой поставлен на Дообском мысу, на траверзе которого уходили под воду линкор «Свободная Россия» и эсминцы с флажными сигналами «Погибаю, но не сдаюсь!»; третий воздвигнут в Бизерте в виде белокаменного храма. На мраморных плитах золотом выбиты имена кораблей, ушедших в изгнание: линкор «Генерал Корнилов», крейсер «Георгий Победоносец», эскадренные миноносцы, подводные лодки…

Именно здесь я впервые увидел это не совсем обычное название – «тральщик «Китобой». Это скромное упоминание – единственный памятник кораблю с судьбой и в самом деле весьма необычайной…

Тогда, в 1920 году, тральщик «Китобой» был последним русским кораблем, над которым развевался Андреевский флаг в европейских водах Атлантики. Спустя 76 лет синекрестное белое полотнище принес сюда первый российский

авианосец «Адмирал флота Советского Союза Н.Кузнецов».

ДУША КОРАБЛЯ
(Вместо эпилога)

Белые пятна новейшей истории не отличаются девственной белизной. Они либо залиты кровью, либо пепельно-серы, как выжженная земля…

Судеб морских таинственная вязь… Вязь – это и узор, это и письмена. Быть может, и в этих арабесках судеб проступают письмена истории – обрывочно-ясные, нерасшифрованные до конца, сбивчивые, и оттого каждый прочтет в них то, что он хочет прочесть.

Никто не знает, как влияют на нашу жизнь ничтожные события прошлого. А они влияют с такой же непреложностью, как и величайшие катаклизмы вроде геологических катастроф или социальных потрясений.

Нити, нити… Все сплетено, все связано. Если рвется что-то сейчас, то чем это отзовется лет через сто? А ведь отзовется, и как отзовется! Каждое наше слово, каждый наш шаг…

СУДЬБА КОРАБЛЯ. *«17 июня 1919 года, – доносил в своем рапорте последний командир крейсера „Олег“, бывший каперанг, а ныне военмор А.В. Салтанов, – вечером для наблюдения за морем был выдвинут к Толбухину маяку крейсер „Олег“ при охране из двух эсминцев и двух сторожевых судов. Крейсер, находясь в полной готовности, стоял на якоре, на*

створе выходных маяков.

В 4 часа крейсер был атакован… быстроходным моторным катером, который выпустил в крейсер торпеду и быстро стал уходить. Торпеда попала в левый борт у кочегарки, приблизительно около 36-го шпангоута. От взрыва крейсер начал довольно быстро крениться. После первого момента паники, которая была ликвидирована минуты через три, команда стала по боевому расписанию, и был открыт огонь по удалявшемуся катеру из орудий левого носового плутонга…

Все попытки выровнять крен не увенчались успехом, и через 10-12 минут после взрыва крейсер, затонувши, лег левым бортом на грунт. Личный состав был снят миноносцами. Погибло 5 человек, и 5 человек было ранено».

То, что моряки одушевляют свои корабли, – это объяснимо, и в этом нет ничего необычного. Но корабли, оказывается, если верить старым морякам, могут любить друг друга, равно как и ненавидеть. Я сначала улыбнулся, когда услышал, что «Аврора» была влюблена в «Олега», что у них был свой «корабельный роман».

«Олег» и «Аврора»… Они родились на одной и той же верфи – Нового Адмиральства. Она – постарше, он на год младше. Впервые встретились они в феврале 1905 года у острова Мадагаскар, когда «Олег» догнал свою белоснежную стройную красавицу, ушедшую с Тихоокеанской эскадрой раньше его. В Цусиме приняли они свое огненное венчание.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Лихо, отважно вел себя наш го-*

ловной корабль „Олег“, – писал в воспоминаниях старший судовой врач „Авроры“ В.С. Кравченко. – Он не прятался за броненосцы, не избегал стрельбы, а сам первый торопился начать ее. Заметив приближение крейсеров, он тотчас же шел им навстречу, вдвоем с „Авророй“ на десятерых, и схватывался с ними на контркурсах. От окончательного расстрела „Олега“ и „Аврору“ спасла быстрота и частая смена ходов: мы сбивали этим неприятеля, не давали ему точно пристреляться. За весь бой верная „Аврора“ ни на одну пядь не отстала от своего флагмана. Один раз, когда „Олег“ почему-то вдруг сразу застопорил свои машины, „Аврора“ вышла вперед в сторону неприятеля и грудью прикрыла „Олега“. (В Маниле всеведущие японцы припомнили авроровцам этот момент.) Около четырех часов с „Олега“ стали кричать в рупор и семафорить: „Мина! Мина!“ Впереди по левой стороне наш курс пересекала мина… „Олег“ успел положить руля, „Аврора“ – нет: все замерли на своих местах, глядя на приближавшуюся по поверхности воды мину. Нас спас хороший ход. Мину отбросило обратной волной, и все видели, как она прошла вдоль судна в двух саженях от левого борта».

Борт о борт пережили они тоску полуплена в знойной Маниле. Вместе вернулись на родную Балтику. Вместе сожгли не одну тонну угля на германской… После Октября «Аврора» ушла в Кронштадт и встала там на долгий отдых в старой Военной гавани. «Олег» охранял покой возлюбленной в дозорах у Кронштадта. Там, у Толбухина маяка, он и по-

гиб от английской торпеды. «Аврора» взяла на память о верном спутнике его якоря, которые носит и доныне. А когда, очнувшись от долгого сна, она впервые вышла в море, то не захотела уходить от могилы суженого. В этом и в самом деле было что-то мистическое.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Этот выход запомнился мне на всю жизнь, – писал командир „Авроры“ в 20-е годы Л.А. Поленов, – особенно эпизод при проходе фарватера около погибшего крейсера „Олег“…*

Подходим к затонувшему «Олегу». И вдруг совершенно неожиданно, без всякой причины, крейсер, миновав «Олега», круто покатился влево.

– Стоп средняя машина! Обеим бортовым полный назад!…

Остановились вовремя, обойдя на циркуляции «Олега». Подошли почти вплотную к зюйдовым вехам, ограждающим отмель. Звоню по телефону в машину. В первый момент мне показалось, что механик остановил левую машину без моего разрешения и крейсер бросило влево. Оказалось, что нет. Начинаю работать машинами назад и кладу лево руля, чтобы выйти задним ходом на фарватер. Выхожу хорошо. Ложусь на створ и опять даю передний ход. Машины работают ровно, руль по показателю перекладывается как следует, но, несмотря на это, опять, пройдя «Олега», крейсер катится влево на то же место. Опять даю назад, выхожу, как в первый раз, задним ходом на фарватер. Даю

ход вперед, теперь уже кладу право руля. Машины, средняя и левая, работают вперед, правая остановлена. И опять вылезаю к тем же зюйдовым вехам. Уж не «Олег» ли мстит за отнятые у него якоря?

Был момент, когда показалось, что поломаю винты на заднем ходу – начинало ветром наносить на «Олега». Долго мы бились на том «заколдованном» месте.

Все выяснилось после тщательного осмотра руля. Оказывается, от сотрясения разъединилась шестерня, соединявшая головку руля. Никто этого не заметил. Головка руля вращается, а руль не перекладывается. Поправили это очень быстро, и все пошло как полагается».

Я пришел к «Авроре» в сумерках. Крейсер стоял на «мертвых якорях», и от этой вечной его стоянки веяло чем-то музейно-скорбным. Высокая зеленая ватерлиния яснее ясного говорила, что угольные бункера пусты и что корабль уже не корабль, а действительно памятник, такой же бездвижный, как если бы его сразу отлили из бронзы.

– Встать к борту! – громыхнула вдруг стальным человечьим голосом «Аврора». – Флаг и гюйс – спустить!

Бодро закурлыкал горн. Едва полотнища коснулись матросских рук, как «Аврора» вместе со всеми кораблями дважды Краснознаменного Балтийского флота зажгла якорные огни. И тут я заметил, как из средней трубы курилась рыжеватая струйка дыма. Корабль жил! Правда, горели топки лишь вспомогательных котлов, но вот колокола громкого боя

во всю свою звонкую мочь созывают авроровцев на учения по борьбе за живучесть. По субботам, как и на всех кораблях флота, на «Авроре» расплескивает свои струи большая приборка…

То, что на легендарном крейсере правится флотская служба, впечатляет не менее, чем медь памятных досок. Это тоже своего рода Вечный огонь… Пока на корабле есть команда – жива его душа.

Особая судьба этого корабля даровала ему пережить всех своих собратьев и недругов. Пережил он и своего безвестного мичмана, младшего артиллериста, начинавшего на крейсере свою долгую одиссею.

В конце концов они оба – и человек, и корабль – вернулись в свой город, а в сорок первом оба встали в общий строй… «Аврора» била из Ораниенбаума по фашистским самолетам точно так же, как по японским крейсерам в Цусиме. И все события этого романа укладываются в жизнь одного корабля, ибо все это, в сущности, было недавно – и тогда, и сегодня. Мы все современники по двадцатому веку.

Книга Судеб… Она скрыта от нас за семью дверями, за семью печатями, за семью графами… Нам дано заглянуть лишь на ее уже перелистанные страницы. Перелистанные прошедшими поколениями. И, вглядываясь в них, вчитываясь в их не всегда понятные знаки, мы пытаемся предугадать, домыслить свое будущее.

Начиная первые главы этого романа, я, разумеется, не

знал, куда приведут меня и как сплетутся нити судеб моих непридуманных героев. Я писал его, как пишут вахтенный журнал… Записывал то, что узнавал в ходе поиска. Но время, время больших перемен правило его. Оно открывало архивы, оно срывало черные чехлы с «государственных тайн», оно вернуло голоса благоразумно онемевшим людям. И я узнал о Корабле и о Человеке то, что лучше бы не знать. Но я обязан дописать и эти горькие страницы…

Ленинград. Февраль 1942 года

Он лежал и смотрел поверх воротника шинели, наброшенной на одеяла, в замерзшее окно.

Окно – камин зимы, холода, смерти. Заиндевелые стекла лили в комнату потоки стужи. Тепло печурки встречало холод где-то посредине комнаты. Граница этого фронта все время гуляла, а ночью, когда печка начинала стыть, подползала к ногам спящих и продвигалась к поясу, к плечам, к ртам, чтобы затопить их холодом, как вода – корабельные люки.

Ледяной воздух подползал к подбородку. Домерщиков прятал голову в скудный ореол печного тепла.

Железную печурку топили словарями – англо-, фанко-, немецко-русскими… Оставался последний – итальянский…

Смерть входила в дом через окно. Он сжался и затаился, как когда-то в детстве, прячась от ранней побудки с утлой надеждой: а вдруг не найдут?

Если совсем не дышать, то Страшная Старуха, может

быть, не отыщет его под грудой тряпья?…

Но тут стукнула дверь, и Смерть отступила к окну, присев на обледенелый подоконник.

Судьба улыбнулась ему даже умирающему… В тот день Екатерина Николаевна с трудом дотащилась до дома и выложила из старой хозяйственной сумки сокровища: осьмушку сыра, банку сгущенного молока, пачку печенья, плиточку шоколада и бутылку портвейна.

Он знал, откуда это.

Он знал, что утром Кити отправилась на прием к командующему Балтийским флотом вице-адмиралу Трибуцу. Она шла сказать ему, что умирает Домерщиков. Наверное, эта фамилия о чем-то говорила Трибуцу, и он распорядился выдать спецпаек.

Он цедил жизнетворный, согревающий напиток по каплям и знал, что Страшная Старуха пьет с ним на брудершафт.

Ну что ж, не каждому так удается попрощаться с жизнью.

Ему шестьдесят. Не много. Но и не мало. Право, за эти годы он пережил, испытал и прожил столько, что иному не выпадет и на две жизни.

Все, все, все было: роскошь и нищета, бои и благоденствие, заморские страны и любимый до слез, до тихого обожания Питер, воля открытого моря и неволя за колючей проволокой, лучшие вина и красивейшие женщины, отцовское счастье и боль навечной разлуки…

Все было.

И слава Богу!

С тем он и умер.

И первый корабль его – он же последний из пощаженных войнами и временем всех прочих его кораблей – крейсер «Аврора», тоже умер. Остуженный, покинутый, израненный, набрал сколько мог студеной балтийской воды и впечатал киль свой в дно Ораниенбаумской гавани.

Но одиссея их – человека и корабля – престранным образом продолжилась и после смерти.

Труп бывшего мичмана «Авроры» и «Олега», старшего офицера «Пересвета» и командира «Млады», бывшего капитана «Рошаля» был отвезен вдовой на набережную реки Карповки и там оставлен по причине малосилья. Рядом – и справа, и слева – лежали десятки, сотни других заледеневших тел. Земля, убитая морозом, не принимала их. Не пухом была она им – тверже мрамора в этом морге под открытым небом. Кто оказался рядом с ним в том загробном, точнее, безгробном бытии его тела? Быть может, такой же скиталец морей, каких по сю пору немало в этом городе? Или ученый, не успевший подарить миру свое открытие? Старуха, некогда блиставшая на балах фрейлина, чудом не загремевшая в Соловки? Мастер, унесший с собой секреты дедовского ремесла? Юная дева из отряда МПВО?… Цвет Петербурга и крепь Ленинграда лежали там.

Зима одела их всех в снежные саваны, вьюги отпевали их,

небо зажигало им звезды вместо поминальных свечей.

Так лежал он и девятый свой день, и сороковой. Так лежали они все на берегу реки-оборотня: простецкая Карповка обернулась вдруг легендарным Стиксом. И все они терпеливо ждали ладью Харона.

Харон не приплыл, а приехал на бортовом грузовике. И не один. Их было несколько, этих печальных перевозчиков бренных тел. И везли они свой скорбный груз через весь город, за Обводной канал, на Среднюю Рогатку к воротам Кирпичного завода.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ. *Мария Семеновна Федоряк, старейшая работница бывшего Кирпичного завода:*

– Почему их только у нас жгли? Другие заводы города для этого не подходили. У них печи не те – круглые, а у нас туннельные были, сквозные. Технология позволяла.

Жгли весь сорок второй, сорок третий, а в сорок четвертом уже умирали меньше. А в сорок втором у завода очередь из машин стояла. Выгружали на транспортер…

…Определили меня на другой конец печи, где зола выходила. Счищали ее в ящики и свозили по узкоколейке в пруд, где сейчас кинотеатр «Глобус» стоит… Помню это, как сегодня: золу в воду свалили, а головы не прогорели, плавают…

Сейчас там метро «Парк Победы» – аккурат на этих печах стоит. А надо бы там памятник поставить…

Евдокия Сергеевна Гриненко:

– Мой муж, теперь уже покойный, в войну был старший

лейтенант. Мы тогда, по правде сказать, расписаны и не были. Просто стояли военные рядом с заводом. Как дым потянет, солдаты говорят: «Ну, пошли работать наши девчата». Ветер стелет дым прямо на них. А запах-то чувствовался. На Пискаревку-то возить далеко, да и не на чем. К тому же эпидемий боялись.

Это, конечно, было очень ответственно. Во-первых, печи надо было подготовить. Во-вторых, людей нужных подобрать. Отбирали девчат покрепче и понадежней. Чтобы, значит, ни на что с покойников не позарились. Да ведь некоторые в городе уже к этому времени баловались – ели мясо. Были случаи. Мы даже ловили таких у себя.

Я была комсомолка, вот и отобрали меня в первую команду. Правда, вначале нам ничего не говорили. Знали мы только, что будем выполнять какое-то особое задание, под которое и надо готовить печи к работе. Одежду нам выдали – обмундирование. Комбинезоны брезентовые, под них – белье. Сапоги, перчатки резиновые. В один из дней сообщили: завтра в ночь выходить на работу. Но не объяснили ничего. А наутро собрали, сказали, что вот, хотят для пробы, для эксперимента сделать у нас крематорий. Врач с нами беседу провел. Объяснил, что в городе опасаются эпидемии. Просил быть спокойными, не расстраиваться. Главный инженер добавил, что хороший спецпаек нам дадут.

Ну, нам тогда ничего было не страшно. Да и нельзя было ни на что обращать внимание. Ведь что творилось потом!

Машины в очередь стояли у проходной. Сжигали-то грубым отоплением – не газом. Трупы на ту сторону непрогоревшие выходили. И опять их – на вагонетки, на загрузку. На вагонетке помещалось до тридцати человек.

В первые дни решено было загружать по ночам, чтоб никто не видел и не знал. Все-таки на других работах тоже были рабочие. Вдруг они прибегут, смотреть станут? А на кого и подействует…

Работали мы в зиму сорок второго в три смены. Я потом спрашивала у директора, сколько у нас сожжено. Он ответил, что без малой цифры – миллион.

У нас специально женщина для учета была, не от нашего завода. Сидела у проходной, принимала у шоферов накладные, где было указано: сколько, из какого морга. Она и после войны еще какое-то время оставалась, эта женщина. Ведь родственники приходили, по спискам сверялись. Я и сама как-то по ее поручению людей на завод приводила, показывала им тот карьер, в который пепел ссыпали.

Хотя ведь – без малой цифры миллион лежит. Никто не поверит в жизни в то, что у нас творилось. Как привозила милиция мертвецов из вскрытых квартир и тут же, в кастрюлях, в корытах… А мы все это тоже на вагонетки вытряхивали. Нет, никто не поверит… Столько людей полегло, а помина им нет.

…А помина им и в самом деле нет…

Сколько раз проходил я асфальтированными аллеями

Парка Победы, не слыша, не чуя, как стучит в асфальтовую коросту пепел моего героя, миллиона его соблокадников. Не скажут о том здесь ни камень, ни крест. Хотя и пытались ленинградцы отметить это место. Но в Смольном решили иначе. К чему сантименты? Зачем городу еще один мемориал? Хватит и Пискаревки.

Как порешили, так и сделали. Приказали забыть, но память не подвластна чиновным приказам. И страшную правду о Кирпичном заводе поведала ленинградская «Смена», как поведал другую горькую правду скромный детский журнал «Юный техник». Правду об обновленной после «восстановительного ремонта» «Авроре».

Там, в доке-эллинге Адмиралтейского завода, стоя на новехонькой палубе легендарного крейсера, мне и в голову не приходило, что нов не только деревянный настил, нов и сам корпус корабля, в котором прежнего, первородного, подлинного, исторического металла осталось не более тысячи тонн.

После полуторагодичного докования «Аврора» как бы раздвоилась. Одна – сверкающая свежей краской на новодельных бортах с неродными пушками, полукопия в натурную величину – была прикована к стенке мощными шарнирами, другая – без труб, мачт, надстроек, стодесятиметровый остов крейсера, названный для успокоения общественного мнения «днищем», – перегнана с глаз долой в Лугу. Когда я увидел ее там, она все еще держалась на плаву, как не тонули в пруду Кирпичного завода «непрогоревшие головы».

Что, если среди них была и голова Михаила Михайловича Домерщикова?!

Мысль эта лишает меня сна.

Утешит ли многомудрый Хайям?

Не сетуй! Не навек юдоль скорбей.
И есть в веках предел вселенной всей.
Твой прах на кирпичи пойдет и станет
Стеною дома будущих людей.

Но, Боже, если на стене этой вдруг проступит узор хотя бы одной такой жизни, какую прожил Домерщиков!

«Летучий голландец» был обречен на вечные скитания по вине капитана. За что же «Авроре» уготовили ту же участь?

И, повторяя вопрос пересветовского матроса, спрошу – где же душа корабля: в старом корпусе, брошенном на произвол Вторчермета, или в новодельном носителе боевой рубки, нескольких котлов и других подлинных частей «Авроры»?

Хранить память предков, реликвии истории – не только нравственный долг, но и великое профессиональное умение. Владельцам «Авроры» не хватило ни того, ни другого. Они оказались из того разряда «ценителей искусства», которые могут откромсать ножницами полотно драгоценной картины, если оно не лезет в облюбованную раму.

Побыстрее и подешевле.

В конце восьмидесятых информационные центры мира, «банки электронной памяти» охватила сущая паника. В ка-

налы ЭВМ попал «компьютерный вирус» – дикая, блуждающая программа, которая уничтожала все, что хранилось в ячейках памяти, – цифры, факты, имена, даты.

«Компьютерный вирус» вел себя так же, как и его биологические сородичи, которые, проникая в клетку, вторгаются в ее святая святых – в код генетической информации – и начинают репродуцировать себе подобных. Клетка, лишенная собственной генетической памяти, перестает развиваться, делиться и в конце концов погибает.

Природа вирусов до конца не изучена, но ясно одно, что тот же компьютерный пожиратель памяти отнюдь не хаотический набор помех. Это хорошо организованное зло, зло в электронной ипостаси.

«Изображение бриллианта, неожиданно появившееся на экранах сразу 25 дисплеев, – сообщали газеты мира, – повергло в панику даже видавших виды чиновников. «Драгоценный камень» начал стремительно метаться по экранам, уничтожая все созданные на них с помощью электроники графики, таблицы, статистические сводки… Одновременно «взбунтовались» и сами ЭВМ, которые принялись самопроизвольно тиражировать испорченные электронные программы. Управление экономикой страны было парализовано».

Нечто подобное произошло с памятью нашей истории, когда в двадцатые годы некий «бриллиант» стал метаться по архивам, редакциям, библиотекам, издательствам, энциклопедиям, стирая имена, даты, факты, цифры вместе с носите-

лями их и хранителями, «тиражируя испорченные программы». На них, на исторических фальшивках, взросло не одно поколение, питая свою память духовными суррогатами «вируса беспамятства», запущенного в умы и души людей.

Распалась связь времен? Она распадалась порой за нашими спинами, порой на наших глазах. Она и сейчас еще распадается, эта кровная связь. Но она не распалась. Еще не поздно многое спасти, восстановить, соединить оборванные нити и звенья. Еще не поздно создать Гавань исторических кораблей и отвести туда брошенный корпус «Авроры» вместе с другими историческими судами, доживающими свой многотрудный век на задворках портов и корабельных кладбищах. Еще не поздно восстановить чугунный крест на братской могиле двухсот восемнадцати моряков с «Императрицы Марии», могиле, снесенной несколько лет назад бульдозерами севастопольского стройтреста вместе со старинным Михайловским кладбищем. Что скажет учитель ученику, когда тот поднимет с грядки школьного участка череп русского матроса?

Грядущим поколениям еще меньше, чем нам, будет понятно, зачем понадобилось взрывать храмы Христа Спасителя с васнецовскими фресками и Спаса на водах, воздвигнутый на народные деньги в память моряков, погибших в Цусиме, зачем надо было выбрасывать из гробниц мощи Александра Невского и прах Багратиона? Зачем надо было уничтожать цвет русской культуры в Соловках и отвалах Бело-

морканала, развеивать его по зарубежью?

Судеб морских таинственная вязь… В общую ткань нашей истории вплетена она.

С печалью гляжу я на сей холст. Бреши, бреши, бреши…

Подобны изрешеченному в бою флагу – скрижали русского флота в уходящем веке. Одни и в самом деле прожжены-пробиты войнами. Другие… Тихо и тайно проела их черная моль… В лагерную пыль осыпались знаки славы и доблести.

Санкт-Петербург. Июль 1991 года

Ну вот, пока писались эти строки, как принято оговариваться в газетах, Ленинград стал снова Петербургом, обретя первородное имя – то самое, с каким с младенчества знали сей град мои герои.

…Живу в кольцевых лабиринтах старой Знаменской гостиницы, в номере с видом на часовую башню Московского вокзала, ворошу рукопись. Пора ставить точку. Ставлю ее уже в который раз, и… в который раз она на глазах превращается в многоточие.

Вдруг громыхнуло, да так, будто все пушки Питера – от полуденной в Петропавловке до бакового орудия на «Авроре» – пальнули разом. Сверкнула молния, и трепет ее повторили все шпили и кресты цареизбранного града. Так с корабельных мачт репетуют светом сигналы флагмана.

Гроза!

Их град жил без них. Без них все так же окунал он свое

поднебесное злато то в зори, то в сумраки, кутался в снега, плескался в дождях, а порой, подобно их кораблям, тонул в морской воде по брюхо каменных сфинксов и бронзовых коней, когда разгневанное чем-то или кем-то море вдруг поднималось и само входило в улицы, как врывалось оно в погреба и трюмы их крейсеров и эсминцев…

Только в грозу мог раздаться этот телефонный звонок. Снимаю трубку: голос старого знакомца, моряка-историка Владимира Фотуньянца, вчерашнего капитана 2-го ранга, а ныне ночного сторожа в каком-то питерском кооперативе.

– Тебя еще интересуют бумаги Домерщикова?

– ?!!

– Видишь ли, кто ищет, тот иногда находит. Правда, не то, что искал сам, но зело полезное для другого.

– Не томи душу!…

– Тогда пиши шифр – В-8429 – и приезжай на Стрелку. В музей… Я там отложил кое-что в рукописном фонде.

– Но я же там искал!

– А *это* совсем в другой папке оказалось. Случайно наткнулся.

Боже, которая же по счету счастливая случайность?! Когда их столько – они выстраиваются уже в некую закономерность…

С некоторых пор я стал бояться ходить в архивы. Там спрессованное многажды время. Клетки мозга там сгорают втрое, вдесятеро быстрее, как сталь в чистом кислороде. Во-

истину: много будешь знать – скоро состаришься, ибо много печали во многом знании…

Вот и папка, точнее, большой конверт, а в нем общая тетрадь в черном дерматине, с резким запахом скипидара. Документы только что обработаны от жучка. В дневник вложено и заявление Домерщикова в адрес Президиума Верховного Совета СССР. В нем, как на последней странице журнала, все ответы на головоломный кроссворд в начале. Но кто же позаботился о том? Заглядываю в регистрационную карточку. Ну конечно же это она, верная Китца! И совсем не все сожгла Екатерина Николаевна перед отъездом в дом престарелых. Только самое личное… А это она принесла в 1970-м сюда специально для меня, хотя в тот год ни я, ни она не подозревали о существовании друг друга. И все же пусть кто-нибудь возразит, что не для меня.

– С чего это вы взяли, что именно для вас? – бесстрастно вопрошает завфондом.

– Но ведь вероятность того, что кто-то еще будет писать роман о Домерщикове, ничтожно мала. Это мой герой. Я его нашел. Кому, как не мне, публиковать его дневники?!

– Пожалуйста, публикуйте. Платите 50 рублей за страницу копии, и нет проблем!

Цены 1991 года, когда буханка хлеба еще стоила 16 копеек.

– Проблема есть. Я уже подсчитал. Тут набегает такая четырехзначная сумма, что она превышает будущий гонорар

за весь роман.

– Это не мы придумали такие расценки. Нам спустили их из Минкульта. Стоимость одной страницы копии любого ранее не публиковавшегося документа – полста рублей.

– А если я перепишу от руки?

– Все равно. Ксерокс это или рукописная копия. Вы, писатели, наживаетесь на наших материалах, а мы – ни с чем…

– Но, позвольте, какая же это нажива, если я на одной только копии теряю сразу все? И потом, Домерщикова передала вам дневник мужа бесплатно, в надежде, что он когда-нибудь увидит свет. Если бы она знала, что вы упрячете его под финансовый пресс…

– Не я это придумал. Идите к начальнику музея.

Но и начальник музея бессильно развел руками. И старейший сотрудник его, мой добрый знакомый, сын героя этой книги, Андрей Леонидович Ларионов, вволю повозмущавшись, ничего не смог сделать. Не его фонд…

– Хорошо. Но выписки-то я могу сделать?

– Выписки можете. Только немного.

И чтобы перо мое не очень-то разбегалось, мне выдали несколько узеньких бумажных полосок, вроде закладок.

Вот уж где были танталовы муки! Каждая строчка просилась в книгу. Все было важным и необходимым. На все про все мне было отпущено полтора часа. Потом фонды закрывались, а вечером, точнее, ночью мой поезд уходил в Москву.

От отчаяния и обиды я стал переписывать весь дневник,

обозначая слова одной-двумя буквами, отчего бумажные полоски стали походить на обрывки телеграфной ленты, на которой спятивший телеграфист стал выстукивать первые попавшиеся буквы: «По в. из к., з. ав. уб. як., я п с. о а.» Расшифровывалось это так: «По выходе из канала, закончив аврал с уборкой якоря, я приказал сыграть отражение атаки».

Расшифровывал я эти криптограммы на Кирочной, в гостях у Елены Сергеевны Максимович, той самой, что жила в девичьей квартире Екатерины Николаевны Домерщиковой и которая сохранила «английское фото» Михаила Михайловича, его итальянскую подорожную… Я коротал у нее вечер перед поездом и, голодный, злой, усталый, попал на воистину королевский ужин. Она поставила передо мной тарелку молочной лапши и макароны с китайскими консервированными сосисками и ушла, чтобы не смущать гостя. Я работал ложкой с престранным ощущением, как будто я не один в этой большой старинной комнате, как будто в тарелки с яствами заглядывают души умерших здесь голодной смертью людей. И когда хозяйка принесла кофе с пирожными, выяснилось, что в этой комнате и в самом деле умерла в блокаду няня Китцы, Екатерины Николаевны… Ее ли дух или чей-то другой, растворенный в этих многоведных стенах, помогал превращать разбросанные по ленточкам буквы в слова, но только дневник Домерщикова перелился в блокнот почти весь…

Свои записи старший офицер «Пересвета» вел в Порт-Са-

иде через несколько дней после взрыва корабля и спасения.

Порт-Саид. 1 января 1917 года

Из дневника Домерщикова

«Встал как будто весело, страшно болит спина, трудно разогнуться. Вчера бран ванну в первый раз после купания, сопровождавшего гибель «Пересвета». Посмотрел на себя в зеркало и, несмотря на десятидневный промежуток, увидел неимоверное количество синяков, ссадин, о существовании которых и не знал.

Молебен в 11 часов, затем здорованье с командой командира.

Почему-то сегодня тошно. Приезжал английский генерал – командующий Восточным фронтом и Египетской армией. Молодой симпатичный человек. Но у его штаба, Боже, выраженье то же, что и у всех штабных на свете – самодовольство и сознание собственного превосходства над всеми.

…Как легко иметь дело с англичанами! Благодарю судьбу, что удалось изучить язык и главным образом понимать англичан. Нашим, конечно, труднее.

…Сначала принимал дам с подарками для матросов. Надоели мне ужасно, как-то не до них. Издергали меня, ибо никакого интереса к обществу дам не испытываю, хотя и слыл бабником. Устал как собака, хотел прилечь, но нужно делать выписки и прочее и прочее. Чувствую себя кисло, а тут прибежали из портовой конторы и требуют найти капитана. Последнее нелегко. Когда же наконец его увидел, то толку не

добился, ибо выпитый им алкоголь препятствовал соображению. Невозможно столковаться, все он знает и понимает… «Где, дорогой Мишук, как ты думаешь?» Не спится, болит голова.

Помню хорошо последний наш с ним крутой разговор, когда он в порыве величия начал произносить столь знаменитые фразы вроде: «Я устрою каторгу, и всем будет плохо. Меня хорошо знали на «Жемчуге».

– У нас, Константин Петрович, и есть настоящая каторга…

…Начну с выхода из Порт-Саида. Как будто все шло хорошо. Солнце скрылось, и море встретило нас не так мечтательно. Встретили английский пароход с гидропланом, третьего дня пришвартованный у Эль-Ариша. Дипломат из Каира, некто Разумовский, стоял у таможни, сняв шляпу. Как только ему ответили с мостика, он тотчас же ушел. Было слишком заметно, что его присутствие вызвано необходимостью соблюдать корректность, однако вышло, по-моему, совсем некорректно – уйти раньше, нежели мы прошли мимо. Впрочем, об этом дипломате распространяться не стоит, слишком он неинтересен и, по-моему, пуст, и пригоден разве что для карточной игры. Нашу бедную голытьбу он обыгрывал в карты, заманивая их, и для этого приезжал на корабль.

По выходе из канала, закончив аврал с уборкой якоря, приказал сыграть отражение атаки и стал распределять людей для наблюдения. Не знаю точно, сколько времени заня-

ло это занятие и что происходило кругом, ибо спешил раздать бинокли и расставить людей до наступления темноты. Только успел сделать это и собирался пойти вниз проверить закрытие непроницаемых дверей, как вдруг раздался звук взрыва, а за ним другой и грохот. По левому борту увидел столб пламени и дыма, шедших из-за борта. Огонь был колоссального размера, и я ожидал с секунды на секунду другого взрыва, когда корабль разлетится на части.

Тотчас же направился к месту взрыва, но давка на юте задержала меня…

Команда бросилась за поясами, лежавшими на юте в рубке. Услыхав голос батюшки, я скомандовал «Смирно». Отец стал на шканцах, пытаясь успокоить команду. Увидев, что его внешний вид и дрожащий голос не способствуют цели, я обратил внимание окружающих на прикрепленные на мостике матрацы, которые тут же были расхватаны.

…Спустившись с мостика, увидел взволнованные лица команды, надевавшей пояса и расстегивающей койки. Здесь же стояли, снимая с себя платье, ревизор Отрышков и доктор Семенов.

Вспомнив о часовом, я немедленно спустился к сундуку и снял часового именем командира. Не дойдя до верху, вернулся обратно и, разбив шкапчик с ключами, послал их к артиллерийскому офицеру, чтобы затопил носовые погреба, взрывов которых в ту минуту больше всего боялся. Пошел по дороге наверх в каюту. Темнота, тишина, точно могила.

Зажег спичку, взял два электрических фонаря и отправился осматривать крейсер. Встретил кого-то, кто умолял дать ему фонарь. Дал… Огонь и дым из палубы, куда я в ту минуту спустился, ошарашили меня.

Лейтенант Ивановский с обезумевшими глазами бежал тушить пожар. На мои увещевания бросить это дело и идти наверх не ответил ни слова, а, издавая невнятные звуки, бросился в моем направлении.

Попробовал спуститься вниз, попал рукой и ногой в распоротый живот убитого… Огонь, стоны, глаза слезятся, ничего не видят. Пробыв в этой обстановке несколько минут, я отправился наверх, где встретил трюмного механика Гедройца.

– Что делать? – спрашивает меня.

– Ничего. Идите на ют. Внизу вода, огонь, дым, и не в наших силах сделать что-либо.

Через полупорт смотрю: болтает катер и на нем пара людей, выбившихся из сил, чтобы выбраться наверх.

Отправил второго посланца к командиру за приказаниями. Но ответа все еще нет. Чья-то рука надевает на меня пояс… Иду вниз, чтобы взять карточку жены и мои документы. За мной прибегает вестовой Лыков.

– Боже, на кого ты похож?! – спрашиваю. Бедняга весь обгорел, все лицо, руки, ноги, голова – все черное. – Иди спасайся и плюнь на меня!

– У меня есть матрац, – говорит он. – А вот вам пояс.

Его вид и самопожертвование вывели меня на несколько секунд из равновесия. Запер дверь на ключ и вышел на ют.

– Оставь, ради Бога, бросайся, – говорю ему. А он все за мной. Слава Богу, удалось спихнуть его в воду.

Корма задралась… Стоять на палубе трудно. Николай Совинский надевает на меня пояс.

– Ради Бога, Михал Михалыч, у всех уже надеты…

– Зачем вы делаете это? – Я устал отвечать милому юноше, со слезами уговаривавшему меня надеть пояс. Дюжина рук с тем же предложением… Приказываю: – Скорее бросайтесь и отплывайте!

– Что же мне делать? – говорит повар. – Я плавать не умею.

– У вас есть пояс и матрац. Спасайтесь!

– Разве не утону?

– Нет, нет… И с Богом!

Бух, и он отплывает.

Один пояс держу в руках, кто-то сунул. Что делать? Да нечего ждать своей участи пойти ко дну.

– Бросайтесь, боцман! Вам делать здесь нечего!

– Что прикажете делать? – спрашивает трюмный механик, надеясь на спасение крейсера.

– Немедленно отправляйтесь за борт. Бросайтесь дальше, а то ударитесь.

– Есть.

Боцман поплыл.

Глухой звук, удар в голову, и вдруг лечу куда-то очень далеко, выныриваю, и вновь удар… Всплываю, вижу крейсер и сотни голов на плаву.

В воде матросы кричали: «Гляди, старшой тонет!» Один дал вцепиться в свой пояс: «Держитесь, ваше высокоблагородие… Выплывем!»

Плыли к дрейфующему английскому тральщику. Его проносит мимо. Закричал по-английски: «Бросайте якорь!» Кажется, услышали. Загрохотала якорь-цепь. Но тральщик оказался французским…

Втащили на борт.

…Иду на мостик к командиру. Хочу сказать слово – ничего не выходит: дрожь ужасная. Спускаюсь опять на палубу.

– Ваше высокоблагородие, помогите, там наши ребята!

Вытащили одного, другого…

– Ой, не трогайте рукой, кожи нет! Дайте я сам!

Срывается и падает в воду, тащу за шиворот, не слушаю стонов. Ну вот ты и спасен.

– Иди внутрь!

– Но… Та… Не…

Бедняга, нога у него сломана, сам обожжен, а плыл.

– Гардемарин Смирнов, это вы?

– Т-так т-точно, господин старший офицер! Нога сломана, идти не могу, терпеть буду.

– Орел!… Несите его в камбуз.

– Ваше высокоблагородие, граф Гейден плывет!

– Давай тащить…

Вытащили. Ноги не держат.

– Холодно… Согрейте!

Глажу по голове, бедный мальчик, совсем измотан, у него отнялись от судороги ноги.

– Кто это? А, ну вот…

Втащили командира. Голенький, только в одном капковом жилете.

Еще, еще… Боже, сколько обгоревших! Обхожу, смотрю, а говорить не могу. Зуб на зуб не попадает. Ходим кругами.

Захожу в какую-то каюту, всех тошнит, дрожат, сидят обгорелые и мучаются! Даже стать негде, на полу какая-то слизь. Трясет неимоверно.

Пойду посмотрю, как дела.

Всюду стоны и дрожанье. На лицах написано только одно желанье: скорее бы дойти до Саида, а то, не ровен час, напоремся на мину.

Наконец показался Порт-Саид. Стою у трубы, греюсь. Подходим к землечерпалке. Слышны голоса англичан.

Вывожу обожженных и раненых.

– Вы что же не зажигаете огней? – говорит мне какой-то кэптен. – Огни и кранцы?

– Какие, – отвечаю, – вам огни? Я не знаю, где они!

– Какой же вы в таком случае капитан?!

– Откуда вы взяли, что я капитан? Я старший офицер погибшего крейсера.

Извинился.

– Большое вам спасибо за распорядительность. Вы тут так командуете, что я принял вас за командира тральщика.

Отвел офицеров в госпиталь, иду назад смотреть команду.

Три часа ночи. Кого-то несут. Это лейтенант Кузнецов: «Умру, Михал Михалыч… Не выдержу. Очень все болит».

И действительно, час только и выдержал, бедняга.

К четырем утра попадаю в палату. Проверяю офицеров – шестерых нет. И все мои фавориты. Бедняги замерзли либо пошли ко дну с кормы.

Раздеваюсь, ложусь. Подходит сестра и приносит три одеяла. Начинаю забываться…

6 часов утра. Не спится, все болит… Надо вставать. Хрипит в углу командир. Надеваю свое мокрое платье, и начинаются дела.

После обеда – похороны. Какой-то консул жмет руку. Приходят английские офицеры. Перевожу. Греюсь. Устал.

«Пожалуйста, – говорит командир, – делай все, как найдешь лучшим. А я пойду к консулу насчет денег».

Давно бы так! Наконец-то дал мне карт-бланш! Хвост трубой – и пошел писать. Вспомнил человек десять… Одним словом, практика – лучше, наверное, не придумаешь.

Хожу, хожу и хороню, хороню без конца…

Приглашали офицеры в город встречать Новый год. Не до этого. Да и удобно ли перед командой? Лучше уж пусть он пройдет без встречи. Авось будет спокойней…

…Капитан все пишет какие-то донесения и носится со словом «вализа», которое недавно узнал. Будто обуяло его наваждение! Тычется с «вализой» всюду, куда надо и не надо.

Постоянно сталкиваюсь с ним по-чиновничьему… Хочется ему все сдать в Генштаб и только исполнять их приказания. Мило и хорошо. Но не для нас. Никакой инициативы и боязнь рассердить штаб. Приятно иметь такое начальство.

Противно, с утра до вечера похороны, волнение не отступает, нервная раздраженность. Вот так потом из огня да в полымя.

Не могу вразумить этого хлюпика делать дело, а не думать о своих «орлах» на погонах.

С утра совместный осмотр лагерей. Ругаюсь с офицерами. Проверка команды, опять похороны. Распределение в лагере по палаткам. Опять скулеж офицеров, нервы не выдерживают. Что это, каторжные работы, что ли?! Эгоизм. Не удивляет меня ничего, кроме ужасной узости взглядов. Вижу, что мы все разные люди.

Послал три телеграммы жене. Но ответа еще нет. Где она, бедняжка?! Тяжело ей будет узнать о гибели «Пересвета». Ожидается появление младенца, боюсь, новость моя отразится печально».

В эту же черную тетрадь был вложен и листок письма Домерщикова с собственноручно написанной биографией. Из него мне тоже удалось сделать выписки, и таким образом ле-

гендарная поначалу одиссея мичмана Домерщикова оказалась распяленной на точных датах, словно крылья экзотической бабочки на булавках. Я узнал, что родился он 13 марта 1882 года, то есть под знаком «морского созвездия» Рыб. Рос, воспитывался и учился сначала в Туле, в городской гимназии. Отец умер в 1908 году, мать – в 1912-м. После выпуска из Морского корпуса, перед Цусимой, успешно закончил сначала офицерские классы – штурманские, затем артиллерийские.

20 августа 1904 года списан с крейсера «Аврора» для посылки на покупаемые у Аргентины крейсера. Однако из-за несостоявшейся сделки назначен был на «Олег».

10 февраля 1906 года был назначен командиром подводной лодки «Сом» с одновременным исполнением обязанностей ревизора на «Жемчуге».

«В январе 1907 года, – пишет о себе Домерщиков, – эмигрировал за границу в связи с создавшейся тяжелой обстановкой после революции 1905 года, в которой я принимал участие в качестве члена городского офицерского комитета г. Владивостока…

…Около года жил в Нагасаки, работая наборщиком в типографии, выпускавшей русские революционные издания. После этого переехал в Австралию, в г. Сидней. Четыре месяца работал на ферме в Новой Зеландии.

Семь месяцев плавал матросом на парусном барке, три с половиной года жил на заработки физическим трудом. Ра-

ботал в нотариальной конторе, вольнослушателем вечернего университета…

…Военно-морской суд приговорил к 6 годам арестантских рот. Наказание заменили разжалованием в рядовые. Послан в IX армию Юго-Западного фронта. 9 месяцев на передовой. Контужен. В конце 1915 года произведен в офицеры. 10 сентября 15-го года назначен комендантом парохода, перевозившего русские войска во Францию.

15 сентября – послан в Одессу на Транспортную флотилию. Участвовал в операциях армии и флота на Анатолийском побережье.

В ноябре 15-го года зачислен офицером в подводное плавание. Назначен помощником начальника Батумского отряда по морской части, в должности начальника базы высадки войск в Ризе.

15 мая 1916 года получил золотое Георгиевское оружие за высадку десанта и знак Красного Креста за спасение погибавших на море. В июне 16-го года переведен в Одессу начальником базы высадки войск».

Затем был печальный поход на «Пересвете», первое командирство на «Младе»… Право, стоит набраться терпения, чтобы проследить, в какую бешеную чехарду превратилась карьера флотского офицера после 1917 года.

С октября рокового года по девятнадцатый – Домерщиков начальник сразу двух отделов в Морском генеральном штабе: статистического и иностранного. Затем начальник служ-

бы связи Коммерческого флота, начальник Экономического отдела МГШ. В двадцатом переехал в Москву, так как здесь находился НКПС – Народный комиссариат путей сообщения, куда 38-летнего моряка назначали заместителем начальника морского транспорта всей РСФСР.

Но вот поворотный пункт в судьбе:

«В 1925 году я посетил английское посольство в Ленинграде по просьбе жены, разошедшейся со мною и уехавшей в Англию для возвращения на родину, в Австралию. Ей нужна была справка из консульства о причине задержки личных документов, оставленных ею в консульстве при получении визы. Без них она не могла оформить поездку в Австралию».

Факт посещения английского консульства в разгар «холодной войны» с Великобританией был тут же взят на заметку в ОГПУ. Новоиспеченного «шпиона чемберленовской разведки» арестовали 7 июня 1927 года, а в конце января 1928-го постановлением ОСО – Особого совещания – Домерщикова по статье 58б отправили в ссылку на три года в Западную Сибирь. Срок окончил в Новосибирске и там же получил «продление» еще на столько же. Правда, на сей раз его ожидала «шарашка» на новосибирском «Сибкомбайне». Работал там техником, плановиком, преподавателем английского языка. Раз пять увольняли с работы как бывшего ссыльного.

В родной Питер вернулся лишь в мае 1936 года. Колди, наверное, так и не узнала, что визит за ее справкой в англий-

ское посольство обошелся ее бывшему мужу в девять лет сибирской жизни и еще в три года хождения «по кадрам».

Таковы точки над «i», расставленные рукой самого Домерщикова. А в сущности, это мог бы быть роман из жизни воспитательницы детского сада и скромного совслужащего – переводчика из ЭПРОНа.

Порт-Саид. Март 1990

Вот уж и подумать не мог, начиная этот роман, что судьба дарует мне возможность поклониться могиле матросов «Пересвета». Полет в Египет и поездка в Порт-Саид удались благодаря стараниям ближневосточного корреспондента «Правды» Владимира Белякова и сотрудников советского посольства в АРЕ.

В один из жарких весенних дней машина нашего консульства в Порт-Саиде подкатила к воротам греческого православного кладбища, обращенным к морю, что синело через дорогу. Вице-консул Алексей Рыбальченко сделал приветственный знак пожилому арабу, у которого ноги были скручены полиомиелитом. Сторож Камель Махмуд Хавиль лихо разъезжал по кладбищенским дорожкам на допотопной велоколяске. За особую плату консульства он обихаживал могилы русских моряков. На цементированной, обнесенной цепями площадке их оказалось три: одна – братская под обелиском и при двух сломанных по обычаю якорях, другая – мраморное надгробье старшего артиллериста лейтенанта Ивана Ренштке, чью фамилию выбили неверно – «Рентшке»,

уж так ему до гробовой доски везло со своей мудреной фамилией; наконец, третья плита, под которой лежал советский матрос, умерший во время рейса. Одинокая пальма топорщила поодаль чахлые ветви. Африканское солнце слепяще дробилось на гранях белых плит, белых постаментов, белых крестов, белых гробниц, белых саркофагов, белых склепов, теснота и обилие которых делало это печальное подворье похожим на каменоломню.

У бронзовой доски с именами пересветовцев, только что доставленной из Севастополя, мы зажгли свечи, купленные в коптском храме, высыпали несколько пригоршней родной земли (я набрал ее в полиэтиленовый пакет в Москве и всю дорогу опасался, как бы таможенники не сочли эту землю пробой грунта на радиоактивность).

Морской ветерок, прилетавший оттуда, где в последний раз дымили трубы «Пересвета», задувал свечи. Мы зажигали их снова и снова… Читали вслух имена: «Унтер-офицер Нил Суворов, Игнатий Российский, Константин Пугачев, матросы Лука Романов, Максим Чудин…» Так странно звучали они здесь, среди тесаных белых камней, под бирюзовым небом, в гортанном иноязычье, лившемся из радиорупоров мечетей. В Порт-Саиде праздновали мусульманский праздник рамадан.

Только что отреставрированные надгробья «пересветовского мемориала» сияли шлифованным мрамором. Но отнюдь не благостные мысли навевал этот блеск.

В первую мировую войну русский флот потерял два самых крупных из всех погибших кораблей: линкор «Императрица Мария» и бывший броненосец «Пересвет». Волею военного случая прах пересветовцев захоронен на чужбине, и никому в голову не пришло тут посягнуть на их могилу. А вот в родном Севастополе такое же захоронение моряков «Марии» пустили под нож бульдозера: завод имени Ленина строил свои общежития на месте старинного Михайловского кладбища. Неужели тем, кто погиб вдали от Родины, повезло больше? Неужели здешняя, египетская, земля легла для одних пухом, а та, севастопольская, обернулась для других кремнем?!

И припомнил я себе в утешение, что вот ведь спасли и оживили церковь, бывшую компрессорную завода «Динамо», где погребены останки воинов-иноков Пересвета и Осляби; вот ведь и могилы минера с «Олега» и командира «Богатыря» Политовского в Таллинне и еще много надгробий других моряков привели в порядок подвижники из клуба русской морской истории «Штадт Ревель», и венки на воду спустили, и помянули в храмах Владивостока и Ленинграда имена всех взятых морем, побитых взрывами кораблей, сваренных паром, отравленных дымами морских воинов. Вот и общество истории флота без приказа сверху само собой образовалось.

Пора беспамятства проходит по мере того, как редеет дурман, подпущенный в разум народа. И уже потянулись руки

собирать расколотые камни, полоть на погостах и в душах траву забвения.

Последний раз воинские почести братской могиле экипажа «Пересвета» отдавали моряки большого противолодочного корабля «Отважный», который находился в районе Суэцкого канала. В 1974 году на обратном пути в Севастополь корабль этот постигла судьба «Пересвета». На «Отважном» загорелся ракетный погреб, и после отчаянной борьбы за живучесть БПК затонул в Черном море. С тех пор военные моряки нашего флота на порт-саидское кладбище не приходили. И вот только теперь, в девяностом году, вышел из Севастополя в Порт-Саид БПК «Очаков». Вышел, чтобы выставить к белому обелиску почетный караул, положить к его подножию венки, чтобы правнуки пересветовцев могли постоять здесь, сняв бескозырки и фуражки…

«Очаков» шел в Порт-Саид.

В Пенанг, где под малазийским небом сиротела братская могила моряков «Жемчуга», шел БПК «Адмирал Трибуц».

Срасталась связь разрубленных времен.

1976—2002 гг.

Порт-Саид – Бизерта – Вена – Петербург – Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из анкет гражданина Михаила Михайловича Домерщикова, заполненных в советское время:

Родился в Санкт-Петербурге в марте 1883 года. (По другим сведениям – 1881.)

Воспитывался сначала в тульской гимназии, потом в Морском кадетском корпусе.

Отец умер в 1908 году, мать в 1912.

Выпущен из Морского корпуса мичманом в 1901 году.

1901 г. – вахтенный начальник на броненосце «Кремль»

С сентября – эбр «Ослябя»

С ноября по апрель 1902 г. – крейсер «Баян»

С апреля 1902 г. – крейсер «Минин» – миноносец №124 «Минин»

1902 г. – штурманские классы

1903 г. – артиллерийские классы

1903 г. с 5 сентября – арт. офицер на «Авроре» в заграничном плавании.

20 авг. 1904 г. списан для посылки на крейсер, покупаемый у Аргентины.

1904 г. – на крейсере «Жемчуг» младшим арт. офицером.

1905 г. авг. – арт. офицер на крейсере «Жемчуг»

1905 г. с 20 декабря – на крейсере «Аскольд»

С 10 февраля 1906 по января 1907 г. командир подводных лодок «Дельфин» и «Сом» с одновременным исполнением обязанностей ревизора крейсера «Жемчуг».

«В январе 1907 года эмигрировал за границу в связи с создавшейся тяжелой служебной обстановкой после революции 1905 года, в которой я принимал участие в качестве члена городского офицерского комитета г. Владивостока…

Около года жил в Нагасаки, работал наборщиком в типографии, выпускавшей русские революционные издания. После этого переехал в Австралию г. Сидней.

Четыре месяца работал на ферме в Новой Зеландии. 7 месяцев плавал матросом на парусном барке. Три с половиной года жил на заработки физическим трудом. Работал в нотариальной конторе, был вольнослушателем вечернего университета».

Женился в Сиднее на Колдил Яковлевне Иден, 1888 года рождения.

С началом войны в 1914 году вернулся в Россию.

«Военно-морской суд шесть (пять) лет арестанских рот заменил на разжалование в рядовые Юго-Восточного фронта. Девять месяцев на передовой. Контужен. Был ранен в августе. В сентябре 1915 года произведен в подпрапорщики общей кавалерии».

После получения полного банта «георгиевских крестов» был восстановлен в чине лейтенанта.

С августа по октябрь находился в отпуске по ранению и контузии.

«10 сентября 1915 года назначен комендантом иностранных пароходов, перевозивших войска во Францию.

15 сентября послан в Одессу на Транспортную флотилию. Участвовал в десантных операциях на турецких берегах в должности начальника десантных войск. В ноябре 1915 года зачислен офицером подводного плавания. Назначен помощником начальника отдела Батумского отряда по морской части в должности начальника базы высадки войск.

15 мая 1916 года – Георгиевское оружие за высадку десанта (в Ризе) и знак Красного Креста за спасение погибавших (госпитальное судно «Портюгаль»).

В мае 1916 года произведен в старшие лейтенанты.

В июне 1916 года переведен в Одессу начальником базы высадки войск.

Осенью 1916 года назначен старшим офицером на крейсер «Пересвет». Дела и обязанности принимал в Японии, где корабль стоял на ремонте. После гибели корабля в Средиземном море командовал вспомогательным крейсером «Млада» в Специи до августа 1917 года».

8 февраля 1917 года родился сын Питер в Гяндже (Азербайджан)

«По возвращении назначен начальником Статистической

части Морского Генерального штаба, а затем и иностранного отдела – до 1919 года.

С января по сентябрь 1919 г. – начальник Службы связи морского коммерческого флота.

С сентября 1919 по апрель 1920 г. – помощник начальника Экономического отдела Морского Генерального штаба.

По распоряжению Предреввоенсовета откомандирован в Главвод – заместителем начальника Морского транспорта НКПС.

После расформирования МГШ в августе 1921 года уволен в бессрочный отпуск.

С 1922 года на учете в Московском военкомате.

С мая 1922 года – начальник Эксплуатационного отдела Морского транспорта НКПС. С декабря 1922 г. – начальник отдела торгового мореплавания. С сентября 1923 г. – начальник Морского отдела в Доброфлоте. С сентября 1924 года – заведующий Ленинградской конторы областного бюро путешествий.

С апреля 1926 года – старший помощник капитана парохода «Рошаль». С сентября 1926 года – капитан парохода «Рошаль».

«В 1925 году посетил английское консульство в Ленинграде по просьбе жены, разошедшейся со мной и уехавшей в Англию для возвращения на родину в Австралию, которой нужна была справка из консульства о причинах задержки последним оставленных ею при получении визы личных доку-

ментов, без которых она не могла оформить свою поездку в Австралию».

«7 июня 1927 года арестован ОГПУ. В конце января 1928 года постановлением ОСО отправлен в ссылку на три года по статье 58 п. «Б». В июне 1930 г. на три года в Новосибирск. Работал на «Сибкомбайне» техником, плановиком и преподавателем английского языка.

С 21 ноября 1933 г. разрешено свободное проживание. Пять раз увольнялся со службы как бывший ссыльный.

В мае 1936 года вернулся в Ленинград. С 1 июня 1936 года – в Главном управлении ЭПРОНа в должности главного штурмана». Там тоже увольнялся как бывший ссыльный – в 1937 году и 1939-м. «После жалобы на имя т. Сталина я восстановился».

Из письма Домерщикова в Президиум Верховного Совета СССР от 23 августа 1940 года и более ранних анкет

«Ходовых дней – 1140

Якорных – 1740.

Состояние здоровья – слабое.

Годен – к административной деятельности.

Командир судна 3-го ранга. Лишен звания комиссией в 1931 г.

На учете бывших белых не состоял.

Срок состояния на учете – до 31 декабря 1938 года.

Адрес: Ленинград, Пролетарский пер. (б. Графский) дом. 10, кв. 4.»

Из анкеты 1940 года